

Бакунин Михаил.

Исповедь

1935, источник: [здесь](#), издание: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА ПОЛИТКАТОРЖАН ИССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ». Сканировала и составила Нина Дотан (из 4-того тома). Корректировал Леон Дотан (06. 2001). Взято из 4-того тома: КЛАССИКИ РЕВОЛЮЦИОННОЙ МЫСЛИДОМАРКСИСТСКОГО ПЕРИОДАПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ И. А. ТЕОДОРОВИЧА

- [Предисловие](#)
- [Исповедь](#)
- [Комментарии](#)

Предисловие

Вскоре после ареста Бакунина в Саксонии начальник австрийских войск в Кракове в июне 1849 года сообщил об этом событии русско-му майору, исполнявшему обязанности краковского коменданта, на предмет выдачи Бакунина России.

Но сразу получить Бакунина в свои руки царскому правительству не удалось, несмотря на все его нетерпение и хлопоты. Узнав о предстоящей выдаче Бакунина австрийцам, граф Медем, тогдашний российский посланник в Везде, поспешил переговорить с австрийским премьер-ером кн. Шварценбергом, который обещал по миновании надобности австрийского правительства в Бакунине передать узника России. Условлено было, что Бакунин будет доставлен в Краков и здесь передан русским жандармам. Рассчитывая заполучить Бакунина в свои руки еще весной 1851 г., российские власти в Польше уже в марте направили в Краков жандармский конвой для приема арестанта и доставления его в уготованное ему место злачное. В души российских жандармов начало даже закрадываться подозрение, что австрийцы вовсе не собираются выдавать им Бакунина. Но страхи эти оказались напрасными.

Бакунин чувствовал, что австрийцы собираются выдать его России. Эта перспектива приводила его в ужас: ее он боялся больше всего, больше смерти. Выражая такое опасение в письме к австрийскому министру внутренних дел Баху, он присовокуплял, что будет всяческими мерами вплоть до самоубийства противиться выполнению этого замысла. Но австрийские власти очень мало считались с такими заявлениями. Они заранее приняли все меры к тому, чтобы немедленно после приговора заключенный был направлен по назначению.

15 мая 1851 года Бакунин был приговорен к смертной казни австрийским военным судом, вечером того же дня он был вывезен из Ольмюца в Краков, куда доставлен вечером 16-го; 17-го был передан русским жандармам на границе, а 11 /23 мая, т. е. через 8 дней после вынесения ему приговора, сидел уже в 5-й камере Алексеевского рavelина Петропавловской крепости. На докладе Дубельта об этом событии Николай написал:

«Наконец!». А после полуторамесячной передышки, находя, что узник достаточно оглушен долгим пребыванием в глухом каземате, Николай 25 июня 1851 года приказал приступить к допросу Бакунина.

Подробности и форма этого допроса в точности нам до сих пор не известны. Возможно, что устных формальных допросов не было; но что узнику были поставлены (в письменной форме или иначе) какие-то определенные вопросы, на которые он должен был дать ответ, это весьма вероятно, судя по содержанию «Исповеди» и по ряду оборотов в отдельных местах, которые мы ниже будем специально отмечать. Сопоставляя эти места, можно даже составить себе довольно ясное представление о содержании и характере тех вопросов, которые по приказу Николая были заданы жандармами Бакунину. Дальше мы

приблизительно наметим вероятный перечень этих вопросов.

Происхождение этого замечательного исторического документа, известного под названием «Исповеди», хотя на самом деле не имеющего никакого заголовка, было примерно таково.

Как рассказывает сам Бакунин в письме к Герцену от 8 декабря 1860 г. месяца через два по его прибытии в Россию, т. е. в первой половине июля 1851 г., к нему в камеру явился граф Орлов (позже князь, Алексей Федорович, в рассматриваемое время шеф жандармов) и от имени царя потребовал от него составления записки о немецком и славянском движении, причем пояснил, что царь желает, чтобы Бакунин говорил с ним как духовный сын с духовным отцом, т. е. исповедывался, рассказывал все без утайки, дал то, что на языке жандармов называлось «откровенным» и «чистосердечным» показанием.

Что Бакунин, вообще крайне неточный в этом письме, где он единственный раз упоминает об «Исповеди», неточен и в данном случае, и что царь добивался от него не только академического рассказа о немецком и славянском движении, видно и из самого содержания «Исповеди». Это в частности показывает тот предполагаемый вопросник, который мы попытаемся набросать на основании текста этого документа. Николая I больше всего интересовал вопрос о русском революционном движении, о замыслах и связях Бакунина, о наличии в стране опасных элементов и т. п., и в первую голову он хотел получить от своего пленника ответ на эти вопросы. Отсюда и требование полной откровенности: ведь не мог же царь подозревать, чтобы Бакунин стал скрывать что-либо существенное из области немецкого или славянского движения.

Вот насчет русского дело обстояло иначе. И в этом отношении Бакунин разочаровал своего духовника: последний ничего важного от него не узнал. Правда, что ничего особенно важного и не было.

Подумав немного, Бакунин решил, что при условиях несколько свободной жизни следовало бы выдержать роль до конца, т. е. не вступать ни в какие компромиссы с врагом, но что в четырех стенах, находясь во власти жестокого деспота, не признающего никаких человеческих прав, можно слегка пренебречь формой, проще сказать — подурочить врага, а потому согласился и в течение месяца написал «в самом деле род исповеди, нечто вроде „Dichtung und Wahrheit“ („Вымысел и правда“, как озаглавлена автобиография Гете), в которой осторожно, но вразумительно заявил царю, что ждать от него предательства не приходится и что имен называть он не станет.

Далее по словам Бакунина он с некоторыми умолчаниями рассказал Николаю всю свою жизнь за границу, прибавив несколько поучительных замечаний насчет его внутренней и внешней политики. Нужно сказать, что при своем положении Бакунин проявил большую смелость, разоблачая перед злобным тираном сущность самодержавной политики, восхваляя парижских революционных пролетариев и т. п. Однако „Исповедь“ носит я общим покаянный характер и своим униженным тоном перед царем производит неприятное впечатление.

Об „Исповеди“ создалась целая литература. Главный спор вертелся вокруг вопроса об искренности „покаяния“ Бакунина перед царем. Но с тех пор, как стали известны письма Бакунина из крепости, тайком переданные им в 1854 году своим родным на свидании, для сомнений больше не остается места: Бакунин притворялся, для того чтобы обмануть своих врагов и скорее выйти на свободу с целью снова приняться за революционную деятельность. Допустим ли и в таком случае тот образ действий, какой избрал Бакунин для достижения своей цели, это—другой вопрос, который Вера Фигнер например решает в отрицательном смысле (впрочем для всякого, действительно знающего историю Бакунина, и без этих тюремных писем было ясно, что об искреннем „раскаянии“ Бакунина не приходится и говорить, и что если не во всех деталях, то в основном „Исповедь“ была образцом притворства, преследовавшего вполне определенную цель).

Оригинал „Исповеди“ хранится в Архиве революции в Москве, где имеется и каллиграфическая копия ее, сделанная специально для царя, который не хотел утруждать глаз чтением мелкого и неправильного почерка Бакунина. Рукопись содержит 96 страниц большого писчего формата, написана с обеих сторон характерным убористым почерком Бакунина и составляет не менее 6 печатных листов по 40000 знаков каждый. Для царя был жандармскими писарями переписан специальный экземпляр „Исповеди“, который, как видно из пометки Дубельта, был представлен ему 13 августа. Таким образом довольно точно определяется время составления этого исторического документа: между 25 июня, когда Николай велел Бакунина допросить, и между 13 августа или точнее 10 августа (предполагая, что на доставку и переписку рукописи потребовалось 2—3 дня). Так как по словам Бакунина Орлов посетил его через два месяца по привозе его в Петербург, т. е. в первую декаду июля, то и выходит, что Бакунин в общем выдержал выговоренный себе месячный срок, и документ был написан примерно между 10 июля и 10 августа 1851 года.

Николай по-видимому читал рукопись довольно внимательно. Об этом свидетельствует множество пометок, которыми испещрен переписанный для него экземпляр. Все эти пометки мы здесь воспроизводим, стараясь по мере возможности точно соблюсти их место и характер. Эти пометки показывают, что несмотря на удовольствие, доставленное ему покаянным тоном Бакунина и бичеванием „гнилого“ Запада, исповедь его не удовлетворила, ибо не дала ему того главного, чего он от нее ожидал, т. е. выдачи имен и фактов, относящихся к русскому оппозиционному движению. После прочтения ее царем она была дана для прочтения во первых наследнику, будущему Александру II (для которого Николай сделал в начале рукописи надпись: „стоит тебе прочесть: весьма любопытно и поучительно“), и во вторых послана для ознакомления наместнику Царства Польского Паскевичу, по-видимому для надлежащего использования сообщаемых Бакуниным материалов о польском революционном движении (хотя вследствие сдержанности Бакунина жандармы в этом отношении особенно поживиться не могли).

Последняя надпись царя на рукописи гласит: „На свидание с отцом и сестрой согласен, в присутствии г. Набокова“ (коменданта Петропавловской крепости).

Рукопись давалась для прочтения и некоторым другим лицам, которым Николай I мог вполне доверять. Что ее читал и шеф жандармов Орлов и его верный помощник Л. Дубельт, в этом не может быть сомнения. По приказу Николая Орлов давал ее для прочтения и князю

А. И. Черны-шеву, занимавшему в то время пост председателя Государственного Совета. В ответном письме его Орлову содержится фраза („мне кажется, что... было бы весьма опасно предоставлять неограниченную свободу“ Бакунину), наводящая на предположение, что- Николай запрашивал своих верных слуг, как по их мнению следует поступить с узником.

„Исповедь“ публиковалась целиком дважды: в 1921 году Госиздатом в крайне небрежном виде и через два года в первом томе „Материалов для биографии Бакунина“ под ред. В. Полонского тоже с ошибками, из коих некоторые довольно грубые. В настоящем издании мы постарались дать точный текст этого документа, но только в современной транскрипции.

Наш текст отличается от текста оригинала в следующих пунктах.

1. Оригинал естественно написан по старой орфографии и старым алфавитом, наш текст—по новому сокращенному алфавиту и согласно новому правописанию.
2. Иностранные имена, названия и т. п. часто пишутся у Бакунина на иностранных языках; мы пишем их в большинстве случаев по-русски.
3. Неправильное или несвойственное установившимся в нашей литературе образцам начертание многих иностранных имен, названий и терминов у Бакунина вроде Кос[с]ут вместо Кошут, Тьерс вместо Тьер, мажиары вместо мадьяры, демокрация вместо демократия и т. п. у нас исправлено согласно выработавшейся у нас традиции.
4. Неправильное или несвойственное нашему времени написание Баку-ниным некоторых русских слов вроде интригант вместо интриган, участвовать вместо участвовать и т. д. нами устранено.
5. Обращения к царю, слова „государь“, „величество“ и т. п., которые в оригинале согласно обычаям самодержавной России писались прописным» буквами, у нас пишутся просто строчными.

Таким образом те изменения, которые мы в настоящем издании ввели в бакунинский текст, носят характер чисто внешних исправлений и ни в чем не меняют содержания или смысла оригинального текста.

Немецкий перевод «Исповеди» вышел под редакцией Курта Керстена в Берлине в 1926 году с несколькими интересными приложениями документов, взятых из архивов (наиболее важные из них мы используем в настоящем издании). Так как автор в качестве оригинала пользовался текстом, напечатанным в первом томе «Материалов» В. Полонского, то он повторяет все ошибки последнего: пояснительные добавления редактора для немецкого издания бедноваты и недостаточны.

Приводим некоторые работы относительно «Исповеди»: Л. Ильинский — «Новые материалы о Бакунине» («Голос Минувшего» 1920—1921);

И. Гроссман-Рощин — «Сумерки великой души» («Печать и Революция» 1921, N 3); Б. Козьмин — «Исповедь М. А. Бакунина» («Вестник Труда» 1921, N 9); А. Корнилов — «Еще о Бакунине и его исповеди Николаю» («Вестник Литературы» 1921, N 12); В. Н. Фигнер — «Исповедь М. А. Бакунина» (бюллетень книжного магазина «Задруга» 1921, N 1, декабрь, и в

дополненном виде «Сочинения», т. V, стр. 369—373);

М. Неттлау — «Исповедь Бакунина» («Почин» 1922, NN 8—9); А. Боровой и Н. Отверженный — «Миф о Бакунине», Москва, 1925, изд. «Голос Труда»; см. кроме того общие сочинения о Бакунине.

Прежде чем перейти к рассмотрению отзывов об «Исповеди» Бакунина, скажем несколько слов о заметке на эту тему старого сотрудника Бакунина, впрочем разошедшегося с ним уже в 1874 г., именно о статейке М. П. Сажина «Исповедь М. А. Бакунина», помещенной в сборнике «Unser Bakunin», выпущенном издательством «Синдикалист» в Берлине в 1926 году. Здесь Сажин сообщает умопомрачительную новость. Если верить ему, Бакунин за границу полностью рассказал ему обо всех обстоятельствах, сопровождавших его освобождение из крепости. «Действительно, — пишет Сажин в 1926 году, — когда я позже (1920 года — Ю. С.) в Москве прочел написанный Бакуниным оригинал, я убедился, что он в своем рассказе ни о чем не умолчал и все подробно передал, в том числе и письмо к Александру II». А Неттлау прибавляет во избежание недоразумения в прямых скобках: «1857», т. е. покаянное прошение Бакунина.

Надо сказать, что еще до того Сажин в личной беседе сообщил В. Полонскому, что Бакунин рассказал ему полное содержание «Исповеди». И. В. Полонский, принимая на веру это сообщение, наивно прибавляет: «Сажин был вероятно единственным человеком, заслужившие такое доверие Бакунина». Но даже этому доверчивому историку Сажин не говорил, что Бакунин признался ему в подаче покаянного прошения царю. Мне, который часто вел с ним беседы о Бакунине, Сажин ничего подобного не говорил, не говорил и о полной передаче ему Бакуниным содержания «Исповеди».

Бакунин всю жизнь скрывал отрицательные стороны «Исповеди» (не говоря уже о покаянных прошениях) даже от таких старых и интимных друзей, как Герцен и Огарев. Кто поверит, чтобы он стал откровенничать на эту тему с молодыми людьми, вовлеченными им в революционную работу и способными на такую откровенность учителя реагировать в совершенно нежелательной форме? Во всяком случае в русской печати, несмотря на появление ряда отрицательных отзывов об «Исповеди», принадлежащих людям самых различных направлений, в том числе столь высоко стоящим, как В. Фигнер, Сажин не счел нужным поведать о таком сногшибательном факте, как небывалая откровенность с ним Бакунина, сознавшегося ему якобы в подаче покаянного прошения о помиловании. И надо полагать, что не заикался он об этих вещах в русской печати потому, что был бы немедленно опровергнут.

А в немецком сборнике, предназначенном для заранее убежденных анархистов, можно было рассказывать такие сказки: во первых там самых элементарных фактов не знают (а кто знает, вроде М. Неттлау, тот спорить не станет!), а во вторых будут поддерживать эти рассказы из политических целей, дабы не допустить в лице Бакунина умаления анархистской традиции и анархистской легенды. Вероятно именно по таким политическим мотивам Сажин и пустил в ход этот рассказ в немецком анархистском сборнике. Ибо хотя мы знаем, что особой точностью насчет фактов Сажин никогда не отличался ни в молодости, ни тем паче в старости, мы все же не думаем, чтобы в такую грубую фактическую ошибку он

мог впасть вследствие запямятования, а полагаем, что он сочинил это неправдоподобное сообщение для защиты памяти Бакунина. Но точная история не может считаться с выдумками, даже если они подсказаны самыми «похвальными» субъективными намерениями.

В той же заметке Сажин делает другое сообщение, которое мы регистрируем, не будучи и здесь уверены в его точности. А именно он сообщает, что в России Бакунину был оказан человеческий прием. Рассказав о грубом обращении с Бакуниным австрийских жандармов, Сажин якобы со слов Бакунина продолжает: «При передаче на русской границе все обращение с ним сразу изменилось: русский жандармский офицер немедленно приказал снять с него цепи, хорошо накормил его, относились к нему предупредительно... то же самое имело место в Петербурге, в Алексеевском равелине». Тогда мол у Бакунина и появилась мысль, что Николай не станет обходиться с ним особенно жестоко, и у него явилась надежда на скорое освобождение; так возникла первоначальная идея «Исповеди», которую Сажин рассматривает как попытку обмануть царя и вырваться на волю для продолжения революционной работы.

Переходим теперь к другим отзывам об «Исповеди».

Первой заметкой об «Исповеди» была статейка некоего профессора

Л. Ильинского «Исповедь М. А. Бакунина», напечатанная в N 10 «Вестника Литературы» за 1919 год. Содержание ее примерно такое же как и содержание его же статьи, помещенной в 1921 году в журнале «Голос Минувшего» (о ней см. ниже).

Автор пишет, что ему «при разборе архива 3-го Отделения удалось найти этот ценный документ»; ему также удалось «заручиться и некоторыми другими документами» (при чем некоторые из них, как письмо Бакунина к царю от 1857 года, он пытался даже присвоить, так что позже его пришлось у него отнимать мерами административными). Заметка в свое время имела некоторое значение в том отношении, что в ней впервые опубликованы были отрывки из «Исповеди». В этом смысле она встретила отголосок и в иностранной прессе, в частности послужила материалом для статьи Виктора Сержа в берлинском «Форуме» и дала толчок возникшей в связи с нею полемике.

Особенно конечно поражали те выдержки из «Исповеди», которые были написаны в «верноподданническом» духе и тоне. По поводу этого усвоенного Бакуниным тона Ильинский говорил: «Мысль, что он пишет царю, не оставляет его, и письменный ритуал почтения выдерживается строго. Это пишет Бакунин-верноподданный, каясь во всем своем прошлом». Перед Ильинским естественно встает вопрос об искренности этого раскаяния; он дает на него неопределенный ответ, но в общем скорее склоняется к признанию его искренности. "Было ли это искренне, — пишет Ильинский, — или это была уступка ввиду ясности «моего безвыходного положения», сказать трудно на основании одной только этой «Исповеди». Впрочем «впечатление (от знакомства с документами, относящимися к пребыванию Бакунина в крепостях и Сибири) далеко не в пользу Бакунина. Единственное, что может так или иначе смягчить, это — те условия, в которых был Бакунин».

Далее Ильинский отмечает, что оценки; Бакунина и Николая I по ряду вопросов, не касающихся России, совпали: «анархист и монархист во многом сошлись», а именно в отрицательных оценках ряда явлений евро-пейской жизни.

Говоря о других документах, относящихся к подневольной жизни Бакунина, Ильинский замечает: «Его прошение Александру II, его прошение о зачислении в Сибири на службу (?)... и другие его письма из Сибири к официальным лицам—все это говорит далеко не в пользу Бакунина-революционера который после скрывал эти оттенки».

Заметка Ильинского и ознакомление (по его словам) с оригиналом «Исповеди» дали французскому журналисту Виктору Сержу материал для статьи, написанной им в ноябре 1919 года и опубликованной в немецком переводе в берлинском журнале «Форум» (июнь 1921 года, стр. 373—380). Появление этой статьи, из которой европейская читающая публика впервые услышала об «Исповеди» Бакунина, вызвало настоящую бурю. В то время как марксистские издания перепечатавали ее, используя ее содержание против анархизма, анархистские издания с злобой обрушились на нее и поместили ряд статей в защиту Бакунина и анархизма от невыгодных для последнего толкований его противников. Негодование анархистов против автора статьи было тем более велико, что до Октябрьской революции он под псевдонимом «Кибальчич» выступал в качестве анархиста и борца с его врагами. Ввиду этого Виктор Серж счел нужным напечатать свою статью, по его словам неточно переведенную на немецкий, в точном виде и опубликовать ее под заглавием «La Confession de Bakounine» в N 56 журнала «Bulletin Communiste» от 22 декабря 1921 года с предисловием Б. Суварина, в котором тот рассказал историю появления этой статьи в немецком переводе и брал на себя защиту ее автора от нападок анархистских журналистов.

(Мы должны впрочем признать, что сличение текста обеих статей, немецкой и французской, показывает, что никаких извращений в немецком переводе не имеется)

В том и другом тексте статьи В. Сержа ничего обидного, во всяком случае нарочито оскорбительного для Бакунина и анархизма как такового, не имеется. Недовольство анархистов было очевидно вызвано самим фактом появления в европейской печати этой публикации, могущей быть использованной в неблагоприятном для анархизма смысле, и действительно имевшими место попытками в таком духе. Как и большинство других лиц, писавших об «Исповеди» Бакунина, особенно до опубликования его писем к родным из крепости, в которых он выражал верность старым убеждениям, Виктор Серж готов верить искренности бакунинских заявлений в «Исповеди»; но в этом пожалуй и заключается весь его грех, который он впрочем разделяет с рядом других анархистов, даже сохранивших свои анархистские взгляды неприкосновенными.

Вот впечатление, вынесенное им из ознакомления с «Исповедью» по тем ее отрывкам, которые появились в заметке Ильинского или о которых он узнал из чтения самой «Исповеди»: «Железный человек, непримиримый революционер, бывший в течение нескольких дней диктатором восставшего Дрездена, прикованный затем к стене своей камеры в Ольмюцской крепости, о голове которого спорили два императора, и который должен был вплоть до последнего дня оставаться инициатором и инспиратором цвета

протестан-тов, духовный отец анархизма повидимому пережил страшный моральный кризис и не вышел из него незадетым. Немногого, быть может, нехватало для того, чтобы дуб был вырван с корнем и пал... Кое-кто — и ведь и те-перь, по прошествии 50 лет после его смерти, у него немало врагов — кое-кто станет пожалуй с злорадством говорить о „падении Бакунина“».

По поводу слов Бакунина в письме к Герцену о том, что он в «Исповеди» позволил себе «смягчить формы», В. Серж замечает: «Смягчить фор-мы» покажется во всяком случае читателю «Исповеди» и других докумен-тов эвфемизмом". Приводя отрицательные и насмешливые отзывы Бакунина о европейских движениях, в которых ему довелось принимать участие и ко-торые затем изображались им как пустые и жалкие, Серж говорит, что «Бакунин» разочаровался не только в себе одном". А по поводу сибирских пи-сем Бакунина Серж, ссылаясь на сообщение читавшего их лица, говорит об их угодливом тоне. Но признавая, что Бакунин «несомненно унижался, про-явил слабость», Серж считает нужным подчеркнуть, что во всяком случае он «не предавал», и что «в Исповеди нет ничего унижительного для его духа».

Свою статью Серж заключает указанием на то, что непреклонным бор-цам, не спускавшим свое знамя до конца и погибшим в тюрьмах, а также тем, кто унаследовал их дух, «Исповедь» Бакунина причинит боль. В тот момент своей жизни Бакунин проявил шатание. Он не оказался «сверхчелове-ком». Более энергичный, более порывистый, более пылкий, более проница-тельный, более изобретательный, чем многие другие, он однако не был человеком непоколебимым. Так или иначе, он господствовал над своим поко-лением, он господствует и над нашим (писавший эти строки видимо чувство-вал себя и в тот момент анархистом. —Ю. С.), но мы предпочли бы видеть его несгибающимся, дабы впоследствии легенда о нем была более краси-вой. Ибо он — из тех, кто оставляет по себе легенду. Из недавно откры-того нам человеческого документа выясняется, что у него, как и у других людей, были свои часы провала, и что, более крупный, чем большинство, он был сильнее ими изломан".

Статья В. Сержа дала толчок появлению ряда газетных и журнальных статей, посвященных обсуждению проблемы «Исповеди», а заодно и анархиз-ма. В частности враждебные Бакунину статьи появились в нью-йоркском Call и в некоторых итальянских журналах. Разумеется анархисты не могли оставить этих статей без ответа. Присяжный бакуниновед М. Неттлау поме-стил в ответ на статью В. Сержа, напечатанную в «Форуме», заметку в «Umanita Nova» (октябрь 1921) и в английском анархистском органе «Freedom» (декабрь 1921).

В полемику вмешались и французские газеты: так известная мадам Северин поместила на эту тему статью в «Journal du Peuple» за 1921 год, а В. Серж отвечал ей в той же газете в ноябре того же года. А после опубликования «Исповеди» по-русски в полном виде М. Неттлау поместил в названном «Freedom» (май 1922) другую статью, которая была переведена на русский язык и напечатана в журнале «Почин» (см. об этой статье дальше).

Еще в 1917 г. Л. Ильинский представил копию «Исповеди» в редак-цию «Голоса Минувшего», но кадетская редакции журнала, не желая видимо компрометировать противника

марксистов и доставить, как она воображала, радость ненавистным большевикам, не напечатала этого документа, несмотря на его сенсационность. Только после того, как «Исповедь» была опубликована в 1921 г., «Голос Минувшего» поместил ту вводную статью Л. Ильинского «Новые материалы о Бакуanine», которую автор думал сопровождать печатание «Исповеди» в названном журнале, и которая представляет распространенный вариант его статьи, появившейся в «Вестнике Литературы» за 1919 год (см. выше). Автор понятия не имеет ни о биографии Бакунина, ни об относящихся к ней самых элементарных фактах. Но это не мешает ему изрекать истины с уверенным видом знатока. Впрочем в самой оценке «Исповеди» он довольно сдержан. Он отмечает те униженные выражения по адресу царя, которые «придают некоторый подобострастный характер записке», но оговаривается, что хотя в этом отношении оправдать Бакунина нельзя, но не приходится говорить и об искренности его в этих выражениях. «В общей массе написанного в „Исповеди“ эти места как-то теряются, не влияют на ее общий тон и характер. Все же остается действительно смелая, не без достоинства речь человека, независимого в своем внутреннем мировоззрении!» Здесь Ильинский имеет в виду отказ Бакунина выдать Николаю своих соучастников, чего тот ждал от узника. «Исповедь» Ильинский считает документом искренности — «искренности, не выходящей за пределы возможного для порядочного человека и честного деятеля». Тем не менее «Исповедь» в случае ее огласки способна была скомпрометировать Бакунина:

«такой материал, как „Исповедь“ со всеми ее атрибутами, как обращение к государю, хотя бы в приведенных выражениях, письма Бакунина к официальным лицам, иногда с выражениями неуместными для деятеля революции, — все это было прекрасным материалом для дискредитирования личности и деятельности Бакунина, хотя бы даже в той ее части, где он выступает в резкой оппозиции русскому правительству». И дальше Ильинский сообщает о попытке III Отделения в 1863 г. выпустить брошюру «Михаил Бакунин, сам себя изображающий», составленную на основе «Исповеди» и других обращений Бакунина к властям во время его пленения в России.

Говоря о всеподданнейшем прошении Бакунина от 14 февраля 1857 года, доставившем ему освобождение из Шлиссельбурга, Ильинский, напоминая, что сам Бакунин в своем письме к Герцену об этом прошении умалчивает, прибавляет: «Объяснений, примиряющих в этом отношении нас с Бакуниным, нет. Можно сказать больше. Нет даже обстоятельств, смягчающих его вину». И говоря о дальнейшей его переписке с властями, Ильинский заключает: «Все эти документы являются для Бакунина-революционера уничтожающими. Оторванные от общей его жизни, от оценки их в масштабе всей этой крупной фигуры, они могут создать впечатление какого-то ренегатства или в лучшем смысле сознательной лжи перед властями, так свойственной лицам, спасающим себя, свою шкуру, лжи с нехорошим оттенком умалчивания о ней, подтасовки фактов в сообщениях о своей жизни друзьям... Но такой взгляд, такая оценка возможна лишь при тенденциозности подбора фактов... По вырванным страницам, случайно попавшим в поле зрения, трудно составить впечатление о всей книге. По представленным документам неосторожно было бы судить личность Бакунина. Они вскрывают новую страницу жизни Бакунина, но это—только страница».

Все это писалось до того, как стали известны письма, переданные Бакуниным родным на свидании в крепости в 1854 г. и свидетельствовавшие о верности его старым убеждениям.

А Корнилов в заметке, напечатанной в «Вестнике Литературы», высказывает — неизвестно на каком основании — уверенность, что Бакунин рассказал Герцену (как и Сажину) все содержание «Исповеди». «Поэтому о сокрытии перед друзьями не может быть и речи». Переходя к покаянному тону «Исповеди», Корнилов указывает, что этот тон не всегда выдержан.

Но, прибавляет Корнилов, другой тон в рассматриваемом документе был и невозможен: «можно было не писать исповеди или написать так, как она была написана. Другой тон ее в то время был бы немыслим». Под конец Корнилов утверждает, что «документ этот имеет всемирное литературное значение», не поясняя впрочем, что он хочет этим сказать.

В. Полонский, написавший предисловие к изданию «Исповеди» 1921 года, пустил в ход гипотезу, вполне подходящую этому скорее журналисту, чем историку, но к удивлению позже повторенную гораздо более серьезными людьми. А именно, приняв всерьез все выражения и тон «Исповеди», Полонский признал в ней наличие подлинного раскаяния и объяснил его возвращением Бакунина к юношеским взглядам на разумную действительность. «Романтик, не знавший твердо, чего он хочет, положившись на веру и подавив в себе все сомнения, — когда потерпел кораблекрушение, подверг переоценке свои прежние мысли и настроения и отвергнул их как заблуждения своего незрелого ума и чувства... Все грехи и преступления, как называет свою деятельность Бакунин, произошли по его мнению от ложных понятий. Все замыслы его, столь увлекательные в то время, в каменном уединении Петропавловской крепости... стали казаться ему донкихотским безумием .. (В тюрьме он) усомнился в истине многих старых мыслей, т. е. тех, которые казались ему истинными на Западе, и вернулся к мыслям, еще более старым, к мыслям московского периода».

В своем восторге перед внезапно открывшейся ему истиной Полонский доходит до признания искренними комплиментов Бакунина Николаю I: «у нас нет никаких оснований не верить ему, когда он признается царю, будто под пеплом политических страстей в нем сохранилось какое-то особенное чувство к венценосцу Николаю». Еще бы, раз гегелевская разумная действительность, проповедником которой Бакунин был в 30-х годах, снова победоносно овладела его сознанием! «Попав за границу, захваченный всеобщим движением, он признал разумным бунт против действительности, потому что ведь самый бунт — тоже действительность. Но потерпев кораблекрушение, оскорбленный подлым подозрением, своим участием в дрезденском восстании хотевший смыть с себя черное пятно клеветы, он в каменном мешке Петропавловки разочаровался в действительности бунта и под диктовку разочарования пришел к заключению, — правда, опять временному, — что и в самом деле все действительное — разумно, что „история имеет свой собственный таинственный ход, что в жизни государств и народов есть много высших условий, законов, не подлежащих обыкновенной мерке“, и так далее, словом все то, что читатель прочтет в „Исповеди“ и что является чуть ли не повторением мыслей, изложенных в „предисловии“ к гимназическим речам Гегеля».

Как увидим ниже, в таком же духе старались объяснить «Исповедь» и некоторые другие писавшие о ней. Всем им пришлось отказаться от этой надуманной, кабинетной гипотезы, как только опубликованы были записки, тайком переданные Бакуниным родным на

свидании в феврале 1854 года.

Одного из первых об «Исповеди» высказалась Вера Николаевна Фигнер. Человек совершенно иного морального склада, чем Бакунин, В. Фигнер была потрясена как фактом «Исповеди», так и ее тоном. В этом документе по мнению В. Н. автор его «унижает свое прошлое—революционное прош-лое 40-х годов». По видимому имея в виду мнение, высказанное мною в пер-вом издании тома I моей книги о Бакуине, Фигнер не соглашается с ним:

«Иные высказывают мнение, — пишет она, — что „Исповедь“ была приме-нием правила „цель оправдывает средства“, что Бакунин брал на себя личи-ну; что он притворялся и лгал, чтобы вырваться на свободу и вновь от-даться кипучей революционной борьбе. Но это невероятно, противоречит общему тону рассказа, противоречит содержанию его переписки с родными из Шлиссельбургской крепости, противоречит наконец его поведению и об-разу жизни в Сибири, где он вызывал недоумение тех, кто хотел видеть в нем непреклонного борца за свободу». И дальше Фигнер склоняется к при-знанию покаяния Бакунина искренним: «Сомнения нет, — говорит она, — Бакунин в „Исповеди“ был искренен... Если Бакунин „Исповеди“ далек и совер-шенно чужд Бакунину, которого мы знаем по последнему десятилетию его жизни, то он родственен и близок Бакунину прямухинского периода, периоду перед отъездом в Берлин в 1840 году, когда он увлекался философией Ге-геля, находил все существующее разумным и не только не возмущался „гнус-ной“ русской действительностью эпохи Николая I, но находил ее прекрасной и был патриотом своего царя и отечества... В его психологии обнаружился атавизм, возврат к Бакунину 30—40-х годов». И Фигнер заключает:

«Смотря на дело в этой перспективе, можно понять „Исповедь“. Мож-но сказать, что все мы, как почитатели, так и хулители Бакунина, создали мечту, иллюзию о цельности его натуры и его жизни, а „Исповедь“ разо-рвала эту иллюзию на-двое. Иллюзия разорвана на-двое, но величаява фи-гура Бакунина и любовь к нему остаются. И в этом деле, быть может, всего печальнее, что после „исповеди“ перед Николаем I он не сделал исповеди перед своими друзьями и единомышленниками».

Через 4 года Вере Фигнер пришлось отказаться от своей точки зре-ния. Приведя несколько выдержек из его тайком переданных писем из кре-пости, в которых выясняется его верность старым революционным убежде-ниям, Фигнер пишет: «Эти цитаты заставляют думать, что „Исповедь“ Николаю I была приложением правила „цель оправдывает средства“, но это не может удовлетворить и успокоить потрясенного читателя».

На несколько отличной позиции стоит известный исследователь наше-го революционного прошлого Б. П. К о з ь м и н. В своей заметке-рецензии об «Исповеди» он признает покаяние Бакунина непритворным, говоря: «По-лонский вполне прав, когда он отвергает мысль о притворстве Бакунина. При чтении „Исповеди“ всякие сомнения в искренности ее автора отпада-ют... Бакунин искренен. Он писал то, что действительно думал, говорил о том, в справедливость чего в то время он верил. Он.... действительно каял-ся». Но дальше Козьмин отвергает гипотезу Полонского, будто Бакунин в крепости вернулся к оправданию действительности. По мнению самого Козьмина тон «Исповеди» объясняется тем, что

Бакунин разочаровался в госу-дарственных формах современной ему Западной Европы, а также в рево-люционном движении 1848 года, носившем чисто политический характер. Отсюда его увлечение славянством (но разве оно не присуще было Бакуни-ну раньше? — Ю. С), мысль о революционной диктатуре и надежда скло-нить Николая I взять на себя эту революционную диктатуру (?) и осво-бождение славян.

Это разочарование Бакунина началось не в Петропавлов-ской крепости, а гораздо раньше. Это было разочарование не в целях, а в средствах к их достижению. Разочаровавшись в радикальных средствах, в путях бунтовских, «Бакунин столь же искренно и горячо уверовал в... путь демократического цезаризма», а «Исповедь» и была выражением этой новой веры. Правильность такого толкования по мнению Б. Козьмина якобы дока-зывается содержанием брошюры Бакунина «Народное Дело» 1862 года, в которой допускается примирение революционеров с царем, если он согла-сится стать царем «земским». А так как в те времена мысль о полной про-тивоположности царизма интересам масс была еще не достаточно ясной, то, по мнению Козьмина Бакунин заслуживает снисхождения.

Далее следует группа отзывов об «Исповеди», принадлежащих писа-телям, разделяющим анархистское мировоззрение. Эти люди естественно сильнее других почувствовали удар, ставивший под сомнение революционную честь одного из основоположников их партии, а с другой стороны они опа-сались использования этого неприятного факта противниками анархизма для скомпрометирования последнего. Поэтому они никогда не договаривают до конца, пытаются обходить острые углы и говорить не на тему, а в сторону от нее и притом выражаться неопределенными фразами, допускающими раз-личное истолкование.

И. Гроссман-Рощин, анархизм которого уже в то время дал изрядную трещину, в заметке «Сумерки великой души» в сущности стано-вится на позицию В. Полонского. «Эта исповедь, — говорит он, — позор и падение, позор великой души, но позор, падение титана, но все-же падение». Но чем же оно объясняется? Психологическим дуализмом Бакунина. не сумевшего довести до конца материалистическое понимание мира, ввести веру и волю в рамки объективного исторического процесса. «Разочаровав-шись во всесиии духа разрушения, увидавши, что и воля не владыка и, не созидательница „обстоятельств“, Бакунин должен был удариться в проти-воположную крайность и признать всесиие лютого врага своего — объектив-ного хода вещей. Смертельно раненый в неравном бою, Бакунин кается и ищет, напряженно, по донкихотски честно, своего врага, чтобы вручить ему жезл и корону и сказал ему: от имени воли и веры заявляю тебе, Демиург истории, перводвигатель мира, первооснова всех вещей, мы побеждены и каемся в грехах наших, в безумии нашем! Реально и конкретно это пораже-ние воли и веры выразилось в этой исповеди, в этом письме к царю». Дру-гими словами Гроссман-Рощин признает искренность разочарования и раска-яния Бакунина. Это еще яснее видно из его дальнейших слов: «Бакунин в один момент своего бытия, ослабленный, одинокий, потерпевший пораже-ние за поражением, усомнился в правде движения, революции и воли, страшной правдой показались ему Покой, Объективный ход истории и Классово-Обломовская покорность. В этот страшный час, в этот тяжкий час на сцену выступил и символ покоя, безволия, покорности ходу вещей, и символом этой духовной Сахары явилось письмо к Николаю I».

Не соглашаясь с тем, что «Исповедь» серьезно роняет Бакунина как революционера, что она разрушила легенду о Бакунине-Прометее, Гроссман-Рощин подчеркивает, что позже Бакунин воскрес и только тогда сделался анархистом.

Характерная анархистская заметка об «Исповеди» появилась без под-писи в журнале «Почин» 1921—1922, N 4—5, стр. 14 сл. Несмотря на тенденциозность автора, вдобавок не всегда выражающегося достаточно вра-зумительно, заметка исходит из правильного отрицания искренности «Испо-веди». Автор усматривает в ней «вынужденную неискренность, тактическую ложь по отношению к слепой и грубой силе самодержавия». Аноним (быть может именно потому, что аноним) настолько смел, что отказывается осуждать Бакунина за проявленную им склонность к компромиссу, хотя бы в области форм. По его мнению Бакунину за «Исповедь» «не перед кем каяться: ни перед обществом, к которому он не обращался подобно Белинскому и Некрасову (?), ни перед товарищами, которым он не изменял, к которым он стремился всей душой... Если „Исповедь“ Бакунина позор-на и унизительна, то не для его мощного исторического облика, а для извращающего начала государственной власти». Далее автор даже вы-сказывает предположение, что нравственный разлад, испытанный Бакуни-ным при писании «Исповеди» и вследствие принуждения его ко лжи, уси-лил его отрицательное отношение к государству и толкнул его позже к анар-хизму. Впрочем приоритет этой оригинальной мысли принадлежит и здесь В. Полонскому, который в цитированном предисловии к «Исповеди» писал: «Можно даже предположить, что необузданность (!!) его анархиче-ской деятельности питалась тягостными воспоминаниями о прошлом „паде-нии“, которое надо было искупить самой дорогой ценой».

Заметка М. Н е т т л а у, напечатанная в N 8—9 «Почина» за 1921—1922 гг., стр. 11 сл., представляет перевод его статейки, помещенной в ан-глийском анархистском журнале «Freedom» за май 1922 г. Еще до того Неттлау поместил в том же журнале (октябрь 1921 года) статейку в ответ на статью В. Сержа, появившуюся в «Форуме». Текст, напечатанный в «Почине», отличается от текста статьи Неттлау в майском номере «Фри-дома» во-первых тем, что в последней имеется предисловие, которого в «По-чине» нет, а во-вторых тем, что в русском переводе опущены некоторые ме-ста—не знаем, автором или же редактором русского анархистского журна-ла. Например там, где Неттлау говорит о национализме, лежащем в основе «исповеди», у него дальше сказано: «Он и позже не был свободен от этих националистских преувеличений, затушевывавших и сковывавших его более тонкие чувствования, вплоть до 1864 года, и даже после того этот демон дремал в нем, сдерживаемый единственно ободряющим зрелищем международного рабочего движения с - момента его возникновения».

Неттлау находит, что хорошая встреча, оказанная Бакунину в России, предрасположила его к откровенности с царем. С другой стороны эта встре-ча внушила ему надежду, что он будет жить и когда-нибудь снова добьется свободы. Вот каковы были мотивы, руководившие им в течение дальнейших 10 лет и в частности в то время, когда он писал «Исповедь». Последняя показывает, что Бакунин решил добиться свободы «достойными средствами», отказавшись от предательства, и для одурачения царя прибег к «тонкому приему», выражавшемуся в том, что Бакунин «умалял свое собственное значение и вместе с тем брал на себя полную ответственность за то, что он делал и когда-либо намеревался делать». «Покорный тон

некоторых мест» тоже «не должен шокировать», ибо царь и не стал бы читать документа, написанного в иной форме. «В общем он хотел провести царя видимою искренностью, говоря правду, но далеко не всю правду».

Таким образом Неттлау в общем дает правильную оценку «Исповеди», хотя явно стремится ослабить теневые ее стороны в интересах реабилитации Бакунина.

Можно ли упрекать Бакунина за «Исповедь», спрашивает Неттлау и отвечает: «Я думаю, что он был волен делать то, что он считал лучшим, и что только „елейная прямолинейность“ найдет его поступок неправильным».

Переходя к оценке «Исповеди» как документа исторического, Неттлау замечает: «В содержании „Исповеди“ не все одинаково ценно в смысле историческом и биографическом». Умалчивания Бакунина показывают, что «он принимал все меры к тому, чтобы не повредить ни лицам, ни идеям»,

Неттлау правильно отклоняет попытки большинства анархистов отмахнуться от «Исповеди» указанием на то, что в 1851 году Бакунин не был еще дескать законченным анархистом.

Крупным недостатком «Исповеди» является по словам Неттлау проникающий ее национализм. Упомянув о попытке Бакунина в 1848 г. обратиться с письмом к царю, предлагавшим ему стать во главе славянского движения, Неттлау прибавляет: «Это показывает, куда логически ведет национализм даже лучших людей: он привел Бакунина, по крайней мере по духу и намерениям, в объятия Николая I». А сама «Исповедь» есть «логический вывод националистического мировоззрения».

В дальнейших компромиссных действиях Бакунина Неттлау обвиняет самодержавный режим, вынуждавший дескать на такие действия. Так ответственность за подачу Бакуниным прошения о помиловании Неттлау возлагает на мелочность Александра II. В общем Неттлау видимо смущен открывшейся картиной и не знает, как выпутаться из создавшегося положения. Свою заметку он заканчивает следующей тирадой: «Быть справедливым и рассуждать на основании серьезных исторических данных (В английском тексте сказано: „proper historic knowledge“, т. е. „собственных знаний по истории“.) — вот все, что требуется, и тогда также и эта исповедь встретит полное понимание, как человеческий документ действительности и фантазии, смелости и хитрости — порождение их середины (В оригинале сказано: „its milieu“, т. е. „его среды“.), что и не могло быть иначе».

Раз заговорив о Неттлау, мы приведем здесь и другие известные нам отзывы его об «Исповеди».

В заметке «Жизненное дело Михаила Бакунина», помещенной в выпущенном в Берлине издательством «Синдикалист» в 1926 г. сборничке «Наш Бакунин», М. Неттлау говорит, что «Исповедью» Бакунин «очень ловко сумел отделаться от дальнейшего следствия, правда ценою долголетнего тюремного заключения, подорвавшего его здоровье». И Неттлау прибавляет: «Если бы русские правительства с 1851 по 1917 год могли использовать этот документ против Бакунина, они бы это сделали; одно это должно предохранить от

имевшего с 1919 года место злоупотребления этим документом, которое в 1921 году вскоре по опубликовании его прекратилось».

В том же сборнике Неттлау полемизирует с статейкой К. Керстена, переводчика «Исповеди» на немецкий язык, напечатанной в журнальчике «Die neue ВЭcherschau» 1926 (6 Jahr, 4 Folge, erste Schrift, стр. 8 сл.) под заглавием «Поэт революции». По словам Керстена «хотя эта „Исповедь“ представляет автобиографию, но в действительности это—смесь „вымысла и правды“, она свидетельствует о фатальной двойственности деклассированного человека. В мировой литературе нет документа, который мог бы сравниться с этим писанием. Ее можно использовать как исторический источник, но с решительным скептическим подходом, ее можно рассматривать как чисто психологический документ—и будешь сбит с толку, можно усмотреть в ней шедевр политической дипломатии революционера и вместе с тем испытывать отрицательное отношение к методам, к которым прибегает этот политический узник». Отмечая, что никогда Николай не слышал ничего подобного тому, что наговорил ему Бакунин в «Исповеди» о самодержавной системе правления, Керстен указывает, что перехитрить царя Бакунину не удалось, и что тот в раскаяние его правильно не поверил.

Но рукопись «Исповеди» осталась в руках правительства страшным оружием против Бакунина, и мысль о возможности опубликования ее всю жизнь висела кошмаром над ее автором, парализуя его энергию в наиболее решительные минуты.

В этой гипотезе и заключается оригинальная сторона заметки Керстена. Напоминая о том, что в разгар выступлений Бакунина на стороне поляков в 1863 году русское правительство собиралось издать брошюру Шведа «Михаил Бакунин в собственном изображении», содержащую ряд извлечений из «Исповеди» и других покаянных писаний Бакунина, Керстен именно этим объясняет отъезд Бакунина из Швеции, его разрыв с Герценом (!) и временный отход от революционной работы. «Почему брошюра не была опубликована, — говорит Керстен, — мы не знаем... Твердо установлено только, что Бакунин скоропалительно покидает Швецию, порывает сношения с поляками, вступает в конфликт с Герценом. Все окутано туманом... Не показали ли ему в Стокгольме рукопись брошюры?» Через семь лет, в разгар революционного брожения во Франции в 1870 г., в котором Бакунин принимает личное участие, снова заговаривают об опубликовании вышеназванной брошюры для морального скомпрометирования Бакунина (на самом деле русское правительство хотело нанести Бакунину удар за его активное участие не в французском движении, а в нечаевском деле). Снова брошюра не публикуется, но снова Бакунин быстро сходит со сцены.

Через два года (на самом деле через 3—4 года) во время итальянских волнений «должен был в третий раз вынырнуть призрак. В третий и в последний раз. Теперь Бакунин окончательно отказывается от всякой революционной работы. Над жизнью его тяготело проклятие».

Против этой гипотезы, свидетельствующей только о плохом знакомстве ее автора с фактами, справедливо возражает Неттлау в своей заметке, напечатанной в упомянутом сборнике и озаглавленной «Бакунин и его „Исповедь“».

Возражение Курту Керстену», Неттлау напоминает, что о поездке в Италию Бакунин думал еще в 1862 г., т. е. задолго до того, как в Петербурге решили выпустить против него брошюру; что уехав в октябре 1863 г. из Швеции, он снова приехал туда в 1864 г., что сношения его с поляками прервались по причинам, не имевшим никакого отношения к брошюре, и по столь же не от него зависевшим причинам произошла ссора его с сыном Герцена; словом никаких доказательств связи между действиями Бакунина и подготовлением брошюры не существует.

Второе указание Керстена на французские события столь же неосновательно. Существует масса документов, из которых мы узнаем о планах, настроениях и действиях Бакунина за это время. Никакого отношения к плану русского правительства издать названную брошюру они не имеют, и отъезд Бакунина из Лиона, а позже из Марселя объясняется известными фактами, связанными с ходом событий в этих городах и приводившими к мысли о безнадежности местных восстаний в ближайшее время. Брошюра никакого отношения ко всему этому не имела (да впрочем Керстен, чего не замечает Неттлау, и сам не говорит здесь, что Бакунин узнал о возобновлении намерения русского правительства издать против него брошюру).

Наконец третья ссылка Керстена на итальянские события и отход Бакунина от политической деятельности столь же легковесна. Во-первых два года спустя после отъезда Бакунина из Франции никаких волнений в Италии не было, а вспыхнули они только в 1874 году; далее заявление Бакунина об его уходе в частную жизнь связано вовсе не с мифической брошюрой, о которой в то время русское правительство и не помышляло, а с другими, там великолепно известными мотивами (при том, чего здесь не указывает Неттлау, уход этот был в значительной мере фиктивным). Действительный отход Бакунина от участия в революционной работе состоялся только в 1874 г., и опять-таки без всякого отношения к брошюре, а вследствие разочарования и личного разрыва с товарищами по Альянсу. И Неттлау справедливо говорит, что оставив почву фактов, Керстен вступил на почву романа. Но дальше он сам сходит со строго фактической почвы, пытаясь доказать, что не Бакунин боялся опубликования «Исповеди», а боялось этого само правительство, опасавшееся, что в случае опубликования брошюры Шведа, Бакунин даст ему такой ответ, который скомпрометирует царизм и разоблачит жестокости, царящие в его застенках. Последнее отчасти верно, но что Бакунину перспектива разоблачения проявленной им слабости не могла быть приятной, в этом тоже сомневаться не приходится, хотя и не следует этого страха преувеличивать: отговориться, в особенности указанием на продолжение им революционной работы, Бакунин всегда сумел бы.

Последний по времени отзыв М. Неттлау об «Исповеди», данный им в книге «Der Anarchismus von Proudhon zu Kropotkin», Берлин 1927, стр. 34, гласит: «Это—в высшей степени сложный документ, с помощью которого Бакунин путем уничтожения своей личности добился своей цели—избавить себя от действительного инквизиторского следствия относительно польских и других дел, что помогло его делу. Под внешней откровенностью скрывается глубочайшая скрытность. Искренен, только националистический тон, так как мы неоднократно снова встречаем его в ряде писем и манускриптов, написанных в обстановке полнейшей свободы. Форму приходилось приспособить к взятой на себя роли, и как бы отталкивающе и тяжело ни действовал на первый

взгляд этот документ, тем не менее все выясняется, когда к нему подходишь с знанием относящегося сюда богатого материала» (Кроме названных выше М. Неттлау, насколько мне известно, помещены еще заметки об исповеди в «Freie Arbeitsstimme», «Le Libertaine» и «RЖda Fanor» за 1922 и 1925 годы, но нам не удалось их достать. Впрочем вряд-ли они содержат что-либо новое сверх высказанного в рассмотренных выше отзывах М. Неттлау об этом документе.)

В рецензии на «Исповедь», помещенной в журнале «Печать и революция» 1921, книга 3, стр. 202 сл., А. Боровой стоит приблизительно на точке зрения Гроссмана-Рощина. Признавая «Исповедь» человеческим документом колоссального исторического и психологического значения, Боровой в отличие от Неттлау готов признать в ней наличие действительного покаяния, хотя и не в том смысле, какой этому термину придавали жандармы.

Отмечая, что «внешних заявлений раскаяния в „Исповеди“ — бесчисленное количество», и что они «производят тяжелое впечатление», Боровой полагает, что «центр ее — не в этих заявлениях,... что они лишь — невольная дань условиям места, в которых находился Бакунин».

По мнению Борового «Исповедь» нужна была Бакунину не только для царя, не только для облегчения собственной участи. «Она нужна была ему для его личного покоя как средство отделаться от прошлого, испепелить его гнетущие призраки». Составляя исповедь, Бакунин переживал период душевного перелома, подлинного раскаяния в прошлой работе и разочарования в предыдущем этапе своего развития. «Исповедь» — этап жизни, кипучей, необычайно сложной, то вдохновенно-пророческой, то богемно-бестолковой, этап, пройденный до конца и принесший Бакунину со святым «духовным пьянством», «пиром без начала и конца», восторгами пережитых мгновений глубокую, незаглушимую ничем горечь разочарований, мучительный стыд за ошибки и неудачи. Отсюда ненасытная жажда очищения от налипшей грязи, отсюда жестокая «расправа» над прошлым, не давшим подлинного удовлетворения революционеру. Они — естественный продукт обид и неудач этого первого этапа революционной деятельности Бакунина». И дальше: «Волнуясь и спеша, казнил себя Бакунин. Его „Исповедь“ — прежде всего исповедь перед самим собою. В ней излил он свою скорбь, свою усталость, свое отвращение. Кому бы, для кого бы ни писалась „Исповедь“, кто бы ни читал ее, — в ней стояли бы все те же слова, что нашел и царь».

Об отступничестве Бакунина, как показала вся его дальнейшая жизнь, или о готовности его купить себе облегчение участи ценою отступничества не может быть и речи. По мнению Борового «Исповедь» вообще не может бросить никакой тени на мировоззрение Бакунина. Это был этап, после которого он воскрес для новой, более плодотворной жизни. «И вопреки мнению тех, кто в тревоге за возможное якобы потускнение образа любимого героя, за омрачение его имени скорбит о появлении „Исповеди“, надо наоборот приветствовать документ, с неслыханной силой и искренностью рисующий образование великой души великого революционера. Немногим дано было видеть тайный рост ее зреющих сил, тюрьма же раскрыла нам настежь двери в самые сокровенные углы ее».

Неудивительно, что другой анархист, Н. Отверженный, выпустивший спустя четыре года совместно с тем же А. Боровым книжку «Миф о Бакуnine», не соглашается с точкой зрения своего сопартийца, делающего из нужды добродетель и готового усмотреть в «Исповеди» подлинное пока-яние, представляющее на его взгляд не минус, а плюс, подъем на более высокую ступень. Для этого Отверженный не достаточно самоотвержен. Правда в предисловии к названной книжке реванш берет как будто Боровой, судя по следующей фразе: «Многокрасочный его (Бакунина) путь, подчас противоречивый, идущий мимо бездн к высотам творческого само-утверждения, представляется авторам более ценным, чем прямой и безошибочный [путь] безжизненного догматизма». Но судя по дальнейшему содержанию брошюры, в которой Боровой «Исповеди» уже не касается, а избирает менее скользкую тему о возможности сопоставления Бакунина с Ставрогиным в «Бесах» Достоевского, тогда как основная статья сборничка — «Проблема Исповеди» написана Н. Отверженным, отвергающим позицию в этом вопросе Борового, приходится допустить, что в анархистских кругах преобладанием пользуется его точка зрения, совпадающая приблизительно с точкой зрения М. Неттлау.

Никакого подлинного покаяния со стороны Бакунина Отверженный не усматривает, а видит в «Исповеди» сплошное притворство, продукт «Нечаевской» тактики, считавшей все средства дозволенными для достижения благой цели. «Без сомнения „Исповедь“ — самая утонченная игра духовного притворства, какую когда-либо приходилось вести величайшему мастеру конспиративных заговоров и организатору тайных революционных обществ, но вместе с тем она — замечательный памятник анархической — неоформленной стихии Бакунина той эпохи». Конечно в «Исповеди» содержится много выражений в духе покаяния, но «необходимо понять, что этот образ является только личиной Бакунина, искусной маской притворства». Не следует впрочем преувеличивать возмущение тоном записки; «перед нами определен-ный стиль той эпохи смягчения формы», и в доказательство автор приводит выдержки из некоторых обращений А. И. Герцена 1840 и 1842 гг. к начальству, составленные в таком же примерно духе. Так или иначе в «Исповеди» мы имеем дело с документом «нечаевского» стиля, каковой для Бакунина не являлся уже и тогда чем-то новым или неожиданным. Ссылаясь на свидетельства В. Белинского, Т. Грановского и других знакомых Бакунина по 30-м годам, Отверженный приходит к тому выводу, что «еще в годы юности Бакунин порой обнаруживал известное пренебрежение к общепризнанным догматам», что он «еще в детстве [был] глубоко и органически чужд тем нравственным обязательствам, общественным догматам, которые властно тяготели над его современниками» (в пример он приводит отношение Бакунина к денежному вопросу). И «Исповедь» — «в этом смысле дерзкий вызов общепринятым догматам и абсолютной истине». Раз открывалась какая-то возможность добиться свободы, Бакунин не колебался по-кривить душой: «Путь единственный к свободе и революционной деятельности был путь трагической Голгофы (какая же для „нечаевца“ может быть трагическая Голгофа? — Ю.С.), путь нравственного унижения и душевного страдания. На лицо необходимо было надеть позорную маску „отречения“. Этот путь был единственный, дающий возможность если не получить свободу, то мечтать о ней, и Бакунин бесстрашно бросил на алтарь революции свою честь, личное мужество и революционную непримиримость».

В прошении о помиловании от 14 февраля 1857 г. Отверженный снова усматривает дальнейшее проявление той же «нечаевской» тактики. «Это письмо, — говорит он, — лучший

аргумент того, как „нечаевская стихия“, до-веденная до пределов логического бесстрашия, могла обезличить даже та-кую мощную индивидуальность, каким был Бакунин» (за стиль Отвержен-ного мы не отвечаем).

Не вступая в полемику с автором этих строк, можно только спросить его, зачем он применяет к охарактеризованной им тактике эпитет «нечаев-ской» Ведь Нечаев, попав в крепость, вел себя вовсе не по «нечаевски» в кавычках. Зачем же ему отвечать за других?

В «Записках русского исторического общества в Праге» (книга 2, Прага 1930, стр. 95—124) Б. А. Евреинов поместил статью «Исповедь М. А. Бакунина», представляющую уникам в литературе, посвященной рас-сматриваемому вопросу: ни один революционер не отнесся так строго и бес-пощадно к Бакунину за «Исповедь», как этот белогвардейский критик. Так как заграничный журнал недоступен широким кругам нашей читающей пуб-лики, то мы приведем из названной статьи ряд выдержек.

Прежде всего автор в отличие от Корнилова считает более «осторож-ным признать, что истинный характер „Исповеди“ был скрыт Бакуниным (от друзей. — Ю.С.). Он не утаил лишь самого факта своего обращения к ца-рю из Петропавловской крепости». И это неудивительно ввиду содержания «Исповеди», ее характера, «ее льстивого, подобо-страстного, верноподданни-ческого тона», которые на первых порах произвели ошеломляющее впечат-ление, особенно в кругах анархистских. «Те, кто привык смотреть на Баку-нина как на учителя и вождя, кто склонен был ставить его на пьедестал и верить в цельность и непреклонную силу его характера, были крайне смуще-ны как самим фактом „покаянного“ обращения Бакунина к царю Николаю I, так и в особенности содержанием и тоном этого обращения». Даже если принять во внимание, что таких фактов в истории русского революционного движения было немало, «документ этот поражает нас неприятно и болезнен-но и делает естественными и законными недоуменные вопросы», было ли это искренними заявлениями или хитрым приемом.

«Другие революционеры приходили к покаянному настроению в конце своей революционной карьеры. „Исповедь“ Бакунина прорезывает его рево-люционную деятельность в самой середине ее».

Евреинов думает, что в тюрьме Бакуниным овладело действительное разочарование, что он произвел переоценку ряда своих прежних позиций, и что он осознал свою основную ошибку, заключавшуюся в преувеличении революционной готовности наро-дов славянских и русского.

Таким образом в «Исповеди» перемешаны элементы хитрости с эле-ментами покаяния. «Это произведение Бакунина сложно и интересно не только потому, что в нем причудливо сочетаются два плана: один—униженный, льстивый и покаянный, и другой — твердый, обличительный и агитацион-ный, но также и тем, что оба эти плана органически друг с дру-гом связаны и друг друга дополняют». В «Исповеди» «дале-ко не все сводится к желанию „одурачить“. Несомненно, что во многих сво-их разочарованных словах и мыслях Бакунин был вполне искренен». И в до-казательство своей мысли Евреинов (подобно Б. Козьмину) ссылается на ту же брошюру «Народное Дело», в которой говорится о «земском царе». Но

необходимо подчеркнуть, что все цитированные выше авторы, допускавшие наличие некоторых элементов покаяния в «Исповеди», держались этого мнения до тех пор, пока не стали известны записки Бакунина, тайком переданные им родным на свидании в феврале 1854 года, тогда как Евреинов высказал это мнение о действительном раскаянии Бакунина и о подлинном его разочаровании в революции через пять лет после опубликования упомянутых записок.

Далее, те авторы, которые допускали действительность разочарования Бакунина, полагали все же, что для него писание «Исповеди» связано было с душевной мукой, с глубокими нравственными страданиями; иные из них даже говорили о падении Бакунина.

Евреинов ни с чем подобным не согласен—и просто потому, что он держится самого отрицательного взгляда на Бакунина как на моральный тип. Он не согласен с взглядом, что «Бакунин обладал „великой душой“, непреклонным, гордым и благородным характером». Он тщательно подбирает все личные недостатки Бакунина, его легкомысленное отношение к деньгам, деспотизм, вмешательство в чужие дела, его поведение в Сибири, даже непочтительное отношение к родителям, у которых он однако не стыдился мол брать деньги (!), приводит отрицательные отзывы о нем Белинского и Герцена, его действия во время экспедиции Лапидинского, причем (возможно просто по невежеству) не удерживается от клеветы, его лукавство, дипломатическую изворотливость, актерство, пасование перед силой (?) — все для того, чтобы «отнести Бакунина к категории людей, моральный уровень которых невысок». А отсюда следует у него естественный вывод: "Я не вижу в «Исповеди» «падения», так как она не вызвала трагедии в душе Бакунина, а пробудила в нем лишь чувство игрока, готового сделать ловкий, ход".

И заключение Евреинова гласит: «Исповедь» и не падение, и не трагедия; она—плод спокойной мозговой работы человека, с удивительным мастерством сплетающего в один неразрывный клубок *Dichtung und Wahrheit*" (вымысел и правду).

Из зарубежных отзывов укажем еще на статью Яна Кухаржевского в краковском «*Przegląd Współczesny*» 1925, NN 42 и 43. Основываясь на «фактах» из истории русского революционного движения от декабристов до Б. Савинкова, Кухаржевский утверждает, что любовь к покаянию, стремление сжечь то, чему раньше поклонялся, жажда распластаться перед торжествующей силой — все это патологические, темные черты «русской души».

В пример он приводит Кельсиева и Ф. Достоевского. По мнению Кухаржевского Бакунин не был человеком веры в правду и в торжество морали; для него имела значение реальная сила, лишь с нею следовало считаться—все равно, имея ее за себя или против себя. Те же черты, которыми отличается «Исповедь», смесь правды с ловко преподнесенной ложью, встречаются и в других писаниях Бакунина. Уклонение от истины ради вернейшего достижения поставленной себе цели всегда было ему присуще. Создав себе ложное представление о Николае I, Бакунин пытался воздействовать на него в своих целях, в частности панславистских, — и ошибся.

Надежда Яффе в заметке об «Исповеди» в «Ежегоднике культуры и истории славян» («*Jahrbuch für Kultur und Geschichte der Slaven*» 1927, N. F., Band III, Heft III, стр. 365 сл.)

считает весьма вероятным, что «в крепостном заключении вся его (Бакунина) прошлая деятельность представлялась ему донкихотством». Она допускает, что «некоторая идейная общность между царем и революционером повидимому действительно существовала. Как видно из заметок Николая на полях, он разделял многие мысли Бакунина: его презрение к Западу, его преклонение перед славянами». Яффе думает, что некоторое раскаяние Бакунин серьезно испытывал после неудачи его революционных предприятий: «Разумеется, раскаяние Бакунина не было таким полным, его поклонение Николаю не было таким глубоким, как он старался это выразить, наверно в нем сильна была задняя мысль таким путем добиться своего освобождения». Но все же Николай по ее мнению остался «Исповедью» доволен, в доказательство чего она приводит апокрифические слова его, сообщаемые Герценом, что Бакунин мол — хороший и честный малый, но что его надобно держать взаперти. Касаясь прошения Бакунина о помиловании от 14 февраля 1857 г., Яффе замечает, что это «письмо еще в сильнейшей степени, чем „Исповедь“, разрушает легенду о твердости бакунинского характера».

Пометки Николая I — Текст курсивом в скобках, относится к выделенному тексту — смотри предисловие («...Николай I повидимому читал рукопись довольно внимательно. Об этом свидетельствует множество пометок, которыми испещрен переписанный для него экземпляр. Все эти пометки мы здесь воспроизводим, стараясь по мере возможности точно соблюсти их место и характер....»)

Исповедь

Пометки Николая I - Текст курсивом в скобках, относится к выделенному тексту - смотри предисловие ("....Николай I по-видимому читал рукопись довольно внимательно. Об этом свидетельствует множество пометок, которыми испещрен переписанный для него экземпляр. Все эти пометки мы здесь воспроизводим, стараясь по мере возможности точно соблюсти их место и характер....")

X 25 _ смотри N комментария в конце (ldn-knigi)

[Июль--начало августа 1851 года. Петропавловская крепость.]

Ваше императорское величество, всемилостивейший государь!

Когда меня везли из Австрии в Россию, зная строгость рус-ских законов, зная Вашу непреодолимую ненависть ко всему, что только похоже на непослушание, не говоря уже о явном бунте против воли Вашего императорского величества, зная также всю тяжесть моих преступлений, которых не имел ни надежды, ни даже намерения утаить или умалить перед судом, я сказал себе, что мне остается только одно — терпеть до конца, и просил у бога Силы для того.

Чтобы выпить достойно и без подлой слабости горькую чашу, мною же самим уготованную. Я знал, что, лишен-ный дворянства тому назад несколько лет приговором правитель-ствующего сената и указом Вашего императорского величества, я мог быть законно подвержен телесному наказанию, и, ожидая худшего, надеялся только на одну смерть как на скорую избави-тельницу от всех мук и от всех испытаний.

Не могу выразить, государь, как я был поражен, глубоко тро-нут благородным, человеческим, снисходительным обхождением, встретившим меня при самом моем въезде на русскую границу! Я ожидал другой встречи. Что я увидел, услышал, все, что испы-тал "продолжение целой дороги от Царства Польского до Петро-павловской крепости, было так противно моим боязненным ожи-даниям, стояло в таком противоречии со всем тем, что я сам по слухам и думал и говорил и писал о жестокости русского прави-тельства, что я, в первый раз усумнившись в истине прежних понятий, спросил себя с изумленьем: не клеветал ли я? Двух-месячное пребывание в Петропавловской крепости окончательно убедило меня в совершенной неосновательности многих старых предубеждений. (Отчеркнуто карандашом на полях)

Не подумайте впрочем, государь, чтобы я, поощряясь таковым человеколюбивым обхождением, возымел какую-нибудь ложную или суетную надежду. Я очень хорошо понимаю, что строгость законов не исключает человеколюбия точно так же, как и обрат-но, что человеколюбие не исключает строгого исполнения зако-нов. Я знаю, сколь велики мои преступления, и, потеряв право на-деяться, ничего не надеюсь,—и, сказать ли Вам правду, госу-дарь, так постарел и отяжелел душою в последние годы, что даже почти ничего не

желаю.

Граф Орлов объявил мне от имени Вашего императорского величества, что Вы желаете, государь, чтоб я Вам написал полную исповедь всех своих прегрешений 1. Государь! Я не заслужил такой милости и краснею, вспомнив все, что дерзал говорить и писать о неумолимой строгости Вашего императорского величества.

Как же я буду писать? Что скажу я страшному русскому царю, грозному блюстителю и ревнителю законов? Исповедь моя Вам как моему государю заключалась бы в следующих немногих словах: государь! я кругом виноват перед Вашим императорским величеством и перед законами отечества. Вы знаете мои преступления, и то, что Вам известно, достаточно для осуждения меня по законам на тяжчайшую казнь, существующую в России. Я был в явном бунте против Вас, государь, и против Вашего правительства; дерзал противостать Вам как враг, писал, говорил, возмущал умы против Вас, где и сколько мог. Чего же более? Велите судить и казнить меня, государь; и суд Ваш и казнь Ваша будут законны и справедливы. Что же более мог бы я написать своему государю?

Но граф Орлов сказал мне от имени Вашего императорского величества слово, которое потрясло меня до глубины души и перевернуло все сердце мое: "Пишите,—сказал он мне,—пишите к государю, как бы вы говорили с своим духовным отцом".

Да, государь, я буду исповедываться Вам как духовному отцу, от которого человек ожидает не здесь, но для другого мира прощенья, и прошу бога, чтобы он мне внушил слова простые, искренние, сердечные, без ухищрения и лести, достойные одним словом найти доступ к сердцу Вашего императорского величества 2 .

(Этим уже уничтожает всякое доверие; ежели он чувствует всю тяжесть своих грехов, то одна чистая полная исповедь, а не условная, может почестся исповедью.)

Молю Вас только о двух вещах, государь! Во-первых, не сомневайтесь в истине слов моих: клянусь Вам, что никакая ложь, ниже тысячная часть лжи не вытечет из пера моего. А во-вторых молю Вас, государь, не требуйте от меня, чтобы я Вам исповедывал чужие грехи. Ведь на духу никто не открывает грехи других, только свои. Из совершенного кораблекрушения, постигшего меня, я спас только одно благо: честь и сознание, что для своего спасения или для облегчения своей участи нигде, ни в Саксонии, ни в Австрии, не был предателем. Противное же сознание, что я изменил чьей-нибудь доверенности или даже перенес слово, сказанное при мне, по неосторожности, было бы для меня мучительнее самой пытки. И в Ваших собственных глазах, государь, я хочу быть лучше преступником, заслуживающим жесточайшей казни, чем подлецом.

Итак я начну свою исповедь.

Для того чтобы она была совершенна, я должен сказать несколько слов о своей первой молодости. Я учился три года в Артиллерийском училище, был произведен в офицеры в 19-ом году от рождения, а в конце четвертого [года] своего ученья, бывши в первом офицерском классе, влюбился, сбился с толку, перестал учиться, выдержал экзамен самым постыдным образом или, лучше оказать, совсем не выдержал его, а за это был отправлен

служить в Литву с определением, чтобы в продолжение трех лет меня обходили чином и до подпоручичьего чина ни в отставку, ни в отпуск не отпускали. Таким образом моя служебная карьера испортилась в самом начале моею собственною виною и несмотря на истинно отеческое попечение обо мне Михаила Михайловича Кованьки, бывшего тогда командиром Артиллерийского учи-лища 3 .

Прослужив один год в Литве, я вышел с большим трудом в отставку совершенно против желания отца моего 4. Оставив же военную службу, выучился по-немецки и бросился с жадностью на изучение германской философии, от которой ждал света и спа-сения. Одаренный пылким воображеньем и, как говорят фран-цузы, *d'une grande dose d'exaltation* (Значительною дозою экзальтации),—простите, государь, не нахожу русского выражения, — я причинил много горя своему старику-отцу, в чем теперь от всей души, хотя и поздно, каюсь. Только одно могу сказать в свое оправдание: мои тогдашние глу-пости, а также и позднейшие грехи и преступления были чужды всем низким, своекорыстным побуждениям; происходили же боль-шею частью от ложных понятий, но еще более от сильной и ни-когда не удовлетворенной потребности знания, жизни и действия.

В 1840-м году, в двадцать же седьмом от рождения, я с тру-дом выпросился у своего отца за границу, для того чтобы слу-шать курс наук в Берлинском университете. В Берлине учился полтора года. В первом году моего пребывания за границею и в начале второго я был еще чужд, равно как и прежде в России, всем политическим вопросам, которые даже презирал, смотря на них с высоты философской абстракции; мое равнодушие к ним простиралось так далеко, что я не хотел даже брать газет в ру-ки5 .

Занимался же науками, особенно германскою метафизикою, в которую был погружен исключительно, почти до сумасшествия, и день и ночь ничего другого не видя кроме категорий Гегеля. Впрочем сама же Германия излечила меня от преобладавшей в ней философской болезни; познакомившись поближе с метафизическими вопросами, я довольно скоро убедился в ничтожности и суетности всякой метафизики: я искал в ней жизни, а в ней смерть и скука, искал дела, а в ней абсолютное безделье.

Немало к сему открытию способствовало и личное знакомство с немецки-ми профессорами, ибо что может быть уже, жальче, смешнее не-мецкого профессора да и немецкого человека вообще! Кто узнает короче немецкую жизнь, тот не может любить немецкую науку; а немецкая философия есть чистое произведение немецкой жизни и занимает между действительными науками то же самое место, какое сами немцы занимают между живыми народами. (Отчеркнуто карандашом на полях)

Она мне наконец опротивела, я перестал ею заниматься. Таким образом излечившись от германской метафизики, я не излечился однако от жажды нового, от желания и надежды сыскать для себя в Западной Европе благодарный предмет для занятий и широкое поле для действия. Несчастливая мысль не возвращаться в Рос-сию уже начинала мелькать в уме моем: я оставил философию и бросился в политику.

Находясь в сем переходном состоянии, я переселился из Бер-лина в Дрезден; стал читать политические журналы (Т. е. газеты).

Со вступлением на престол ныне царствующего прусского короля Германия приняла новое направление: король своими речами, обещаниями, нововведениями взволновал, привел в движение не только Пруссию, но и все прочие немецкие земли, так что доктор Руге (Арнольд. Слово "д-р Руге" по-немецки в оригинале.) не без основания прозвал его первым германским революционером, — простите, государь, что я выражаюсь так смело, говоря о венценосной особе. Тогда появилось в Германии множество брошюр, журналов, политических стихотворений, и я читал все с жадностью. В это же время в первый раз услышалось слово о коммунизме; вышла книга: "Die Sozialisten in Frankreich" доктора Штейна (Лоренц. Слово "Штейн" по-немецки в оригинале. Бакунин приводит заглавие его книги неточно; в действительности она озаглавлена была "Der Sozialismus und Kommunismus des heutigen Frankreich" ("Социализм и коммунизм современной Франции"); вышла в 1842 году в двух томах.), произведшая почти такое же сильное и общее впечатление, как прежде книга доктора Штрауса "Das Leben Jesu" (жизнь Христа, Слово "Штраус" по-немецки в оригинале.), а мне открывшая новый мир, в который я бросился со всею пылкостью алчущего и жаждущего. Мне казалось, что я слышу возвещение новой благодати, откровение новой религии возвышения, достоинства, счастья, освобождения всего человеческого рода; я стал читать сочинения французских демократов и социалистов и проглотил все, что мог только достать в Дрездене⁷. Познакомившись вскоре с доктором Арнольдом Руге, издававшим тогда "Die Deutsche Jahrbücher" ("Немецкие Летописи". Слово "Арнольд Руге" по-немецки в оригинале.), журнал, находившийся в это время почти в таком же переходе из философии в политику, я написал для него философски-революционную статью под заглавием "Die Parteien in Deutschland", под псевдонимом Jules Elyzard ["Партии в Германии" Жюль Элизара (на самом деле заглавие статьи было "Реакция в Германии"; см. том III, стр 126—148).] и так несчастлива и тяжела была рука моя с самого начала, что лишь только появилась эта статья, то и самый журнал запретили⁸. Это было в конце 1842-го года.

Тогда приехал из Швейцарии в Дрезден политический поэт Георг Гервег, носимый на руках целой Германии и принятый с почестью самим прусским королем, изгнавшим его вскоре потом из своих владений⁹. Оставляя в стороне политическое направление Гервега, о котором не смею говорить перед Вашим императорским величеством, я должен сказать, что он — человек чистый, истинно благородный, с душою широкою, что редко бывает у немца, — человек, ищущий истины, а не своей корысти и пользы.

Я с ним познакомился, подружился и остался с ним до конца в дружеской связи. Вышеупомянутая статья в "Deutsche Jahrbücher", знакомство с Руге и с его кружком, особенно же моя дружеская связь с Гервегом, который громко называл себя республиканцем, впрочем связь еще не политическая, хотя и основанная на сходстве мыслей, потребностей и направлений, — не политическая же потому, что не имела решительно никакой положительной цели, — все это обратило на меня внимание посольства в Дрездене. Я услышал, что будто бы уж начали говорить о необходимости вернуть меня в Россию; но возвращение в Россию мне казалось смертью! В Западной Европе передо мной открывался горизонт бесконечный, я чаял жизни, чудес, широкого раздолья; в России же видел тьму, нравственный холод, оцепенение, бездействие, — и решился оторваться от родины.

Все мои последовавшие грехи и несчастья произошли от этого легкомысленного шага. Гервег должен был оставить Германию, я отправился с ним вместе в Швейцарию, — если бы он ехал в Америку, я и туда поехал бы с ним, — и поселился в Цюрихе, в январе 1843 года.

Равно как в Берлине я понемногу стал излечаться от своей философской болезни, так в Швейцарии начались мои политические разочарования. Но так как политическая немощь тяжелее, вреднее, глубже вкореняется в душу, чем философская, то и для излечения от нее требовалось более времени, более горьких опытов; (NB)

она привела меня в то незавидное положение, в котором [я] ныне обретаюсь, да и теперь еще [я] сам не знаю, выздоровел ли я от нее совершенно.

Я не смею занимать внимание Вашего императорского величества описанием внутренней швейцарской политики; по моему мнению она может быть выражена двумя словами: грязная сплетня. Большая часть швейцарских журналов находится в руках немецких переселенцев 10, — я говорю здесь только о немецкой Швейцарии, — а немцы вообще до такой степени лишены общественного такта, что всякая полемика в их руках обыкновенно обращается в грязную брань, в которой мелким и гнусным личностям нет конца.

В Цюрихе я познакомился с знакомыми и приятелями Гервега, которые мне впрочем так мало понравились, что в продолжение всего времени, проведенного мною в сем городе, я избегал частой встречи с ними и только с одним Гервегом находился в близкой связи. Тогда управлял Цюрихскою республикою статский советник Блюнчли, глава консервативной партии; журнал его "Der Schweizerische Beobachter" вел жестокую брань с органом демократической партии "Der Schweizerische Republikaner", издаваемым Юлиусом Фребель, знакомым и даже приятелем Гервега.

Не смею также говорить о предмете их тогдашнего спора; в нем слишком много грязи. Это не был чисто политический спор, как случается иногда между враждующими партиями в других государствах; в нем участвовали также и религиозные шарлатаны, пророки, мессии, вместе же и благородные рыцари вольного пропитания, просто воры и даже непотребные женщины, которые сидели потом на одной скамье с господином Блюнчли как свидетельницы и как обвиненные в публичном процессе, окончившем сию скандальную брань.

Блюнчли и его приятели, братья Ромер, один называвший себя мессиею, а другой—пророком, были осуждены и осрамлены вместе с сими дамами. Демократы торжествовали, хотя впрочем и сами вышли из постыдного дела не без стыда; а Блюнчли, для того чтобы отомстить им, а вероятно также повинувшись требованию прусского правительства, изгнал совершенно невинного Гервега из Цюрихского кантона 11.

Я же жил в стороне от всех дразг, редко кого видя кроме Гервега; не был знаком ни с господином Блюнчли, ни с его приятелями; читал, учился и думал о средствах честным образом снять себе пропитание, ибо из дому не получал более денег. Но Блюнчли, вероятно узнав о моей дружеской связи с Гервегом,— чего не знают в маленьком городке, — а может быть и для того, чтобы выслужиться перед русским правительством, захотел за-

путать и меня, к чему ему представился скоро следующий удобный случай.

Гервег, находясь уже в Арговийском кантоне, прислал ко мне с рекомендательною запискою коммуниста портного Вейтлинга, который, отправляясь из Лозанны в Цюрих, на дороге зашел к нему, для того чтобы с ним познакомиться; Гервег же, зная, как меня интересовали тогда социальные вопросы, рекомендовал его мне. Я был рад этому случаю узнать из живого источника о коммунизме, начинавшем тогда уже обращать на себя общее внимание. Вейтлинг мне понравился: он—человек необразованный, но я нашел в нем много природной сметливости, ум быстрый, много энергии, особенно же много дикого фанатизма, благородной гордости и веры в освобождение и будущность поработенного большинства. Он впрочем недолго сохранил сии качества, испортившись скоро потом в обществе коммунистов-литераторов; но тогда он пришелся мне очень по сердцу; я так был прикормлен приторною беседою мелкохарактерных немцев-профессоров и литераторов, что рад был встретить человека свежего, простого и необразованного, но энергического и верующего.

Я просил его посещать меня; он приходил ко мне довольно часто, излагая мне свою теорию и рассказывая много о французских коммунистах, о жизни работников вообще, о их трудах, надеждах, увеселениях, а также и о немецких только что начинавшихся коммунистических обществах. Против теории его я спорил, факты же выслушивал с большим любопытством: тем ограничили мои отношения с Вейтлингом. Другой связи у меня ни с ним, ни с другими коммунистами ни в то время, ни потом решительно не было, и я сам никогда не был коммунистом 12.

Я останавлиюсь здесь, государь, и войду несколько глубже в этот предмет, зная, что неоднократно был обвинен перед правительством в деятельном сообществе с коммунистами сначала через господина Блюнчли, потом же вероятно и другими. Я хочу один раз навсегда очиститься от несправедливых обвинений; на мне уж так много, так много тяжких грехов, зачем же мне брать еще на себя грехи, в которых я решительно не был повинен?

Я знал впоследствии многих французских, немецких, бельгийских и английских социалистов и коммунистов, читал их сочинения, изучал их теории, но сам не принадлежал никогда ни к какой секте, ни к какому обществу и решительно оставался чужд их предприятиям, их пропаганде и действиям. Я следовал с постоянным вниманием за движением социализма, особенно же коммунизма, ибо смотрел на него как на естественный, необходимый, неотвратимый результат экономического и политического развития Западной Европы ("Я говорю только о Западной Европе, потому что на Востоке и ни в одной славянской земле,—разве только кроме Богемии и отчасти Моравии и Шлезии, — коммунизм не имел ни места ни смысла" (Примечание Бакунина.); видел в нем юную, элементарную (Т-е. стихийную),

себя еще не знающую силу, призванную или обновить или разрушить вконец западные государства. Общественный порядок, общественное устройство сгнили на Западе и едва держатся болезненным усилием¹³, сим одним могут объясниться и та невероятная слабость и тот панический страх, которые в 1848 году постигли все государства на Западе, исключая Англии; но и ту, кажется, постигнет в скором времени та же самая участь.

(Разительная истина)

В За-падной Европе, куда ни обернешься, везде видишь дряхлость, слабость, безверие и разврат, разв[р]ат, происходящий от безверия; начиная с самого верха общественной лестницы, ни один человек, ни один привилегированный класс не имеет веры в свое призвание и право; все шарлатанят друг перед другом и ни один другому, ниже себе самому не верит: привиле-гии, классы и власти едва держатся эгоизмом и привычкою - слабая препона против возрастающей бури!

Образо-ванность сделалась тождественна с развратом ума и сердца, тож-дественна с бессильем, и посреди сего всеобщего гниения один только грубый, непросвещенный народ, называемый чернью, со-хранил в себе свежесть и силу, не так впрочем в Германии, как во Франции. Кроме этого все доводы и аргументы, служившие сначала аристократии против монархии, а потом среднему сос-ловию против монархии и аристократии, ныне служат и чуть ли еще не с большею силою народным массам против монархии, ари-стократии и мещанства. Вот в чем состоит по моему мнению сущ-ность и сила коммунизма, не говоря о возрастающей бедности рабочего класса, естественного последствия умножения пролета-риата, умножения, в свою очередь необходимо связанного с раз-витием фабричной индустрии так, как она существует на За-паде. Коммунизм по крайней мере столько же произошел и про-исходит сверху, сколько и снизу; внизу, в народных массах, он растет и живет как потребность не ясная, но энергическая, как инстинкт возвышения; в верхних же классах как разврат, как эгоизм, как инстинкт угрожающей заслуженной беды, так не-определенный и беспомощный страх, следствие дряхлости и нечи-стой совести; и страх сей и беспрестанный крик против комму-низма чуть ли не более способствовали к распространению пос-леднего, чем самая пропаганда коммунистов ("Брошюра Блюнчли, напр., изданная им в 1843 году от имени цюрихского правительства по случаю процесса Вейтлинга, была вместе с упомянутою книгою Штейна одною из главных причин распространения коммунизма в Германии". (Примечание Бакунина.) (Правда)

Мне кажется, что этот неопределенный, невидимый, неосязаемый, но везде присутствующий коммунизм, живущий в том или другом виде во всех без исключения, в тысячу раз опаснее того определенного и приведенного в систему, который пропове-дуется только в немногих организованных тайных или явных коммунистических обществах.

Бессилие последних явно оказалось в 1848 году в Англии, во Франции, в Бельгии, а особливо в Гер-мании; и нет ничего легче как отыскать нелепость, противоречие и невозможность в каждой доселе известной социальной теории, так что ни одна не в состоянии выдержать даже трех дней суще-ствования.

Простите, государь, сие краткое рассуждение; но мои пре-грешения так тесно связаны с моими грешными мыслями, что я не могу исповедывать одних, совершенно не упомянув о других. Я должен был показать, почему я не мог принадлежать ни к од-ной секте социалистов или коммунистов, как меня в том неспра-ведливо обвиняли.

Разумея причину существования сих сект, я не любил их теорий; не разделяя же последних, не мог быть органом их пропаганды; а наконец и слишком ценил свою незави-симость для

того, чтобы согласиться быть рабом и слепым орудием какого бы то ни было тайного общества, не говоря уж о таком, которого я не мог разделять мнений.

В это же время, т.е. в 1843 году, коммунизм в Швейцарии состоял из малого числа немецких работников: в Лозанне и Женеве явно, в виде обществ для пения, чтения и для общего хозяйства, в Цюрихе же состоял из пяти или шести портных и сапожников. Между швейцарцами коммунистов не было: природа швейцарцев противна всякому коммунизму, а немецкий коммунизм был тогда еще в пеленках. Но для того, чтобы придать себе важность в глазах правителей Европы, отчасти же в тщетной надежде скомпрометировать цюрихских радикалов, Блунгли составил фантастического страшилу.

Он по собственному признанию знал о приходе Вейтлинга в Цюрих, терпел его присутствие два или три месяца, потом велел схватить его 14, надеясь найти в его бумагах довольно важных документов для того, чтобы замешать цюрихских радикалов, и ничего не нашел кроме глупой переписки и сплетней, ("В доказательство, что все обвинения, заключения, догадки господина Блунгли и все на них основанное здание были суетны и ложны, я приведу только одно: Вейтлинг был осужден приговором верховного суда на годовое и двухгодичное содержание в тюрьме, и не за коммунизм, а за глупую книгу, напечатанную им незадолго перед тем в Цюрихе. Немедленно по произношению приговора Блунгли посадил Вейтлинга не в тюрьму, а выдал его прусскому правительству, которое, рассмотрев дело, через месяц выпустило Вейтлинга на свободу". (Примечание Бакунина)

а против меня два или три письма, Вейтлинга, в которых он говорит обо мне несколько незначительных слов, извещая в одном своего приятеля, что он познакомился с одним русским, и называя меня по фамилии, в другом же называя меня "Der Russe" (Русский) с прибавлением "Der Russe ist ein guter" или "ein prdchtiger Kerl" ("Этот русский—славный" или "прекрасный парень") и тому подобное.

Вот на чем были основаны обвинения господина Блунгли против меня: другого же основания и быть не могло, ибо мое знакомство с Вейтлингом ограничилось одним любопытством с моей и охотой рассказывать с его стороны; а кроме Вейтлинга я ни одного коммуниста в Цюрихе не знал. Услышав однакож, не знаю, справедлив ли был этот слух или нет, что Блунгли имел даже намерение арестовать меня, и опасаясь последствий, я удалился из Цюриха. Жил несколько месяцев в городке Нион на берегу Женевского озера, в совершенном уединении и борясь с нищетою, а потом в Берне, где и узнал в январе или в феврале 1844 года от господина Струве (Аманд Иоаннович), секретаря посольства в Швейцарии, что оное, получив донос против меня от Блунгли, писало о том в Петербург, откуда и ждало приказаний.

В этом доносе, по сказанию господина Струве, Блунгли, не довольствуясь обвинением меня в коммунизме, утверждал еще ложно, что будто бы я писал или собирался писать против русского правительства книгу о России и Польше.

Для обвинения меня в коммунизме была хоть тень правдоподобия: мое знакомство с Вейтлингом; но последнее обвинение было решительно лишено всякого основания и доказало мне ясно злое намерение Блунгли; ибо не только что у меня еще тогда и в мысли

не было писать или печатать что о России, но я старался даже не думать об ней, потому что память о ней меня мучила; ум же мой был исключительно устремлен на Западную Европу. Что же касается до Польши, то могу сказать, что в это время я даже не помнил о ее существовании; в Берлине избегал знакомства с поляками, виделся с некоторыми только в университете; в Дрездене же и в Швейцарии ни одного поляка не видел 15.

До 1844-го года, государь, мои грехи были грехи внутренние, умственные, а не практические: я съел не один, а много плодов от запрещенного дерева познания добра и зла, — великий грех, источник и начало всех последовавших преступлений, но еще не определившийся тогда еще ни в какое действие, ни в какое намерение. По мыслям, по направлению я был уж совершенным и отчаянным демократом, а в жизни неопытен, глуп и почти невинен как дитя. Отказавшись ехать в Россию на повелительный зов правительства, я совершил свое первое положительное преступление.

Вследствие этого я оставил Швейцарию и отправился в Бельгию в обществе моего друга Рейхеля 16. Я должен сказать о нем несколько слов, имя его упоминается довольно часто в обвинительных документах. Адольф Рейхель — прусский подданный, компонист и пианист, чужд всякой политики, а если и слышал об ней, так разве только через меня. Познакомившись с ним в Дрездене я встретившись потом опять в Швейцарии, я с ним сблизился, подружился, он мне был постоянно истинным и единственным другом; я жил с ним неразлучно, иногда даже и на его счет, до самого 1848-го года. Когда я был принужден оставить Швейцарию, — не захотев меня оставить, он поехал со мной в Бельгию.

В Брюсселе я познакомился с Лелевелем (Иоахим).

Тут в первый раз мысль моя обратилась к России и к Польше; бывши тогда уж совершенным демократом, я стал смотреть на них демократическим глазом, хотя еще не ясно и очень неопределенно: национальное чувство, пробудившееся во мне от долгого сна, вследствие трения с польскою национальностью, пришло в борьбу с демократическими понятиями и выводами. С Лелевелем я виделся часто, расспрашивал много о польской революции, о их намерениях, планах в случае победы, о их надеждах на будущее время, и не раз спорил с ним, особенно же насчет Малороссии и Белороссии, которые по их понятиям должны были принадлежать Польше, по моим же, особенно Малороссия, должны были ненавидеть ее как древнюю притеснительницу.

Впрочем из всех поляков, пребывавших тогда в Брюсселе, знал и видел я только одного Лелевеля, да и с ним отношения мои, хоть мы и часто виделись, никогда не выходили из границ простого знакомства. Правда, что я перевел было на русский язык тот Манифест к русским, за который он был изгнан из Парижа 17, но это было без последствий: перевод остался ненапечатанный в моих бумагах.

Пробыв несколько месяцев в Брюсселе, я отправился с Рейхелем в Париж, от которого, равно как прежде от Берлина и потом от Швейцарии, ждал теперь себе спасения и света. Это было в юле 1844 года 18.

Париж подействовал на меня сначала как ушат холодной воды на горячешного ; нигде я не чувствовал себя до такой степени уединенным, отчужденным, дезориентированным, — простите это выражение, государь, — как в Париже. Общество мое в первое время почти исключительно состояло из немцев-демократов, или изгнанных или самовольно приехавших из Германии, для того чтобы основать здесь демократический французско-немецкий журнал с целью привести в согласие и связь духовные и политические интересы обоих народов. Но так как немецкие литераторы не могут жить между собою без опор, брани и сплетней, то и все предприятие, возведенное с большим шумом, кануло в воду , окончившись несчастным и подлым еженедельным листом "Vor-wDrts" (Вперед), который также прожил недолго, потонув скоро в своей собственной грязи; да и самих немцев выгнали из Парижа к моему немалому, облегчению 20. (Отчеркнуто карандашом на полях)

В это время, то есть в конце осени 1844 года, я в первый раз услышал о приговоре, осудившем меня вместе с Иваном Головиным на лишение Дворянства и на Каторжную работу 21, услышал же не официально, но от знакомого, кажется от самого Головина, который по этому случаю написал и статью в "Gazette des Tribunaux" ("Судебная Газета"), о мнимых правах русской аристократии, буд-то бы оскорбленных и поправленных в нашем лице; ему же в ответ и в опровержение я написал другую статью в демократическом журнале "RIforme" в виде письма к редактору. Это письмо, первое слово, сказанное мною печатным образом о России, явилось в журнале "RIforme" с моею подписью в конце 1844 года, не помню какого месяца, и находится без сомнения в руках правительства в числе обвинительных документов 22.

По отъезде моем из Брюсселя я не видал ни одного поляка до самого этого времени. Моя статья в "RIforme" была поводом, к новому знакомству с некоторыми из них. Во-первых пригласил меня к себе князь Адам Чарторижский 23 через одного из своих приверженцев; я был у него один раз и после этого ни-когда с ним более не видался.

Потом получил из Лондона по-здравительное письмо с комплиментами от польских демократов, с приглашением на траурное торжество, совершаемое ими ежегодно-но в память Рылеева, Пестеля и проч.24

Я отвечал им подобными же комплиментами, благодарил за братскую симпатию, а в Лондон не поехал, ибо не определил еще в своем уме то отношение, в котором я, хоть и демократ, но все-таки русский, должен был стоять к польской эмиграции да и к западной публике вообще; опасался же еще громких, пустых и бесполезных демонстраций и фраз, до которых никогда не был я большой охотник. Тем кончились на этот раз мои отношения с поляками, и до самой весны 1846 года я не виделся более ни с одним, исключая Алоиза Бернацкого (занимавшего место министра финансов во Время польской революции), доброго, почтенного старика25, с которым я познакомился у Николая Ивановича Тургенева26 и который, живя вдалеке от всех политических эмиграционных партий, занимался исключительно своею польскою школой. Также видел иногда и Мицкевича 27, которого уважал в прошедшем как великого славянского поэта, но о котором жалел в настоящем как о полуобманутом, полу-же-обманывающем апостоле и про-роке новой нелепой религии и нового мессии. Мицкевич старался обратить меня, потому что по его мнению достаточно было, чтобы один поляк, один русский, один чех, один француз и один жид согласились

жить и действовать вместе в духе Товянского 28 для того, чтобы переворотить и спасти мир; поляков у него бы-ло довольно, и чехи были, также были и жидаы и французы, рус-ского только недоставало; он хотел завербовать меня, но не мог.

Между французами у меня были следующие знакомые^{28а}. Из конституционной партии: Шамболь, редактор "Века"²⁹, Меррюо, редактор "Конституционалиста"³⁰, Эмиль Жирардэн, ре-дактор "Прессы"³¹, Дюрье, редактор "Французского Курьера"³², экономисты Леон Фоше³³, Фредерик Бастиа³⁴ и Воловский³⁵ и пр.

Из партии политических республиканцев: Беранже³⁶, Ламеннэ³⁷, Франсуа, Этьен и Эмануэль Араго³⁸, Марраст³⁹ и Бастид⁴⁰, редакторы "Националя"; из партии демократов: покой-ный Кавеньяк, брат генерала⁴¹, Флокон⁴² и Луи Блан⁴³, редак-торы "Реформы"⁴⁴, Виктор Консидеран, фурьерист и редактор "Мирной Демократии"⁴⁵, Паскаль Дюпра, редактор "Независи-мого Обозрения"⁴⁶, Феликс Пиа⁴⁷, негрофил Виктор Шельхер⁴⁸, профессора Мишле⁴⁹ и Кинэ⁵⁰, Прудон, утопист и, несмотря на это, без всякого сомнения один из замечательнейших современ-ных французов⁵¹, наконец Жорж Занд⁵² да еще несколько дру-гих, менее известных (В оригинале все эти имена и титулы при них написаны по-французски, причем не всегда правильно. Мы приводим их по-русски).

С одними виделся реже, с другими чаще, не находясь ни с одним в близких отношениях. Посетил также несколько раз в самом начале моего пребывания в Париже фран-цузских увриеров (Рабочих), общество коммунистов и социалистов, не имея впрочем к тому никакого другого побуждения ни цели кро-ме любопытства; но скоро перестал ходить к ним, во-первых для того, чтобы не обратить на себя внимание французского прави-тельства и не навлечь на себя напрасного гонения, а главное по-тому, что не находил в посещении сих обществ ни малейшей для себя пользы⁵³. Чаще же всех бывал, — не говоря о Рейхеле, с которым жил безразлично, — бывал чаще у своего старого при-ятеля Гервега, переселившегося также в Париж и занимавше-гося в это время почти исключительно естественными науками, и у Николая Ивановича Тургенева: последний живет семейно, да-леко от всякого политического движения и, можно сказать, от всякого общества и, сколько я мог по крайней мере заметить, ничего так горячо не желает как прощения и позволения возвратиться в Россию, для того чтобы прожить последние годы на родине, о которой вспоминает с любовью, нередко со слезами⁵⁴. У него я встречал иногда итальянца графа Мамиани⁵⁵, быв-шего потом папским министром в Риме, и неаполитанского гене-рала Пепе⁵⁶ (По-французски в оригинале). (Отчеркнуто карандашом на полях)

Видел также иногда и русских, приезжавших в Париж⁵⁷. Но молю Вас, государь, не требуйте от меня имен.

Уверяю Вас толь-ко, — и вспомните, государь, что в начале письма я Вам клялся, что никакая ложь, ниже тысячная часть лжи не осквернит чи-стоты моей сердечной исповеди, — и теперь клянусь Вам, что ни с одним русским ни тогда, ни потом я не находился в политиче-ских отношениях и не имел ни с одним даже и тени политиче-ской связи ни лицом к лицу, ни через третьего человека, ни пе-репискою. Русские приезжие и я жили в совершенно различных сферах: они—богато, весело, задавая друг другу пиры, завтра-ки и обеды, кутили, пили, ходили по театрам и балам, avec grisettes et lorettes — образ жизни, к

которому у меня не было ни чрезвычайной склонности, ни еще менее средств.

Я же жил в бедности, в болезненной борьбе с обстоятельствами и с своими внутренними, никогда неудовлетворенными потребностями жизни и действия и не разделял с ними ни их увеселений, ни своих трудов и занятий. (Отчеркнуто карандашом на полях - NB)

Я не говорю, чтобы я не пробовал никогда, а именно начиная от 1846 года, обратить некоторых к своим мыслям и к тому, что я называл и считал тогда добрым делом; но ни одна попытка моя не имела успеха: они слушали меня с усмешкою, называли меня чудачком, так что после нескольких тщетных усилий я совсем отказался от их обращения. Вся вина некоторых состояла в том, что, видя мою нищету, они мне иногда и то весьма редко помогали.

Я жил большею частью дома, занимаясь отчасти переводами с немецкого для своего пропитания, отчасти же науками: историею, статистикою, политическою экономиею, социально-экономическими системами, спекулятивною политикою, то есть политикою без всякого применения, а также несколько и математикою и естественными науками. Тут должен я сделать одно замечание к своей собственной чести: парижские, а также и немецкие книгопродавцы неоднократно уговаривали меня писать о России, предлагая мне довольно выгодные условия; но я всегда отказывался, не хотя делать из России предмет торгово-литературной сделки; я никогда не писал о России за деньги и не иначе qu'au nom corps d'indendant (Неохотно, поневоле), могу сказать с неохотою, почти против воли и всегда под своим собственным именем.

Кроме вышеупомянутой статьи в "Revue", да еще другой статьи в "Constitutionnel", да той несчастной речи, за которую был изгнан из Парижа, я о России не напечатал ни слова. Я не говорю здесь о том, что писал после февраля 1848-го года, находясь уже тогда в определенной политической деятельности. Впрочем и тут мои публикации ограничиваются двумя воззваниями и несколькими журнальными статьями 58. (Отчеркнуто карандашом на полях)

Тяжело, очень тяжело мне было жить в Париже, государь! Не столько по бедности, которую я переносил довольно равнодушно, как потому, что, пробудившись наконец от юношеского бреда и от юношеских фантастических ожиданий, я обрел себя вдруг на чужой стороне, в холодной нравственной атмосфере, без родных, без семейства, без круга действия, без дела и без всякой надежды на лучшую будущность. Оторвавшись от родины и заградив себе легкомысленно всякий путь к возвращению, я не умел сделаться ни немцем, ни французом;

напротив, чем долее жил за границею, тем глубже чувствовал, что я — русский и что никогда не перестану быть русским. К русской же жизни не мог иначе возвратиться как преступным революционным путем, в который тогда еще плохо верил, да и впоследствии, если правду сказать, верил только через болезненное, сверхъестественное усилие, через насильственное заглушение внутреннего голоса, беспрестанно шептавшего мне о нелепости моих надежд и моих предприятий. Мне так бывало иногда тяжело, что не раз останавливался я вечером на мосту, по которому обыкновенно возвращался домой, спрашивая себя, не лучше ли я сделаю, если брошусь в Сену и потоплю в ней безрадостное и бесполезное существование? 59

К тому же в это время весь мир был погружен в тяжелую летаргию. После короткой суматохи, происшедшей было в Германии по вступлении на прусский престол ныне царствующего короля, и после эфемерного движения, произведенного несколько месяцев позже в целой Европе восточным вопросом в кратковременное министерство Тьера⁶⁰, мир, казалось, заснул и заснул так глубоко, что никто, даже самые экс[ц]ентрические демократы, не верили в его скорое пробуждение. Тогда еще никто не пред-видел, что эта тишина была тишина перед бурей, французы же, как известно, отлагали все надежды до смертного часу покойного короля Людвига-Филиппа. Правда, что еще в конце 1844 года мне Марраст (Это слово по-французски в оригинале) раз сказал:

"La rИvolution est imminente, mais on ne peut jamais prИdire quand et comment se fera une rИvolution franГaise; la France est comme ce chaudron Ю vapeur toujours prЙt Ю Иclater et dont nul ne sait prИvoir l'explosion"

("Революция неизбежна, но нельзя заранее предсказать, когда и как. Произойдет французская революция; Франция подобна тому паровому котлу, который всегда готов взорваться и взрыва которого никто не в силах предусмотреть").

Но и Марраст и его приятели и вообще все демократы ходили еще тогда, повеся нос, и находи-лись в превеликом унынии. Консервативная же партия торжест-вовала, обещала себе жизнь без конца, а публика от скуки за-нималась скандальными электоральными и иезуитическими про-исшествиями, да еще заморским движением английских freetraders

(Фритредеры, боровшиеся за свободу торговли в Англии)

В середине 1845-го года показались после долгого безвет-рия — не всем, а только следовавшим за германским разви-ем — показались, говорю я, первые слабые волны на политическом океане: в Германии появились две новые религиозные сек-ты: die Lichtfreunde und Deutschkatoliken ("Друзья света" и "немецкие католики").

Во Франции иные над ними смеялись, другие же видели в них, и мне кажется не без основания, знаки времени, предзнаменования погоды. Сек-ты сии, ничтожные сами в себе, были важны тем, что они пере-водили на религиозный, т. е. на народный язык современные понятия и требования. Они не могли иметь большого влияния на образованные классы, но зато действовали на воображение масс, всегда более склонных к религиозному фанатизму. К тому же немецкий католицизм был изобретен и пущен в мир (с целью чисто политической) демократическою партией в Прус-ской Шлезии (Силезии); он был действительнее своей старшей проте-стантской сестры, которая в свою очередь была честнее; между его апостолами и проповедниками было много грязных шарла-танов, но также и много людей даровитых, и можно сказать, что под видом общего причащения, будто бы возобновленного со времен первоначальной церкви, немецкий католицизм явно проповедывал коммунизм ⁶¹.

Но весь интерес, пробужденный появлением сих сект, испа-рился, когда пронесся вдруг слух, что король Фридрих-Виль-гельм IV дал государству своему конституцию⁶². Германия опять взволновалась, и Франция как будто бы в первый раз воспря-нула от тяжкого сна. За сим

последовали скоро и как громовой удар за ударом сначала польское движение, потом швейцарские и итальянские происшествия, а наконец революция 1848-го года. Я останавлиюсь на польском восстании, ибо оно составляет эпоху в моей собственной жизни.

До 1846 года я был чужд всем политическим предприятиям. С польскими демократами не был знаком; немцы, кажется, то-гда еще решительно ничего не предпринимали; французы же, с которыми я был знаком, мне ничего не говорили. Находясь издавна в тесной связи с польскими демократами, они без всякого сомнения знали о готовившемся польском восстании, но французы умеют держать тайну, а так как отношения мои с ними ограничивались простым внешним знакомством, то я и не мог узнать от них ничего, так что познанские замыслы, попытка в Царстве Польском, краковское восстание и происшествия в Галиции меня по крайней мере столько же поразили, как и всю прочую публику. Впечатление же, произведенное ими в Париже, было неимоверно: в продолжение двух или трех дней все народонаселение жило на улице; незнакомый говорил с незнакомым, все требовали новостей и все ожидали известий из Польши с трепетным нетерпением⁶³.

Это внезапное пробуждение, это всеобщее движение страстей и умов охватило также и меня своими волнами, я сам как будто бы проснулся и решился во что бы то ни стало вырваться из своего бездействия и принять деятельное участие в готовящихся происшествиях.

Для этого я должен был вновь обратить на себя внимание поляков, уже успевших позабыть обо мне, и с такою целью написал статью о Польше и о белорусских униатах, о которых была тогда речь во всех западно-европейских журналах. Сия статья, явившаяся в "Constitutionnel" в начале весны 1846 года, находитсЯ без сомнения в руках правительства. Когда я отдал ее Merreau, gérant du "Constitutionnel" (Меррью, редактору "Конституционалиста"), он мне сказал: "qu'on mette le feu aux quatre coins du monde pourvu que nous sortions de cet Etat honteux et insupportable"

("Пусть мир вспыхнет со всех сторон, лишь бы мы вышли из настоящего постыдного и невыносимого положения!") , - я ему напомнил эти слова в феврале 1848 года, но он уже тогда каялся, испугавшись, как и все либералы династической оппозиции, страшной и вместе странной революции, ими же самими накликанной. (Неправда, всякого грешника раскаяние, но чистосердечное может спасти)

До 1846-года грехи мои не были грехи намеренные, но более легкомысленные и, как бы сказать, юношеские; возмужав летами, я еще долго оставался неопытным юношею. С этого же времени я стал грешить с сознанием, намеренно и с более или менее определенной целью. Государь! я не буду стараться извинять свои неизвинимые преступления, ни говорить Вам о позднем раскаянии, — раскаяние в моем положении столь же бесполезно, как и раскаяние грешника после смерти, — а буду просто рассказывать факты и не утаю, не умалю ни одного.

Вскоре по появлении вышереченной статьи, я отправился в Версаль, без всякого зова, собственным движением, для того чтобы познакомиться и, если было бы возможно, сблизиться и согласиться на общее дело с пребывавшими там тогда членами Централизации

польского Демократического общества. Я хотел им предложить совокупное действие на русских, обретавшихся в Царстве Польском, в Литве и в Подолии, предполагая, что они имеют в сих провинциях связи достаточные для деятельной и успешной пропаганды. Целью же поставлял русскую революцию и республиканскую федерацию всех славянских земель, — основание единой и нераздельной славянской республики, федеральной только в административном, центральной же в политическом отношении 65.

Попытка моя не имела успеха. Я виделся с польскими демократами несколько раз, но не мог с ними сойтись: во-первых вследствие разногласия в наших национальных понятиях и чувствах: они мне показались тесны, ограничены, исключительны, ничего не видели кроме Польши, не понимая перемен, происшедших в самой Польше со времени ее совершенного покорения; отчасти же потому, что они мне и не доверяли⁶⁶ да и не обещали себе вероятно большой пользы от моего содействия. Так что после нескольких бесплодных свиданий в Версале мы совсем перестали видеться, и движение мое, преступное в цели, не могло иметь на сей раз никакого преступного последствия.

От конца лета 1846-го года до ноября 1847-го я опять оставался в полном бездействии, занимаясь по старому науками, следуя с трепетным вниманием за возрастающим движением Европы и горя нетерпением принять в нем деятельное участие, но не предпринимая еще ничего положительного. С польскими демократами более не виделся, а видел много молодых поляков, бежавших из края в 1846-м году и которые впоследствии почти все обратились в мистицизм Мицкевича.

В ноябре месяце я был болен и сидел дома с выбритою головою, когда ко мне пришли двое из сих молодых людей, предлагая произнести речь на торжестве, совершаемом ежегодно поляками и французами в память революции 1831-го года. Я с радостью ухватился за эту мысль, заказал парик и, приготовив речь в три дня, произнес ее в многолюдном собрании 17-го/29-го ноября 1847 года. Государь! (NB)

Вы, может быть, знаете эту несчастную речь, начало моих несчастных и преступных походов. За нее по требованию русского посольства я был изгнан из Парижа и поселился в Брюсселе⁶⁷. (Отчеркнуто карандашом на полях)

Там меня встретил Лелевель новым торжеством; я произнес вторую речь, которая была бы напечатана, если бы не помешала февральская революция⁶⁸. В этой речи, бывшей как бы развитием и продолжением первой, я много говорил о России, об ее прошедшем развитии, много о древней вражде и борьбе между Россией и Польшею; говорил также и о великой будущности славян, призванных обновить гниющий западный мир; потом, сделав обзор тогдашнего положения Европы и предвещая близкую европейскую революцию, страшную бурю, особенно же неминуемое разрушение Австрийской империи, я кончил следующими словами: "prйparons-nous et quand l'heure aura sonnй que chacun de nous fasse son devoir" ("Приготовимся, и, когда пробьет урочный час, пусть каждый исполнит свой долг").

Впрочем и в это время, кроме взаимных комплиментов и более или менее симпатичных фраз, несмотря на мое сильное желание сблизиться с поляками, я ни с одним не мог сблизиться. Наши природы, понятия, симпатии находились в слишком резком противоречии

для того, чтобы было возможно между нами действительное соединение.

К тому же в это самое время поляки, более чем когда-нибудь, стали смотреть на меня с недоверием; к моему удивлению и немалому прискорбью пронесся в первый раз слух, что будто бы я — тайный агент русского правительства. Слышал я потом от поляков, что будто бы русское посольство в Париже "а вопрос министра Гизо обо мне от-ветило: "c'est un homme qui ne manque pas de talent, nous l'employons, mais aujourd'hui il est allé trop loin" ("Это — человек, не лишенный способностей, мы пользуемся его услугами, но теперь он зашел слишком далеко"), и что Дюшатель дал знать об этом князю Чарторижскому; слышал также, что министр Дюшатель донес обо мне и бельгийскому правительству, что я — не политический эмигрант, а просто вор, укравший в России значительную сумму, потом бежавший, и за воровство и за бегство осужден на каторжную работу. Как бы то ни было, но эти слухи вместе с другими вышеупомянутыми причинами сделали всякую связь между мною и поляками невозможной 69.

В Брюсселе меня было ввели в общество соединенных немецких и бельгийских коммунистов и радикалов, с которыми находились в связи и английские шартисты (Чартисты), и французские демократы, — общество впрочем не тайное, с публичными заседаниями⁷⁰, были вероятно и тайные сходбища, но я в них не участвовал, да и публичные-то посетил всего только два раза, потом же перестал ходить, потому что манеры и тон их мне не понравились, а требования их были мне нестерпимы, так что я навлек даже на себя их неудовольствие и, можно сказать, ненависть немецких коммунистов, которые громче других стали кричать о моем мнимом предательстве⁷¹. Жил же я более в кругу аристократическом; познакомился с генералом Скржинецким⁷² и через него с графом Мерод

(По-французски в оригинале), бывшим министром⁷³, и с французом графом Монталамбер (По-французски в оригинале), зятем последнего⁷⁴, то есть жил в самом центре иезуитической пропаганды.

Меня старались обратить в католическую веру, и так как о моем душевном спасении вместе с иезуитами пеклись также и дамы, то мне было в их обществе довольно весело. В то же время я писал статьи для "Constitutionnel" о Бельгии и о бельгийских иезуитах⁷⁵, не переставая однако следовать за ускорявшимся ходом политических происшествий в Италии и во Франции. (Отчеркнуто карандашом на полях)

Наконец грянула февральская революция. Лишь только я узнал, что в Париже дерутся, взяв у знакомого на всякий случай паспорт, отправился обратно во Францию. Но паспорт был ненужен; первое слово, встретившее нас на границе, было: "La République est proclamée à Paris" ("В Париже провозглашена республика"). У меня мороз пробежал по коже, когда я услышал это известие; в Валансьен (По-французски в оригинале), пришел пешком, потому что железная дорога была сломана; везде толпа, восторженные клики, красные знамена на всех улицах, плацах и на всех публичных зданиях. Я должен был ехать объездом, железная дорога была сломана во многих местах, я приехал в Париж 26 февраля, на третий день по объявлении республики.

На дороге мне было весело, что ж скажу Вам, государь, о впечатлении, произведенном на меня Парижем! Этот огромный город, центр европейского просвещения, обратился вдруг в дикий Кавказ: на каждой улице, почти на каждом месте, баррикады, взгроможденные как горы и достигающие крыш, а на них между камнями и сломанною мебелью, как лезгинцы в ущельях, (NB)

работники в своих живописных блузах, почерневшие от пороку и вооруженные с головы до ног; из окон выглядывали боязливо

толстые лавочники, *Irisiers* (Бакалейщики, лавочники), с поглупевшими от ужаса лицами; на улицах, на бульварах ни одного экипажа; исчезли все молодые и старые франты, все ненавистные львы с тросточками и лорнетами, а на место их мои благородные увриеры (Рабочие), торжествующими, ликующими толпами, с красными знаменами, с патриотическими песнями, упивающиеся своею победою! И посреди этого безграничного раздолья, этого безумного упоения все были так незлобивы, сострадательны, человеколюбивы, честны, скромны, учтивы, любезны, остроумны, что только во Франции, да и во Франции только в одном Париже можно увидеть подобную вещь!

Я жил потом с работниками более недели в *Caserne des Tournons* (Казарма (на улице) Турнон), в двух шагах от Люксембургского дворца; казармы сии были прежде казармами муниципальной гвардии (Городская полицейская стража, нечто вроде жандармерии), в то же время обратились со многими другими в червленно-республиканскую крепость, в казармы для коссидьеровской гвардии (Красная полиция, организованная бывшим членом тайных обществ Коссидьером, захватившим префектуру полиции (парижское градоначальство)).

Жил же я в них по приглашению знаменитого демократа, командовавшего отделением пятисот работников. Таким образом я имел случай видеть и изучать сих последних с утра до вечера. Государь, уверяю Вас, ни в одном классе, никогда и нигде не нашел я столько благородного самоотвержения, столько истинно трогательной честности, столько сердечной деликатности в обращении и столько любезной веселости, соединенной с таким героизмом, как в этих простых необразованных людях, которые всегда были и будут в тысячу раз лучше всех своих предводителей! Что в них особенно поразительно, это—глубокий инстинкт дисциплины; в казармах их не могло существовать ни установленного порядка, ни законов, ни принуждения; но дай бог, чтобы любой вымуштрованный солдат умел так точно повиноваться, отгадывать желания своих начальников и так свято соблюдать порядок, как эти вольные люди; они требовали приказаний, требовали начальства, повиновались с педантизмом, со страстью, голодали на тяжелой службе по целым суткам и никогда не унывали, а всегда были веселы и любезны. Если бы эти люди, если бы французские работники вообще нашли себе достойного предводителя, умеющего понимать и любить их, то он сделал бы с ними чудеса.

Государь, я не в состоянии отдать Вам ясного отчета в месяце, проведенном мною в Париже, потому что это был месяц духовного пьянства. Не я один, все были пьяны: одни от безумного страха, другие от безумного восторга, от безумных надежд. Я вставал в пять, в четыре часа поутру и ложился в два; был целый день на ногах, участвовал решительно во

всех собраниях, сходбищах, клубах, процессиях, прогулках, демонстрациях⁷⁷, одним словом втягивал в себя всеми чувствами, всеми порами упоительную революционную атмосферу.

Это был пир без начала и без конца; тут я видел всех и никого не видел, потому что все терялись в одной гуляющей бесчисленной толпе; говорил со всеми и не помнил, ни что им говорил, ни что мне говорили, потому что на каждом шагу новые предметы, новые приключения, новые известия. К поддержанию и усилению всеобщей горячки немало способствовали также известия, приходившие беспрестанно из прочей Европы; бывало только и слышишь: "On se bat à Berlin; le roi a pris la fuite après avoir prononcé un discours! — On s'est battu à Vienne, Metternich s'est enfui, la République est proclamée! Toute l'Allemagne se soulève. Les Italiens ont triomphé à Milan, à Venise les autrichiens ont subi une honteuse défaite! La République y est proclamée; toute l'Europe devient République... Vive la République!"...("В Берлине дерутся, король бежал, произнес перед этим речь! Дрались в Вене, Меттерних бежал, провозглашена республика! Вся Германия восстает. Итальянцы одержали победу в Милане; в Венеции австрийцы потерпели позорное поражение. Там провозглашена республика. Вся Европа становится республикой. Да здравствует республика!")

Казалось, что весь мир перевернулся; невероятное сделалось обыкновенным, невозможное возможным, возможное же и обыкновенное — бессмысленным. Одним словом ум находился тогда в таком состоянии, что если бы кто пришел и сказал "le bon Dieu vient d'être chassé du ciel, la République y est proclamée!" ("Бог прогнан с неба, там провозглашена республика!"), так все бы поверили и никто бы не удивился.

И не одни только демократы находились в таком опьянении; напротив демократы первые отрезвились, потому что должны были приняться за дело и укрепить за собою власть, упавшую в их руки каким-то неожиданным чудом. Консервативная партия и династическая оппозиция, сделавшаяся через день консервативнее самих консерваторов, одним словом люди старого порядка верили во все чудеса и во все невозможности более, чем все демократы; они уже думали, что дважды два перестало быть четыре, и сам Тьер⁷⁸ объявил: "il ne nous reste plus qu'une chose, c'est de nous faire oublier" ("Нам осталось только одно; дать о себе забыть").

Сим одним и объясняются и та поспешность и то единодушие, с которыми все города провинции и классы во Франции признали республику. (Отчеркнуто карандашом на полях)

Но пора возвратиться мне к своей собственной истории. После двух или трех недель такого пьянства я несколько отрезвился и стал себя спрашивать: что же я теперь буду делать? Не в Париже и не во Франции мое призвание, мое место на русской границе; туда стремится теперь польская эмиграция, готовясь на войну против России; там должен быть и я, для того чтобы действовать в одно и то же время на русских и на поляков, для того чтобы не дать готовящейся войне сделаться войною Европы против России "pour refouler ce peuple barbare dans les déserts de l'Asie" ("Чтобы отбросить этот варварский народ в пустыни Азии"), как они иногда выражались, и стараться, чтобы это не была война онемечившихся поляков против русского народа, но славянская война, война соединенных вольных славян против русского

императора⁷⁹.

Государь! Я не скажу ни слова о преступности и донкихот-ском безумии моего предприятия; остановлюсь только здесь для того, чтобы яснее определить свое тогдашнее положение, средства и связи⁸⁰. Я считаю необходимым войти в подробное объяснение на сей счет, ибо знаю, что мой выезд из Парижа был предметом многих ложных обвинений и подозрений.

Во-первых мне известно, что многие меня называли агентом Ледрю-Ролена⁸¹. Государь! В этой исповеди я не скрыл от Вас ничего, ни одного греха, ни одного преступления; я обнажил перед Вами всю душу; Вы видели мои заблуждения, видели, как я впадал из безумия в безумие, из ошибки в грех, из греха в преступление... Но Вы поверите мне, государь, когда я Вам скажу, что при всем безумии, при всей преступности моих помыслов и моих предприятий я все-таки сохранил слишком много гордости, самостоятельности, чувства достоинства и наконец любви к родине, для того чтобы согласиться быть против нее презренным агентом, слепым и грязным орудием какой бы то ни было партии, какого бы то ни было человека! Я изъяснял неоднократно в моих показаниях, что я с Ледрю-Роленом почти не был знаком, видел его только раз в жизни и едва сказал с ним десять незначительных слов; и теперь повторяю то же, потому что это есть истина. Гораздо ближе был я знаком с Луи-Бланом и Флоконом, а с Альбером⁸² познакомился только по моем возвращении из Франции (Описка: следует читать "во Францию"). Впродолжение всего месяца, проведенного мною в Париже, обедал три раза у Луи Блана и был раз у Флокона в доме да еще несколько раз обедал у Коссидьера, революционерного префекта полиции, у которого несколько раз видел Альбера; с другими членами Провизорного (Временного) правительства я в это время не виделся. Только одно обстоятельство могло подать повод к вышереченному обвинению; но это обстоятельство, кажется, осталось неизвестным моим обвинителям.

Решившись ехать на русскую границу и не имея денег для этой поездки, я долго искал у приятелей, и у знакомых и, не найдя ничего, скрепя сердце, решился прибегнуть к демократическим членам Провизорного правительства; вследствие этого написал и послал в четырех экземплярах к Флокону, Луи Блану, Альберу и Ледрю-Ролену короткую записку следующего содержания: "Изгнанный из Франции падшим правительством, возвратившись же в нее после февральской революции и теперь намереваясь ехать на русскую границу, в Герцогство Познанское, для того чтобы действовать вместе с польскими патриотами, я нуждаюсь в деньгах и прошу демократических членов Провизорного правительства дать мне 2.000 франков не даровою помощью, на которую не имею ни желания, ни права, но в виде займа, обещая возратить эту сумму, когда будет только возможно".

Получив сию записку, Флокон просил меня к себе и сказал мне, что он и друзья его в Провизорном правительстве готовы мне ссудить сию незначительную сумму и, если я потребую, более, но что прежде он должен переговорить с польскою Централизациею⁸³, ибо, находясь с нею в обязательных отношениях, он связан ею во всем, что хоть несколько касается Польши. Какого рода были эти переговоры и что польские демократы сказали обо мне Флокону, мне неизвестно; знаю только, что на другой день он мне предлагал гораздо большую сумму, что я взял у него 2.000 франков, и что, прощаясь, он меня просил писать ему для его журнала "RIforme" из Германии и Польши. Я писал ему два раза: из Кельна в

самом начале, потом из Кэтена в самом конце 1848 года при посылке своего "Воззвания к сла-вянам". От него же не получал ни писем, ни поручений и не имел с ним никаких других ни прямых, ни косвенных отношений⁸⁴. Денег не отдал, потому что жил в Германии в постоянной бед-ности.

Во-вторых меня обвиняли или, лучше сказать, подозревали,— для обвинения не нашлось положительных фактов, — подозре-вали, говорю я, что я, отправляясь из Парижа, находился в тай-ной связи с польскими демократами, действовал с ними заодно, по их поручению и по прежде составленному плану. Такое по-дозрение было весьма естественно, но также лишено всякого основания. В эмиграциях должно различать две вещи: толпу шумящую и тайные общества, всегда состоящие из немногих предприимчивых людей, которые ведут толпу невидимую рукою и готовят предприятия в тайных заседаниях⁸⁵. Я знал в это время толпу польских эмигрантов, и она меня знала, знала даже лучше, чем я мог знать каждого, потому что они были без числа, я же только один русский посреди их; слышал, что они говори-ли: их гасконады, фантазии, надежды, — слышал одним словом, что всякий мог бы слышать, если бы только захотел; но не участвовал в заседаниях и не был поверенным тайн действитель-ных заговорщиков. В это время в Париже существовало только два серьезные польские общества: общество Чарторижского и общество демократов⁸⁶.

С партией Чарторижского я никогда не имел сношений, его же видел всего один раз. В 1846 году я хотел было войти в связь с демократическою Централизациею, но попытка моя не имела успеха, а в Париже после февральской революции я не встретил даже ни одного из ее членов, так что я в это время гораздо менее знал о замыслах польских демокра-тов, чем о бельгийских, итальянских, особенно же немецких со-временных предприятиях. Между итальянцами я знал Мамиани, генерала Пепе, ,не принадлежащих ни [к] каким обществам. Между бельгийцами знал некоторых предводителей, слышал о их намерениях, но не вмешивался в их дела. Ближе же и лучше знал дела немецкие, находясь в дружеской связи с Гервегом, ко-торый принимал в них деятельное участие. Я видел начало не-счастливого похода Гервега в Баден, знал его средства, его помощ-ников, его вооружение, обещания Провизорного правительства и число работников, вписавшихся в его полк, а также и его от-ношения с баденскими демократами; знал много потому, что был друг Гервегу, но никаким образом не связывал ни себя, ни свои намерения с его намерениями⁸⁷.

Для дополнения картины моего тогдашнего положения и для того, чтобы не оставить в ней ни одной ложной тени, я должен наконец сказать несколько слов и о русских⁸⁸. Ведь, назвав их моими знакомыми, я не могу скомпрометировать их более, чем они сами скомпрометировали себя в Париже. Иван Головин, Ни-колай Сазонов, Александр Герцен и, может быть, еще Николай Иванович Тургенев⁸⁹ — вот единственные русские, про которых можно бы было с некоторым основанием подумать, что я нахо-дился с ними в политических отношениях. Но Головина я не лю-бил, не уважал, всегда держал себя от него в далеком рассто-янии, а после февральской революции, кажется, даже ни разу не встретил. Николай Сазонов — человек умный, знающий, дарови-тый, но самолюбивый и себялюбивый до крайности. Сначала он был мне врагом за то, что я не мог убедиться в самостоятельности русской аристократии, которой он считал себя тогда не пос-ледним представителем; потом стал называть меня своим другом. Я в дружбу его не верил, но видел его довольно часто, находя удовольствие в его умной и любезной беседе. По возвращении моем из Бельгии я

встретил его несколько раз у Гервега; он на меня дулся и, как я потом услышал, первый стал распространять слух о моей мнимой зависимости от Ледрю-Ролена. Гораздо бо-лее лежало у меня сердце к Герцену⁹⁰. Он — человек добрый, благородный, живой, остроумный, несколько болтун и эпикуреец.

Я видел его в Париже летом в 1847 году; тогда он не думал еще эмигрировать и более всех других смеялся над моим полити-ческим направлением, сам же занимался всевозможными вопро-сами и предметами, особенно литературою. В конце лета 1847-го года он уехал в Италию и возвратился в Париж летом 1848-го, два или три месяца спустя по моем отъезде из оно-го, так что мы разъехались с ним, никогда более не видались я не переписыва-лись. Один раз он мне только прислал денег через Рейхеля. На-конец о Н. И. Тургеневе я могу сказать только, что он в это время более чем когда держал себя в стороне от целого мира и, как богатый собственник и "rentier" (Рантье), был таки немало испуган приключившеюся революциею. Я видел его мельком и, как бы сказать, мимоходом. (Отчеркнуто карандашом на полях)

Одним словом, государь, я имею полное право сказать, что я жил, предпринимал, действовал вне всякого общества, незави-симо от всякого чуждого побуждения и влияния: безумие, грехи, преступления мои принадлежали и принадлежат исключительно мне. Я много, много виноват, но никогда не унижался до того чтобы быть чужим агентом, рабом чужой мысли.

Наконец есть против меня еще одно гнусное обвинение.

Меня обвиняли, что будто бы я хотел в сообществе двух поляков, которых теперь позабыл и фамилию, что будто бы я намеревался посягнуть на жизнь Вашего императорского величества. Не стану входить в подробности такой клеветы; я подробно отвечал на нее в своих заграничных показаниях и стыжусь гово-рить много об этом предмете⁹¹.

Одно только скажу, государь: я - преступник перед Вами и перед законом, я знаю великость своих преступлений, но знаю также, что никогда душа моя не была способна ни к злодейству, ни к подлости⁹².

Мой политический фанатизм, живший более в воображении, чем в сердце, имел также свои крепко-определенные границы, и никогда ни Брут, ни Равальяк, ни Алибо⁹³ не были моими героями. К тому же, госу-дарь, в душе моей собственно против Вас никогда не было даже и тени ненависти. Когда я был юнкером в Артиллерийском учи-лище, я, так же как и все товарищи, страстно любил Вас. Быва-ло, когда Вы приедете в лагерь, одно слово "государь едет" при-водило всех в невыразимый восторг, и все стремились к Вам на встречу. В Вашем присутствии мы не знали боязни; напротив во-зле Вас и под Вашим покровительством искали прибежища от на-чальства; оно не смело идти за нами в Александрию. Я помню, это было во время холеры⁹⁴. Вы были грустны, государь, мы молча окружали Вас, смотрели на Вас с трепетным благоговени-ем, и каждый чувствовал в душе своей Вашу великую грусть, хоть и не мог познать ее причины, и как счастлив был тот, кото-рому Вы скажете бывало слово! Потом, много лет спустя, за гра-ницей, когда я сделался уже отчаянным демократом, я стал счи-тать себя обязанным ненавидеть императора Николая; но нена-висть моя была в

воображении, в мыслях, не в сердце: я ненавидел отвлеченное политическое лицо, олицетворение самодержавной власти в России, притеснителя Польши, а не то живое величественное лицо, которое поразило меня в самом начале жизни, и запечатлелось в юном сердце моем. Впечатления юности нелегко изглаживаются, государь!

Да и в самом разгаре моего политического фанатизма безумие мое сохранило известную меру; мои нападки против Вас никогда не выходили из политической сферы: я дерзал называть Вас жестоким, железным, немилосердным деспотом, проповедывал ненависть и бунт против Вашей власти, но никогда не дерзал и не хотел и не мог коснуться святотатственным языком собственно до Вашего лица, государь, и как бы выразить, это, не нахожу слов, хотя и глубоко чувствую различие, — никогда одним словом я не говорил, не писал как подлый лакей, который ругается над своим господином и хулит и клеветает, потому что знает, что барин или не слышит, или слишком отдален от него для того, чтобы задеть его своею дубинкою. (Отчеркнуто карандашом на полях)

Наконец, государь, даже и в самое последнее время наперекор всем демократическим понятиям и как бы против воли я глубоко, глубоко почитал Вас! Не я один, множество других, поляков и европейцев вообще, сознавали со мною, что между всеми ныне царствующими венценосцами Вы только один, государь, сохранили веру в свое царское призвание. С такими чувствами, с такими мыслями, несмотря на все политическое безумие, я не мог быть цареубийцею, и Вы поверите, государь, что это обвинение — не что иное как гнусная клевета.

Теперь же возвращусь к своему повествованию.

Взяв деньги у Флокона, я пошел за паспортом к Коссидьеру; взял же у него не один, а два паспорта, на всякий случай, один на свое имя, другой же на мнимое⁹⁵, желая по возможности скрыть свое присутствие в Германии и в Познанском Герцогстве. Потом, отобедав у Гервега и взяв у него письма и поручения к баденским демократам, сел в дилижанс и поехал, на Страсбург. Если бы меня кто в дилижансе спросил о цели моей поездки, и я бы захотел отвечать ему, то между нами мог бы произойти следующий разговор.

"Зачем ты едешь?" — Еду бунтовать. — "Против кого?" — Против императора Николая. — "Каким образом?" — Еще сам хорошо не знаю. — "Куда ж ты едешь теперь?" — В Познанское Герцогство. — "Зачем именно туда?" — Потому что слышал от поляков, что теперь там более жизни, более движения, и что от-туда легче действовать на Царство Польское, чем из Галиции. — "Какие у тебя средства?" - 2000 франков. — "А надежды на средства?" — Никаких определенных, но авось найду, — "Есть знакомые и связи в Познанском Герцогстве?" - Исключая некоторых молодых людей, которых встречал довольно часто в Берлинском университете, я там никого не знаю. — "Есть рекомендательные письма?" — Ни одного. — "Как же ты без средств и один хочешь бороться с русским царем?" — Со мной революция, а в Позене надеюсь выйти из своего одиночества. — "Теперь все немцы кричат против России, возносят поляков и собираются вместе с ними воевать против русского царства. Ты — русский, неужели ты соединишься с ними?" — Сохрани бог! лишь только немцы дерзнут поставить ногу на славянскую землю, я сделаюсь им непримиримым врагом;

но я затем-то и еду в Позен, чтоб все-ми силами воспротивиться неестественному соединению поляков с немцами против России. — "Но поляки одни не в состоянии бороться с русскою силою?" — Одни нет, но в соединении с дру-гими славянами, особенно же если мне удастся увлечь русских в Царстве Польском... — "На чем основаны твои надежды, есть у тебя с русскими связи?"—Никакой; надеюсь же на пропаган-ду и на могучий дух революции, овладевший ныне всем миром!

Не говоря о великости преступления, Вам должно быть очень смешно, государь, что я один, безымянный, бессильный, шел на брань против Вас, великого царя великого царства! Теперь я вижу ясно свое безумие и сам бы смеялся, если бы мне было до смеху, я поневоле вспоминаю одну басню Ивана Андреевича Крылова⁹⁶... Но тогда ничего не видел, ни о чем не хотел ду-мать, а шел как угорелый на явную гибель. И если что может хоть несколько извинить — не говорю преступность, а нелепость моей выходки, так разве только то, что я ехал из пьяного Па-рижа, и сам был пьян, да и все вокруг меня были пьяны!

Приехав во Франкфурт в первых числах апреля, я нашел тут бесчисленное множество немцев, собравшихся из целой Германии на Vor-Parlament (Предварительный парламент)⁹⁷, познакомился почти со всеми демократами, отдал письма и поручения Гервега и стал наблюдать, стараясь найти смысл в немецком хаосе и хоть зародыш единства в сем новом вавилонском столпотворении. Во Франкфурте я пробыл около недели, был в Майнце, в Мангейме, в Гейдельберге, был свидетелем многих народных вооруженных и невооруженных соб-раний, посещал немецкие клубы, знал лично главных предводи-телей баденского восстания и о всех предприятиях, но ни в одном не принимал деятельного участия, хоть и симпатизировал с ними И желал им всякого успеха, оставаясь во всем, что касалось соб-ственно до меня и до моих собственных замыслов, в прежнем совершенном уединеньи. Потом на дороге в Берлин пробыл не-сколько дней в Кельне, ожидая там свои вещи из Брюсселя. Чем ближе к северу, тем холоднее становилось мне на душе; в Кельне мной овладела тоска невыразимая, как будто бы предчувствие будущей гибели! Но ничто не могло остановить меня. На дру-гой день моего приезда в Берлин я был арестован, сначала был принят за Гервега (Над словом "Гервег" карандашом поставлен значок в виде звездочки), а потом в наказание за то, что я ехал с двумя паспортами. Впрочем меня продержали только день, а потом отпустили, взяв с меня слово, что я не поеду в Познанское Герцогство и не останусь в Берлине, а поеду в Бреславль.

Прези-дент полиции Минутоли⁹⁸ удержал у себя паспорт, написанный на мое собственное имя, но возвратил мне другой на имя небы-валого Леонарда Неглинского, от себя же дал еще другой паспорт на имя Вольфа или Гофмана, не помню, желая вероятно. чтобы я не терял привычки ездить с двумя паспортами. Таким образом, ничего другого почти не увидев в Берлине, кроме поли-цейского дома, я отправился далее и приехал в Бреславль в кон-це апреля или в самом начале мая.

В Бреславле [я] пробыл безвыездно до самого славянского конгресса, т. е. до конца мая, почти месяц. Первым делом моим было знакомство с бреславльскими демократами; вторым же— отыскивать поляков, с которыми бы мог соединиться. Первое бы-ло легко, а второе не только что трудно, но оказалось решитель-но невозможным. В это время в Бреславле съехалось много поля-ков из Галиции, из Кракова, из Герцогства Познанского, нако-нец

эмигранты из Парижа и Лондона. Это был нечто вроде польского конгресса: конгресс сей, сколько мне по крайней мере известно, не имел важных результатов, я не присутствовал в его заседаниях, но слышал, что было много шума, сильная распря и разногласия провинций и партий, вследствие чего все поляки разъехались, не положив ничего существенного⁹⁹. Мое положение между ними было с самого начала тяжелое и странное: все знали меня, были со мной очень любезны, говорили мне массу комплиментов; но я чувствовал себя между ними чужим; чем слаще были слова их, тем холоднее становилось мне на сердце, и ни я с ними, ни они со мною не могли сойтись. К тому же в это самое время вторично и сильнее, чем в первый раз, пронесся между ними слух о моем мнимом предательстве; более всех верили этому слуху и распространяли его эмигранты, особенно же члены Демократического Общества¹⁰⁰. Они потом, гораздо позже, извинялись, складывая всю вину на старого болтуна графа Ледуховского¹⁰¹, которого будто бы предостерег Ламартин, а он поспешил предостеречь всех польских демократов. Поляки видимо ко мне охладели, и я, потеряв наконец терпение, стал от них удаляться, так что до пражского конгресса не имел с ними никаких сношений, виделся же только с немногими без политической цели.

Чаще бывал зато между немцами, посещал их демократический клуб и пользовался между ними в то время такую популярностью, что единственно только моим старанием Арнольд Руге, мой старый приятель, был избран Бреславлем во Франкфуртское национальное собрание.

Немцы — смешной, но добрый народ, я с ними почти всегда умел ладить, исключая впрочем литераторов-коммунистов. В это время немцы играли в политику "слушали меня как оракула¹⁰². Заговоров и серьезных предприятий между ними не было, а шуму, песней, потребления пива и хвастливой болтовни много: все делалось и говорилось на улице, явно; не было ни законов, ни начальства: полная свобода и каждый вечер как бы для забавы маленькое возмущение. Клубы же их были не что иное как упражнение в красноречии или, лучше сказать, в пусторечии.

Впродолжение всего мая я оставался в полном бездействии; скучал, тосковал и ждал удобного часа. К унынию моему немало способствовали также и тогдашние политические обстоятельства: неудачное восстание Познанского Герцогства, хоть и постыдное для прусского войска¹⁰³, изгнание поляков (эмигрантов) из Кракова и вскоре потом и из Пруссии¹⁰⁴, совершенное кораблекрушение баденских демократов¹⁰⁵, наконец первое поражение демократов в Париже¹⁰⁶ были явными предзнаменованиями тогда уже начавшегося революционного отлива.

Немцы этого не видели и не понимали, но я понимал и в первый раз усумнился в успехе. Наконец стали говорить о славянском конгрессе¹⁰⁷; я решился ехать в Прагу, надеясь найти там архимедовскую точку опоры для действия.

До тех пор, исключая поляков и не говоря уже о русских, я не был знаком ни с одним славянином и также никогда не бывал в австрийских владениях. Знал же о славянах по рассказам некоторых очевидцев да по книгам¹⁰⁸. Слышал также в Париже о клубе, основанном Киприаном Робером¹⁰⁹, заместившим Мицкевича на кафедре славянских

литератур, но не ходил в этот клуб, не желая мешаться с славянами, предводимыми французом. Поэтому знакомство и сближение с славянами было для меня опытом новым, и я много ждал от пражского конгресса, особенно надеясь с помощью прочих славян победить тесноту польского национального самолюбия.

Ожидания мои, хоть и не сбылись во всей полноте, не совсем были обмануты. Славяне в политическом отношении — дети, но я нашел в них невероятную свежесть и несравненно более при-родного ума и энергии, чем в немцах. Трогательно было видеть их встречу, их детский, но глубокий восторг; сказали бы, что члены одного и того же семейства, разбросанные грозною судь-бою по целому миру, в первый раз свиделись после долгой и горькой разлуки: они плакали, они смеялись, они обнимались,— и в их слезах, в их радости, в их радушных приветствиях не бы-ло ни фраз, ни лжи, ни высокомерной напыщенности; все было просто, искренно, свято¹¹⁰. В Париже я был увлечен демократи-ческой экзальтацией, героизмом народного класса; здесь же ув-лекся искренностью и теплотой простого, но глубокого славянско-го чувства.

Во мне самом пробудилось славянское сердце, так что в первое время я было почти совсем позабыл все демократи-ческие симпатии, связывавшие меня с Западною Европою. По-ляки смотрели на прочих славян с высоты своего политического значения, держали себя несколько в стороне, слегка улыбаясь¹¹¹. Я же смешался с ними и жил с ними и делил их радость от всей души, от полного сердца; и потому был ими любим и пользовал-ся почти всеобщим доверием.

Чувство, преобладающее в славянах, есть ненависть к немцам. Энергическое, хоть и не учтивое выражение "проклятый немец", выговариваемое на всех славянских наречиях почти одинаковым-образом, производит на каждого славянина невероятное дейст-вие; я несколько раз пробовал его силу и видел, как оно побеж-дало самих поляков.

Достаточно было иногда побранить кстати немцев для того, чтоб они позабыли и польскую исключитель-ность и ненависть к русским и хитрую, хоть и (В переписанном для царя экземпляре вместо "и" сказано "не", но это неверно. Материалы", т. I, стр. 145, повторяют эту ошибку пи-саря), бесполезную по-литику, заставляющую их часто кокетничать с немцами, — одним словом для того, чтобы вырвать их совершенно из той тесной, болезненной, искусственно-холодной оболочки, в которой они жи-вут поневоле, вследствие великих национальных несчастий; для того, чтобы пробудить в них живое славянское сердце и заставить их чувствовать заодно со всеми славянами.

В Праге, где поно-шению немцев не было конца, я, и с самими поляками чувствовал себя ближе. Ненависть к немцам была неистощимым предметом всех разговоров; она служила вместо приветствия между незна-комыми: когда два славянина сходились, то первое слово меж-ду ними было почти всегда против немцев, как бы для того, что-бы уверить друг друга, что они оба — истинные, добрые славя-не. Ненависть против немцев есть первое основание славянского единства и взаимного уразумения славян; она так сильна, так глубоко врезана в сердце каждого славянина, что я и теперь уверен, государь, что рано или поздно, одним или другим образом, и как бы ни определились политические отношения Европы, славяне свергнут немецкое иго, и что придет время, когда не будет более ни прусских, ни

австрийских, ни турецких славян.

Важность славянского конгресса состояла по моему мнению в том, что это было первое свидание, первое знакомство, первая попытка соединения и уразумения славян между собою. Что же касается до самого конгресса, то он, равно как и все другие современные конгрессы и политические собрания, был решительно пуст и бессмыслен¹¹². О происхождении же славянского конгресса я знаю следующее¹¹³.

В Праге существовал уже с давних времен ученый литературный круг, имевший целью сохранение, поднятие и развитие чешской литературы, чешских национальных обычаев, а также и славянской национальности вообще, подавляемой, стесняемой, презираемой немцами, равно как и мадьярами. Кружок сей находился в живой и постоянной связи с подобными кружками между словаками, хорватами, словенцами, сербами, даже между лужичанами в Саксонии и Пруссии и был, как бы сказать, их главою. Палацкий, Шафарик, граф Тун, Ганка, Коллар, Урбан, Людвиг Штур¹¹⁴ и несколько других были предводителями славянской пропаганды, сначала литературной, потом уже возвысившейся и до политического значения. Австрийское правительство их не любило, но терпело, потому что они противодействовали мадьярам.

В доказательство же и в пример их деятельности я приведу только одно обстоятельство: тому назад десять, много пятнадцать лет в Праге никто, решительно ни одна душа не говорила по-чешски, разве только чернь и работники; все говорили и жили по-немецки; стыдились чешского языка и чешского происхождения; теперь же напротив ни один человек, ни женщины, ни дети не хотят говорить по-немецки, да и сами немцы в Праге выучились понимать и объясняться по-чешски. Я привел в пример только Прагу, но то же самое произошло и во всех других, богемских, моравских, словацких, больших и маленьких городах; села же никогда и не переставали жить и говорить по-славянски.

Вам, государь, известно, сколь глубоки и сильны симпатии славян к могучему русскому царству, от которого они надеялись опоры и помощи, и до какой степени австрийское правительство да и немцы вообще боялись и боятся русского панславизма! В последние годы невинный литературно-ученый кружок расширился, укрепился, охватил и увлек за собою всю молодежь, пустил корни в народные массы, — и литературное движение превратилось вдруг в политическое. Славяне ожидали только случая, чтобы явить себя миру.

В 1848-м году этот случай обрелся. Австрийская империя чуть было не распалась на свои многообразные, враждебно противоположные, несовместимые элементы, и если на время спаслась, то не своею одряхлевшею силою, только Вашею помощью, государь! Восстали итальянцы, восстали мадьяры и немцы, восстали наконец и славяне. Австрийское или, лучше сказать, Инспрукское правительство, — ибо тогда австрийских правительств было много, по крайней мере два: одно действительное в Инспруке, другое официальное и конституционное в Вене, не говоря уже о третьем, Венгерском, также официально признанном правительстве¹¹⁵, — итак династическое правительство в Инспруке, покинутое всеми и лишенное почти всяких средств, стало искать спасения в национальном движении славян.

Первая мысль собрать в Праге славянский конгресс принадлежала чехам, а именно Шафарику, Палацкому и графу Туну¹¹⁶.

В Инспруке ухватились за нее с радостью, потому что надеялись, что славянский конгресс будет служить противовесом конгрессу немцев во Франкфурте. Граф Тун, Палацкий, Браунер создали тогда в Праге нечто вроде провизорного правительства, были признаны Инспруком и относились с ним прямо помимо венских министров, которых не хотели ни признавать, ни слушаться, видя в них враждебных представителей германской национальности¹¹⁷. Таким образом составила полуофициальная чешская партия, полуславянская и полуправительственная: правительственная по-тому, что она хотела спасти династию, монархическое начало и целостность австрийской монархии, однако не безусловно, требуя за-то: во-первых конституции, во-вторых перенесения имперской столицы из Вены в Прагу, что им и было действительно обещано, разумеется с твердым намерением не сдерживать обещания, и на-конец совершенного превращения австрийской монархии из не-мецкой в славянскую, так что уж не немцы более и не мадьяры притесняли бы славян, но наоборот. Все это выразил Палацкий в своей тогда явившейся брошюре следующими словами: "Wir wollen das KunststЭck versuchen, die bis zu ihrem tiefsten Wesen erschЭttert Monarchie auf unserem slavischen Boden und mit unserer slavischen Kraft zu beleben, zu heilen und zu befestigen" ("Мы хотим попытаться совершить кунштштюк — оживить, исце-лить и укрепить глубочайшим образом потрясенную австрийскую монархию на нашей славянской почве и с помощью нашей славянской силы")¹¹⁸, — предприятие невозможное, в котором они дол-жны были быть или обманутыми или обманщиками.

Но чешская партия не довольствовалась сим общим преобла-данием славянского элемента в Австрийской империи. Опи-раясь на свой полуофициальный характер и на льстивые инспрукские обещания, она хотела еще устроить в свою пользу нечто вроде чешской гегемонии и утвердить между самими славянами преобладание чешского языка, чешской национальности. Не гово-ря уже о Моравии, она намеревалась присоединить еще к Богемии словацкую землю, австрийскую Шлезию (Силезия) и даже Галицию, угрожая полякам в случае непокорения возмущением руси-нов, — хотели одним словом создать сильное Богемское королевство¹¹⁹. Таковы были притязания чешских политиков.

Они, разуме-ется, встретили сильное сопротивление в словаках, в шлензаках (Силезцы), более же всего в поляках. Последние приехали в Прагу совсем не для того, чтобы покориться чехам, да если правду ска-зать, так и не вследствие необычайного влечения к славянским братьям и к славянской мысли, а просто в надежде найти тут опору и помощь для своих особенных национальных предприя-тий.

Таким образом с самых первых дней произошла борьба, не между массами приезжих славян, только между их предводи-телями, сильнее же всех борьба между поляками и чехами, между поляками и русинами, борьба, кончившаяся ничем, как и весь славянский конгресс. Южные славяне были чужды всем пре-ниям и занимались исключительно приготовлениями к венгер-ской войне, уговаривая и прочих славян отложить все внутрен-ние вопросы до совершенного низложения мадьяр, и, как иные говорили, до совершенного изгнания оных из Венгрии.

Поляки ни на то, ни на другое не соглашались, предлагали же свое посредничество, которого ни южные славяне да, сколько я слышал, и сами мадьяры не захотели принять¹²⁰. Одним словом все тянули на свою сторону и все желали сделать себе из других скамью для своего собственного возвышения; более всех чехи, избалованные инспрукокскими комплиментами, а потом и поляки, избалованные не судьбою, но комплиментами европейских демо-кратов.

Конгресс¹²¹ состоял из трех отделений: Северное, в котором были поляки, русины, шлензаки; Западное, состоявшее из чехов, моравов, словаков, и Южное, в котором заседали сербы, хорваты, словенцы и далматы. По первоначальному определению Палацкого, главного изобретателя и руководителя славянского конгресса, конгресс сей должен был исключительно состоять из австрийских славян, не-австрийские же должны были присутствовать в нем только как гости; но определение сие было в самом начале отвергнуто: вошли в конгресс не как гости, но как действительные члены¹²² много поляков из Познани, польские эмигранты, несколько турецких сербов и наконец двое русских: я да еще один старообрядческий поп, которого позабыл фамилию, — ее можно впрочем найти в печатном отчете Шафарика о славянском конгрессе¹²³, — поп или вернее монах из старообрядческого монастыря, существовавшего в Буковине с своим особенным митрополитом и уничтоженного, кажется, в это же время по требованию русского правительства; он ездил с отставленным митрополитом в Вену, потом, услышав о славянском конгрессе приехал один в Прагу¹²⁴. (Отчеркнуто карандашом на полях)

Я вступил в Северное, то есть в польское отделение и при вступлении произнес короткую речь, в которой сказал, что Россия, отторгнувшись от славянской братии через порабощение Польши, особенно же предав ее в руки немцев, общих и главных врагов всего славянского племени, не может иначе возвратиться к славянскому единству и братству, как через освобождение Польши, и что поэтому мое место на славянском конгрессе должно быть между поляками¹²⁶. Поляки приняли меня с рукоплесканиями и выбрали депутатом в южно-славянское отделение сообразно с моим собственным желанием. Старообрядческий поп вместе со мною вступил в отделение поляков и по моему ходатайству был даже избран ими в Общее собрание, состоявшее из депутатов трех главных групп (В оригинале сказано "группов", в писарской копии "кругов").

Я не скрою от Вас, государь что мне приходило на мысль употребить этого попа на революционерную пропаганду в России. Я знал, что на Руси много старообрядцев и других расколов, и что русский народ склонен к религиозному фанатизму. Поп же мой был человек хитрый, смысленый, настоящий русский плут и пройдоха, бывал в Москве, знал много о старообрядцах да и о расколах вообще в русской империи; да кажется, что и монастырь-то его находился в постоянной связи с русскими старообрядцами¹²⁷. Но я не имел времени заняться им, сомневался отчасти в нравственности такого сообщества, не имел еще определенного плана для действия, ни связей, а главное не имел денег; без денег же с такими людьми и говорить нечего. К тому же я был в это время исключительно занят славянским вопросом, видел его редко, а потом и совсем потерял его из виду.

Дни текли, конгресс не двигался. Поляки занимались регламентом, парламентскими формами да русинским вопросом; вопросы более важные переговаривали не на конгрессе, а

в собраниях особенных и не так многочисленных. Я в сих собраниях не участвовал, слышал только, что в них продолжались отчасти бреславские распри и была сильно речь о Кошуте и о мадьярах, с которыми, если не ошибаюсь, поляки уже в то время начинали иметь положительные сношения к великому неудовольствию прочих славян. Чехи были заняты своими честолюбивыми планами, южные славяне предстоявшей войною. Об общем славянском во-просе мало кто думал. Мне опять стало тоскливо, и я начал чувствовать себя в Праге а таком же уединении, в каком был прежде в Париже и в Германии. Я несколько раз говорил в польском, в южно-славянском, а также и в общем собрании; вот главное содержание моих речей:

"Зачем вы съехались в Прагу? Для того ли, чтобы толковать здесь о своих провинциальных интересах, или для того, чтобы слить все частные дела славянских народов, их интересы, требования, вопросы в один нераздельный, великий славянский во-прос? Начните же заниматься им и покорите все частные требования (В оригинале описка "требованью") славянскому делу. Наше собрание есть первое славянское собрание; мы должны положить здесь начало новой славянской жизни, провозгласить и утвердить единство всех славянских пле-мен, соединенных отныне в одно нераздельное и великое полити-ческое тело.

"И во-первых спросим себя: наше собрание есть-ли только со-брание австрийских славян или вообще славянское собрание? Ка-кой смысл выражения "австрийские славяне"? Славяне, живущие в Австрийской империи, не более, а если вы хотите, так по-жалуй славяне, поработанные австрийскими немцами. Если же вы хотите ограничить ваше собрание представителями только австрийских славян, каким правом называете вы его славянским? Вы исключаете всех славян Российской империи, славян-поддан-ных Пруссии, турецких славян; меньшинство исключает огром-ное большинство и смеет называть себя славянским! Называйте же себя немецкими славянами и конгресс ваш — конгрессом не-мецких рабов, а не славянским конгрессом.

"Я знаю, многие из вас надеются на опору австрийской дина-стии. Она теперь вам все обещает, она вам льстит, потому что вы ей необходимы; но сдержит ли она свои обещания, и будет ли иметь возможность сдержать их, когда вашею помощью восста-новит свою падшую власть? Вы говорите, что сдержит, я же уверен, что нет.

"Первый закон всякого правительства есть закон самосохра-нения; ему покорены все нравственные законы, и нет еще в исто-рии примера, чтобы какое [либо] правительство сдержало без принуждения обещания, данные им в критическую минуту. Вы увидите, австрийская династия не только что забудет ваши услу-ги, но будет мстить вам за свою прошедшую постыдную слабость, принуждавшую ее унижаться перед вами и льстить вашим кра-мольным требованиям. История австрийской династии богаче других такими примерами, и вы, ученые чехи, вы, знающие так хорошо и так подробно прошедшие несчастья своей родины, вы должны бы были понимать лучше других, что не любовь к сла-вянам и не любовь к славянской независимости и к славянскому языку и к славянским нравам и обычаям, но единственно только железная необходимость заставляет ее ныне искать вашей дружбы.

"Наконец, предположив даже невозможное, предположив, что австрийская династия захочет в самом деле и будет в состоянии соблюсти данное слово, какие будут ваши приобретения? Ав-стрия из полунемецкого государства превратится в полуславян-ское; это значит, что вы из притесняемых превратитесь в притес-нителей, из ненавидящих в ненавистных; это значит, что вы, ма-лочисленные австрийские славяне, отторгнетесь от славянского большинства, что вы сами разрушите всякую надежду на соеди-нение славян, на то великое славянское единство, которое по край-ней мере в ваших словах есть первый и главный предмет ваших желаний. Славянское единство, славянская свобода, славянское возрождение не иначе возможны как через совершенное разру-шение Австрийской империи.

"Не менее ошибаются и те, которые для восстановления сла-вянской независимости надеются на помощь русского царя. Рус-ский царь заключил новый тесный союз с австрийскою династиею, не за вас, но против вас, не для того чтобы помогать вам, а для того чтобы возвратить вас насильно, вас, равно как и всех прочих бунтующих австрийских подданных, в старое подданство, к старому безусловному повиновению. Император Николай не любит ни народной свободы, ни конституций: вы видели живой пример в Польше. Я знаю, что русское правительство уже с дав-них времен обрабатывает вас, равно как и турецких славян, сво-ими агентами, которые объезжают славянские земли, распростра-няя между вами панславистические мысли, обольщая вас надеж-дою на скорую помощь, на приближающееся будто бы освобож-дение всех славян могучею силою русского царства, и не сомне-ваюсь, что оно видит в далекой, в весьма далекой будущности Момент, когда все славянские земли войдут в состав Российской империи¹²⁸.

Но никто из нас не доживет до желанного часа, хо-тите вы ждать до тех пор? Не вы одни, славянские народы успе-ют одряхлеть до того времени.

Теперь же вам нет места в нед-рах русского царства: вы хотите жизни, а там мертвое молчанье, требуете самостоятельности, движенья, а там механическое послу-шание, желаете воскресенья, возвышенья, просвещенья, освобож-денья, а там смерть, темнота и рабская работа.

Войдя в Россию императора Николая, вы вошли бы во гроб всякой народной жиз-ни и всякой свободы. Правда, что без России славянское един-ство неполно и нет славянской силы; но безумно было бы ждать спасенья и помощи для славян от настоящей России. Что же оста-ется вам? Соединитесь сначала вне России, не исключая ее, но ожидая, надеясь на ее скорое освобождение; и она увлечется ва-шим примером, и вы будете освободителями русского народа, который в свою очередь будет потом вашею силою и вашим щи-том. (Отчеркнуто карандашом на полях)

"Начните же свое соединение следующим образом: объявите, что вы, славяне, не австрийские, а живущие на славянской земле в так называемой Австрийской империи, сошлись и соедини-лись в Праге для заложения первого основания будущей вольной и великой федерации всех славянских народов, и что в ожидании присоединения славянских братий в русской империи, в прусских владениях, в Турции вы, чехи, моравы, поляки из Галиции и Кракова, русины, шлензаки, словаки, сербы, словенцы, хорваты и далматы,

заключили между собою крепкий и нераз-рывный оборонительный и наступательный союз на следующих основаниях".

Я не стану высчитывать здесь всех пунктов, придуманных мною; скажу только, что проект сей, напечатанный потом, впро-чем без моего ведома и только отрывком в одном из чешских журналов, был составлен в демократическом духе¹²⁹; что он оставлял много простору национальным и провинциальным раз-личиям во всем, что касалось административного управления, по-лагая впрочем и тут некоторые основные определения, общие и обязательные для всех; но что во всем касавшемся внутренней, как и внешней политики власть была перенесена и сосредоточена в руках центрального правительства. (Отчеркнуто карандашом на полях)

Таким образом и поляки и чехи должны были исчезнуть со всеми своекорыстными и само-любивыми притязаниями в общем славянском союзе. Я совето-вал также конгрессу требовать от инспрукского, тогда еще всеуступавшего двора официального признания союза и тех же са-мых уступок, которые оно незадолго перед тем сделало мадьярам, а посему не могло отказать своим добрым и верным славянам, как-то: особенного славянского министерства, особенного славян-ского войска с славянскими офицерами и особенных славянских финанс[ов]. Советовал также требовать возвращения хорватских и других славянских полков из Италии; советовал наконец по-слать поверенного в Венгрию к Кошуту, уже не от имени бана Елачича, но во имя всех соединенных славян, для того чтобы разрешить мирным образом мадьяро-славянский вопрос и пред-ложить мадьярам равно как и седьмиградским валахам¹³⁰ всту-пить в славянский или пожалуй в восточно-республиканский союз на правах равных со всеми славянами.

Признаюсь, государь, что подавая такой проект славянскому конгрессу, я имел в виду совершенное разрушение Австрийской империи, разрушение в обоих случаях: в случае принужденного согласия, а также и в случае отказа, который бы привел дина-стию в гибельную коллизию с славянами.

Другая же и главная цель моя была найти в соединенных славянах точку отправления для широкой революционерной пропаганды в России, для начала борьбы против Вас, государь! Я не мог соединиться с немцами: это была бы война Европы и, что еще хуже, война Германии против России; с поляками также не мог соединиться; они мне плохо верили, да и мне самому, когда я узнал ближе их национальный характер, их неисцелимый, хоть исторически и понятный мне эго-изм, мне самому стало уже совестно и совершенно невозможно мешаться с поляками, действовать с ними заодно против родины. В славянском же союзе я видел напротив отечество еще шире, в котором, лишь бы только Россия к нему присоединилась, и поля-ки и чехи должны бы были уступить ей первое место.

Я несколько раз употребил выражение "революционерная пропаганда в России": пора же мне наконец объяснить, каким образом я разумел сию пропаганду, какие у меня были на то надеж-ды и средства¹³¹.

Прежде всего, государь, я должен торжествен-но объявить Вам, что у меня ни прежде, ни в это время, ни по-том ,не было не только что связей, но даже ни тени ниже начала сношений

с Россией и с русскими и ни с одним человеком, живущим в пределах Вашей Империи.

От 1842-го года я не получил из России более десяти писем и сам едва написал столько же; в письмах же сих не было даже и воспоминания о политике¹³². В 1848-м году я надеялся было войти в сношения с русскими, живущими на познанской и галицийской границах; для этого мне была необходима помощь поляков, но с поляками, как я уже несколько раз изъяснял, я не мог или не умел сойтись; сам же не был ни разу ни в Познанском Герцогстве, ни в Кракове, ни в Галиции, а также и не знал ни одного жителя сих провинций, про которого мог бы утвердительно и по совести сказать, что он имел отношения с Царством Польским или с Украиною.

Да и не думаю, чтобы поляки в это время имели частые сношения с по-граничными провинциями Российской империи: они жаловались на трудность сообщений, на живую, непроходимую стену, которою она себя окружила. Доходили же только глухие, большею частью бессмысленные слухи: так например пронесся раз слух о бунте в Москве и о будто бы вновь открытом русском заговоре; другой раз, что будто бы русские офицеры заколотили пушки на варшавской цитадели, и тому подобные пустяки, в которые я, не смотря на все безумие, в которое был сам погружен, никогда не верил.

Все мои предприятия остались в мысли не потому, чтоб я тогда не хотел, но потому, что не мог действовать, не имея ни путей, ни средств для пропаганды. Граф Орлов сказал мне, что правительству было донесено, что будто бы я говорил за границу о своих сношениях с Россией, особенно с Малороссиею. На это я могу сказать только одно: я никогда не любил лгать, а потому и не говорил и не мог говорить о сношениях, которых у меня не было.

Слышал же об Украине от польских помещиков, живущих в Галиции, слышал, что будто бы вследствие освобождения галицийских крестьян в начале 1848-го года и малороссийские крестьяне в Волини, в Подолии, равно как и в Киевской губернии, пришли в такое сильное волнение, что многие помещики, опасаясь за жизнь свою, уехали в Одессу¹³³. Вот решительно все, что я слышал о Малороссии; очень может быть, что потом я публично говорил о сем известии, потому что хватался решительно за все, что хоть несколько могло поддержать или, лучше сказать, пробудить в европейской, особенно же в славянской публике веру в возможность, в необходимость русской революции. Я должен сделать тут одно замечание.

Обреченный предыдущею жизнью, — понятиями, положением, неудовлетворенною потребностью действия, а также и волею на несчастную революционерную карьеру, я не мог оторвать ни природы, ни сердца, ни мыслей своих от России, вследствие этого не мог иметь другого круга действия кроме России, вследствие этого должен был верить или, лучше сказать, должен был заставлять себя и других верить в русскую революцию. То, что в этом письме я сказал о Мицкевиче, может быть, хотя и не в том размере, применено ко мне самому: я был в то же время обманутым и обманщиком, обольщал себя и других, как бы насильствуя мой собственный ум и здравый смысл моих слушателей. По природе я не шарлатан, государь, напротив ничто так не противно мне, как шарлатанизм, и никогда жажда простой, чистой истины не угасала во мне; но неестественное, несчастное положение, в которое я впрочем сам привел себя, заставляло меня иногда быть

шарлатаном против воли. (Отчеркнуто карандашом на полях)

Без связей, без средств, один с своими замыслами посреди чужой толпы, я имел только одну сподвижницу: веру, и говорил себе, что вера переносит горы, разрушает преграды, побеждает непобедимое и творит невозможное, что одна вера есть уже половина успеха, половина победы; совокупленная с сильною волею, она рождает обстоятельства, рождает людей, собирает, соединяет, сливает массы в одну душу и силу; говорил себе, что, веруя сам в русскую революцию и заставив верить в нее других, европейцев, особливо славян, впоследствии же и рус-ских, я сделаю революцию в России возможною, необходимою.

Одним словом я хотел верить, хотел, чтобы верили и другие. Не без труда и не без тяжелой борьбы доставалась мне сия ложная, искусственная, насильственная вера; не раз в уединенных мину-тах находили на меня мучительные сомнения, сомнения я в нравственности, и в возможности моего предприятия; не раз слышался мне внутренний укоряющий голос и не раз повторял я себе сло-ва, сказанные апостолу Павлу, когда он назывался еще Савлом: "Жестоко же есть противу рожна прати". Но все было напрасно: я заглушал в себе совесть и отвергал сомнения как недостойные. Я знал Россию мало, восемь лет жил за границую, а когда жил в России, был так исключительно занят немецкою философиею, что ничего вокруг себя не видел.

К тому же изучение России без особенной помощи правительства трудно, почти невозможно даже и тем, которые стараются знать ее; а изучение простого народа, крестьян, мне кажется, трудно и самому правительству¹³⁴.

За границую, когда внимание мое устремилось в первый раз на Россию, я стал вспоминать, собирать старые, бессознательные впечатления и отчасти из них, отчасти из разных доходивших до меня слухов создал себе фантастическую Россию, готовую к ре-волюции, натягивая или обрезывая на прокрустовской кровати моих демократических желаний каждый факт, каждое обстоятель-ство. Вот каким образом я обманывал себя и других.

Я никогда не говорил ни о своих связях, ни о своем влиянии в России; это бы-ла бы ложь, а ложь была мне противна; но когда вокруг меня предполагали, что я имею влияние, имею положительные связи, я молчал, не противоречил, ибо в этом мнении находил почти единственную опору для своих предприятий. Таким образом дол-жны были произойти многие пустые, ни на чем не основанные слухи, дошедшие вероятно потом и до правительства. (Отчеркнуто карандашом на полях)

Русской пропаганды не было посему и в зародыше, она суще-ствовала только в моей мысли. Но каким образом существовала она в моей мысли? Постараюсь отвечать на этот вопрос со все-возможною искренностью и подробностью. Государь, тяжелы мне будут сии признания! Не то, чтобы я опасался возбудить ими праведный гнев Вашего императорского величества и навлечь на себя казнь жесточайшую; от 1848-го года, особенно же со времени моего заключения, я успел перейти через столько раз-личных положений и впечатлений: ожиданий, горьких опытов и горьких предчувствий, надежд, опасений и страхов, что душа моя наконец скалилась, притупилась, и мне кажется, что и надежда и страх потеряли на нее всякое влияние! Нет, государь, но мне тяжело, совестно, стыдно говорить Вам в глаза о

преступлениях, замысленных мною собственно против Вас и против России, хотя преступления сии были только преступления в мысли, в намерении и никогда не переходили в действие.

Если бы я стоял перед Вами, государь, только как перед царем-судьею, я мог бы избавить себя от сей внутренней муки, не входя в бесполезные подробности. Для праведного применения карающих законов довольно бы было, если бы я сказал: "я хотел всеми силами и всеми возможными средствами вдохнуть революцию в Россию; хотел ворваться в Россию и бунтовать против государя и разрушить в конец существующий порядок.

Если же не бунтовал и не начинал пропаганды, то единственно только потому, что не имел на то средств, а не по недостатку воли". Закон был бы удовлетворен, ибо такое признание доста-точно для осуждения меня на жесточайшую казнь, существующую в России. Но по чрезвычайной милости Вашей, государь, я стою теперь не так перед царем-судьею, как перед царем-исповедником, и должен показать ему все сокровенные тайники своей мысли. Буду же сам себя исповедывать перед Вами; постараюсь внести свет в хаос своих мыслей и чувств, для того чтобы изложить их в порядке; буду говорить перед Вами, как бы говорил перед самим богом, которого нельзя обмануть ни лестью, ни ложью. Вас же молю, государь, позвольте мне позабыть на минуту, что я стою перед великим и страшным царем, перед которым дрожат миллионы, в присутствии которого никто не дерзает не только произнести, но даже и возыметь противного мнения! Дайте мне подумать, что я теперь говорю только перед своим духовным отцом.

Я хотел революции в России. Первый вопрос: почему я же-лал оной? Второй вопрос: какого порядка вещей желал я на место существующего порядка? И наконец третий вопрос: какими средствами и какими путями думал я начать революцию в России?¹³⁵

Когда обойдешь мир, везде найдешь много зла, притеснений, неправды, а в России, может быть, более, чем в других государствах. Не оттого, чтоб в России люди были хуже, чем в Западной Европе; напротив я думаю, что русский человек лучше, добрее, шире душой, чем западный; но на Западе против зла есть лекарства: публичность, общественное мнение, наконец свобода, облагораживающая и возвышающая всякого человека.

Это лекарство не существует в России. Западная Европа потому иногда кажется хуже, что в ней всякое зло выходит наружу, мало что остается тайным. В России же все болезни входят во-внутрь, съедают самый внутренний состав общественного организма. В России главный двигатель—страх, а страх убивает всякую жизнь, всякий ум, всякое благородное движение души. Трудно и тяжело жить в России человеку, любящему правду, человеку, любящему ближнего, уважающему равно во всех людях достоинство и независимость бессмертной души, человеку, терпящему одним словом не только от притеснений, которых он сам бывает жертва, но и от притеснений, падающих на соседа!

Русская общественная жизнь есть цепь взаимных притеснений: высший гнетет низшего; сей терпит, жаловаться не смеет, но зато жмет еще низшего, который также терпит и также мстит на ему подчиненном. Хуже же всех приходится простому народу, бедному русскому мужику, который, находясь на самом низу общественной лестницы, уж никого

притеснять не может и должен терпеть при-теснения от всех по этой русской же пословице: "Нас только ле-нивый не бьет!"

Везде воруют и берут взятки и за деньги творят неправду! — и во Франции, и в Англии, и в честной Германии, в России же, я думаю, более, чем в других государствах. На Западе публич-ный вор редко скрывается, ибо на каждого смотрят тысячи глаз, и каждый может открыть воровство и неправду, и тогда уже ни-какое министерство не в силах защитить вора.

В России же иног-да и все знают о воре, о притеснителе, о творящем неправду за деньги, все знают, но все же и молчат, потому что боятся, и само начальство молчит, зная и за собою грехи, и все заботятся только об одном, чтобы не узнали министр да царь. А до царя далеко, государь, так же как и до бога высоко! В России трудно и почти невозможно чиновнику быть не вором. Во-первых все вокруг него крадут, привычка становится природою, и что прежде приво-дило в негодование, казалось противным, скоро становится есте-ственным, неизбежным, необходимым; во-вторых потому, что подчиненный должен сам часто в том или другом виде платить подать начальнику, и наконец потому, что если кто и вздумает остаться честным человеком, то и товарищи и начальники его возненавидят; сначала прокричат его чудаком, диким, необщественным человеком, а если не исправится, так пожалуй и либералом, опасным вольнодумцем, а тогда уж не успокоятся, прежде чем его совсем не задавят и не сотрут его с лица земли.

Из низ-ших же чиновников, воспитанных в такой школе, делаются со-временем высшие, которые в свою очередь и тем же самым способом воспитывают вступающую молодежь, — и воровство и неправда и притеснения в России живут и растут, как тысячеленный по-лип, которого как ни руби и ни режь, он никогда не умирает¹³⁶.

Один страх противу сей всепоедающей болезни не действите-лен. Он приводит в ужас, останавливает на время, но на короткое время. Человек привыкает ко всему, даже и к страху. Везувий окружен селениями, и самое то место, где зарыты Геркулан и Помпея, покрыто живущими; в Швейцарии многолюдные дерев-ни живут иногда под треснувшим утесом, и все знают, что он каждый день, каждый час может повалиться и что в страшном падении он обратит в прах все под ним обретающееся; я никто не двигается с места, утешая себя мыслью, что авось еще долго не упадет.

Так и русские чиновники, государь! Они знают, сколь гнев Ваш бывает ужасен и Ваши наказания строги, когда до Вас доходит известие о какой неправде, о каком воровстве; и все дро-жат при одной мысли Вашего гнева и все-таки продолжают и красть и притеснять и творить неправду! Отчасти потому, что трудно отстать от старой, закоренелой привычки; отчасти пото-му, что каждый затянут, запутан, обязан другими вместе с ним воровавшими и ворующими ворами; более же всего потому, что всякий утешает себя мыслью, что он будет действовать так осто-рожно и пользуется такою сильною воровскою же протекциею, что никогда его прегрешения не дойдут до Вашего слуха.

Один страх недействителен. Против такого зла необходимы другие лекарства: благородство чувств, самостоятельность мыс-ли, гордая безбоязненность чистой совести, уважение

человече-ского достоинства в себе и в других, а наконец и публичное пре-зрение ко всем бесчестным, бесчеловечным людям, общественный стыд, общественная совесть! Но эти качества, силы цветут толь-ко там, где есть для души вольный простор, [а] не там, где пре-обладает рабство и страх. Сих добродетелей в России боятся, не потому, чтоб их не любили, но опасаясь, чтобы с ними не за-велись и вольные мысли...

Я не смею входить в подробности, государь! Смешно и дерзко было бы, если бы я стал говорить Вам о том, что Вы сами в миллион раз лучше знаете, чем я. Я же мало знаю Россию, и что знал об ней, высказал в своих немногочисленных статьях и брошюрах, а также и в защитительном письме, написанном мною в крепости Кенингштейн.

Я говорил в них часто в выражениях дерзостных и преступных против Вас, государь, в болезненно-горячешном духе и тоне, греша против русской пословицы "из избы сору не выносить", но сообразно своим тогдашним убеж-дениям, так что все ложное и неверное в них может быть при-писано незнанию России, моему немощному уму, а не сердцу.

Более всего поражало и смущало меня несчастное положение, в котором обретається ныне так называемый черный народ, рус-ский добрый и всеми угнетенный мужик. К нему я чувствовал более симпатии, чем к прочим классам, несравненно более, чем к бесхарактерному и блудному сословию русских дворян. На нем основывал все надежды на возрождение, всю веру в великую бу-душность России, в нем видел свежесть, широкую душу, ум свет-лый, не зараженный заморскою порчею, и русскую силу, — и ду-мал, что бы был этот народ, если б ему дали свободу и собствен-ность, если б его выучили читать и писать! и спрашивал, почему нынешнее правительство, самодержавное, вооруженное безгранич-ною властью, неограниченное по закону и в деле никаким чуж-дым правом, ни единою соперничающею силою, почему оно не употребит своего всемогущества на освобождение, на возвыше-ние, на просвещение русского народа¹³⁷.

И много других вопро-сов, связанных с сим главным, основным, представлялись душе моей, и вместо того, чтобы отвечать на них, как должен отвечать на подобные сомнения каждый подданный Вашего императорско-го величества: "Не мое дело рассуждать о сих предметах, знают государь да начальство, мое же дело повиноваться", вместо дру-гого ответа, также не лишеного основания и служащего основа-нием первому: правительство смотрит на все вопросы сверху, об-нимая все в одно время, я же, смотря на них снизу, не могу ви-деть всех препятствий, всех трудностей, обстоятельств и совре-менных условий как внутренней, так и внешней политики, поэто-му и не могу определить удобного часу для всякого действия,— вместо сих ответов я дерзостно и крамольно отвечал в уме и пи-саниях своих:

"Правительство не освобождает русского народа во-первых потому, что при всем всемогуществе власти, неограничен-ной по праву, оно в самом деле ограничено множеством обстоятельств, связано невидимыми путами, связано своею развращен-ною администрациею, связано наконец эгоизмом дворян.

Еще же более потому, что оно действительно не хочет ни свободы, ни просвещения, ни возвышения русского народа, видя в нем только бездушную машину для завоеваний в Европе"! Ответ сей, совер-шенно противный коему верноподданническому долгу, не противо-речил моим демократическим понятиям¹³⁸.

(Отчеркнуто карандашом на полях)

Могли бы опросить меня: как думаешь ты теперь? Государь, трудно мне будет отвечать на этот вопрос!¹³⁹

В продолжение бо-лее чем двухлетнего одинокого заключения я успел многое пе-редумать и могу сказать, что никогда в жизни так серьезно не думал, как в это время: я был один, далеко от всех обольщений, был научен живым и горьким опытом. Еще более усумнился я в истине многих старых мыслей, когда, въехав в Россию, нашел в ней такую человеколюбивую, благородную, сострадательную встречу вместо ожидаемого жестокого и грубого обхождения. На дороге я услышал многое, чего прежде не знал и чему бы за границей никогда не поверил. Многое, очень многое во мне из-менилось; но могу ли сказать по совести, чтобы во мне не оста-лось также и много, много следов старой болезни?

Одну исти-ну понял я совершенно: что правительственная наука и прави-тельственное дело так велики, так трудны, что мало кто в со-стоянии постичь их простым умом, не быв к тому приготовлен особенным воспитанием, особенною атмосферою, близким зна-комством и постоянным обхождением с ними ; что в жизни го-сударств и народов есть много высших условий, законов, не под-лежащих обыкновенной мерке, и что многое, что кажется нам в частной жизни несправедливым, тяжким, жестоким, становится в высшей политической области необходимым ¹⁴⁰.

Понял, что исто-рия имеет свой собственный, таинственный ход, логический, хо-тя и противоречащий часто логике мира, спасительный, хотя и не всегда соответствующий нашим частным желаниям, и что кро-ме некоторых исключений, весьма редких в истории, как бы до-пущенных провидением и освященных признанием потомства, ни один частный человек, как бы искренни, истинны, священны ни казались впрочем его убеждения, не имеет ни призвания, ни пра-ва воздвигать крамольную мысль и бессильную руку против неисповедимых высших судеб. Понял одним словом, что мои соб-ственные замыслы и действия были в высшей степени смешны, бессмысленны, дерзостны и преступны; преступны против Вас, моего государя, преступны против России, моего отечества, пре-ступны против всех политических и нравственных, божественных и человеческих законов! Но возвращусь к своим крамольным, демократическим вопросам.

Я спрашивал себя также: "Какая польза России в ее завое-ваниях? И если ей покорится полсвета, будет ли она тогда сча-стливее, вольнее, богаче? Будет даже сильнее? И не распадется ли могучее русское царство, и ныне уже столь пространное, почти необъятное, не распадется ли оно наконец, когда еще далее рас-пространит свои пределы? Где последняя цель его расширения? Что принесет оно поработленным народам вместо похищенной независимости — о свободе, просвещении и народном благоденствия и говорить нечего, — разве только свою национальность, стеснен-ную рабством!

Но русская или вернее великороссийская нацио-нальности должна ли и может ли быть национальностью целого-мира? Может ли Западная Европа когда [либо] сделаться рус-скою языком, душою и сердцем? Могут ли даже все славянские племена сделаться русскими? Позабыть свой язык,—которого сама Малороссия не могла еще позабыть, — свою

литературу, свое родное просвещение, свой теплый дом, одним словом, для того чтобы совершенно потеряться и "слиться в русском море" по выражению Пушкина? Что приобретут они, что приобретет сама Россия через такое насильственное смешение? Они—то же, что приобрела Белоруссия вследствие долгого подданства у Польши: совершенное истощение и поглупление народа.

А Россия? Россия должна будет носить на плечах своих всю тяжесть сей необъятной, многосложной, насильственной централизации. Россия сделается ненавистна всем прочим славянам так, как теперь она ненавистна полякам; будет не освободительницей, а притеснительницей родной славянской семьи; их врагом против воли, насчет собственного благоденствия и насчет своей собственной свободы, и кончит наконец тем, что, ненавидимая всеми, сама себя возненавидит, не найдя в своих принужденных победах ничего кроме мучений и рабства. Убьет славян, убьет и себя! Таков ли должен быть конец едва только что начинающейся славянской жизни и славянской истории?"¹⁴¹

Государь! Я не старался смягчать выражения! Представил же Вам вопросы, волновавшие тогда мою душу, во всей их сырой наготе, надеясь на Ваше милостивое снисхождение и для того, чтобы хоть несколько объяснить Вашему императорскому величеству, каким образом, идя или, лучше сказать, шатаясь от вопроса к вопросу, от вывода к выводу, я успел отчасти уверить себя в необходимости и нравственности русской революции. (Отчеркнуто карандашом на полях)

Я довольно сказал, чтобы показать, сколь была велика необузданность моей мысли. Теперь же с опасностью погрешить против логики и связи спешу перескочить через множество подобных вопросов и мыслей, приведших меня к окончательному революционному заключению. Трудно, государь, и невероятно как тяжело мне говорить Вам об этих предметах. Трудно потому, что не знаю, каким образом я должен объясняться: если стану смягчать выражения, то Вы можете подумать, что я хочу скрыть или ума-лить дерзость своих мыслей, и что исповедь моя не искренна, не совершенна; если ж стану повторять выражения, которые употреблял, когда находился в самом разгаре политического безумия, то Вы пожалуй подумаете, государь, что я, от чего сохрани меня бог, хочу еще перед Вами самими щеголять вольнодумством. Кроме этого, высчитывая подробно все старые мысли, я должен бы был различать между теми, которые уж совершенно отбросил, и теми, которые отчасти или вполне сохранил, должен бы был вой-ти в бесконечные объяснения, рассуждения, которые были бы здесь не только что неприличны, но совершенно противны духу и единственной цели сей исповеди, долженствующей содержать только простой и нелицемерный рассказ всех моих прегрешений.

(Напрасно боится, личное на меня всегда прощаю от глубины сердца)

Но не так еще трудно, как тяжело мне, государь, говорить Вам о том, что я дерзал думать о направлении и духе Вашего управления, тяжело во всех отношениях: тяжело по положению, ибо я предстою Вам, моему государю, как осужденный преступник, тяжело моему самолюбию: мне так и слышится, что Вы, государь, говорите: "мальчишка болтает о том, чего не знает!" А более всего тяжело моему сердцу, потому что стою перед Вами как блудный, отчуждившийся, развратившийся сын перед оскорбленным и гневным отцом!

Одним словом, государь, я уверил себя, что Россия, для то-го чтобы спасти свою честь и свою будущность, должна совер-шить революцию, свергнуть Вашу царскую власть, уничтожить монархическое правление и, освободив себя таким образом от внутреннего рабства, стать во главе славянского движения: об-ратить оружие свое против императора австрийского, против прусского короля, против турецкого султана и, если нужно бу-дет, также против Германии и против мадьяр, одним словом против целого света, для окончательного освобождения всех славян-ских племен из-под чужого ига.

Половина прусской Шлезни, большая часть Западной и Восточной Пруссии, одним словом все земли, говорящие по-славянски, по-польски, должны были отде-литься от Германии. Мои фантазии простирались и дальше: я думал, я надеялся, что мадьярская нация, принужденная обстоя-тельствами, уединенным положением среди славянских племен, а также своею более восточною чем западною природою, что все молдавы и валахи, наконец даже и Греция войдут в Славянский Союз, и что таким образом созиждется единое вольное восточ-ное государство и как бы восточный возродившийся мир в проти-воположность западному, хотя и не во вражде с оным, и что столицею его будет Константинополь.

Вот как далеко простирались мои революционерные ожида-ния! Впрочем не замыслы моего личного честолюбия, клянусь Вам, государь, и смею надеяться, что Вы сами в том скоро убеди-тесь. Но прежде я должен отвечать на вопрос: какой формы пра-вления я желал для России?142.

Мне будет очень трудно отве-чать на него, так мысли мои на сей счет были неясны и неопре-деленны. Прожив восемь лет за границей, я знал, что я Россию не знал, и говорил себе, что не мне, еще же менее вне самой Рос-сии определять законы и формы для ее нового существования. Я видел, что и в самой Западной Европе, где условия жизни опре-делены уже довольно ясно, где несравненно более самосознания, чем в России, я видел, что даже и там никто не был в состоянии предугадать не только что постоянных форм будущности, но да-же и перемен будущего дня, и говорил себе: теперь Россию никто не знает, ни европейцы, ни русские, потому что Россия молчит; молчит же она не оттого, чтоб ей нечего было говорить, а только потому, что и язык и все движения ее связаны.

Пусть она вос-прянет и заговорит, я тогда мы узнаем, и что она думает и чего она хочет; она сама покажет нам, какие формы и какие учрежде-ния ей нужны. Если бы в то время был возле меня хоть один рус-ский, с которым бы я мог говорить о России, то вероятно в уме моем образовались бы — не говорю лучшие и разумнейшие, [но] по крайней мере более определенные понятия. Но я был совер-шенно один с своими замыслами, тысячи смутных, друг другу противоречащих фантазий толпились в моем уме; я не мог при-вести их в порядок и, убежденный в невозможности выйти из сего лабиринта своею одинокою силою, отлагал разрешение всех вопросов до вступления на русскую почву. (Отчеркнуто карандашом на полях)

Я желал республики. Но какой республики? Не парламент-ской. Представительное правление, конституционные формы, пар-ламентская аристократия и так называемый экилибр (Равновесие) властей, в котором все действующие силы так хитро расположены, что ни одна действовать не может, одним словом весь этот узкий, хит-росплетенный и

бесхарактерный политический катехизис западных либералов никогда не был предметом ни моего обожания, ни моего сердечного участия, ни даже моего уважения; а в это время я стал презирать его еще более, видя плоды парламентских форм во Франции, в Германии, даже на славянском конгрессе, особенно же в польском отделении, где поляки так же играли в парламент, как немцы играли в революцию.

К тому же русский парламент да и польский также был бы только составлен из дворян, — в русский могло бы еще войти купечество, — огромная же масса народа, тот настоящий народ, оплот и сила России, в котором заключается ее жизнь и вся ее будущность, народ, думал я, остался бы без представителей и был бы притеснен и обижен тем же самым дворянством, которое теснит его ныне.

Я думал, что в России более, чем где [либо], будет необходима сильная диктаторская власть, которая бы исключительно занялась возвышением и просвещением народных масс, — власть свободная по направлению и духу, но без парламентских форм; с печатанием книг свободного содержания, но без свободы книгопечатания; окруженная единомыслящими, освещенная их советом, укрепленная их вольным содействием, но не ограниченная никем и ничем. Я говорил себе, что вся разница между таким диктаторством и между монархическою властью будет состоять в том, что первое по духу своего установления должно стремиться к тому, чтобы сделать свое существование как можно скорее ненужным, имея в виду только свободу, самостоятельность и постепенную возмужалость народа; в то время как монархическая власть должна напротив стараться о том, чтобы существование ее не переставало никогда быть необходимым, и потому должна содержать своих подданных в неизменяемом детстве 143.

Что будет после диктаторства, я не знал да и думал, что этого предугадать теперь никто не может. А кто будет диктатором? Могли бы подумать, что я себя готовил на это высокое место. Но такое предположение было бы решительно несправедливо.

Я должен сказать, государь, что кроме экзальтации иногда фанатической, но фанатической более вследствие обстоятельств и неестественного положения, чем от природы, во мне не было ни тех блестящих качеств, ни тех сильных пороков, которые творят или замечательных политических людей или великих государственных преступников. Во мне и прежде и в это время было так мало честолюбия, что я охотно подчинился бы каждому, лишь бы только увидел в нем способность и средства и твердую волю служить тем началам, в которые я верил тогда как в абсолютную истину; и с радостью последовал бы ему и ревностно стал бы повиноваться, потому что всегда любил и уважал дисциплину, когда она основана на убеждении и вере. Я не говорю, чтобы во мне не было самолюбия, но никогда не было оно во мне преобладающим; напротив я должен был преодолевать себя и шел как бы наперекор своей природе, когда собирался или говорить публично или даже писать для публики. Не было во мне и тех огромных пороков *à la Danton* (Вроде Дантона) или *à la Mirabeau* (Вроде Мирабо), того ненасытного, широкого разврату, который для своего утоления готов поставить вверх дном целый мир.

А если во мне и был эгоизм, то он единственно состоял в потребности движения, в потребности действия. В моей природе был всегда коренной недостаток: это—любовь к

фантастическому, к необыкновенным, неслыханным приключениям, к предприятиям, открывающим горизонт безграничный и которых никто не может предвидеть конца. Мне становилось и душно и тошно в обыкновенном спокойном кругу. Люди обыкновенно ищут спокойствия и смотрят на него как на высочайшее благо; меня же оно приводило в отчаяние; душа моя находилась в неусыпном волнении, требуя действия, движения и жизни.

Мне следовало бы родиться где-нибудь в американских лесах, между западными колонистами, там, где цивилизация едва расцветает к где вся жизнь есть беспрестанная борьба против диких людей, против дикой природы, а не в устроенном гражданском обществе. А также, если бы судьба захотела сделать меня смелым моряком, я был бы вероятно и теперь очень порядочным человеком, не думал бы о политике и не искал других приключений и бурь кроме морских.

Но судьба не захотела ни того ни другого, и потребность движения и действия осталась во мне неудовлетворенною. Сия потребность, соединившись впоследствии с демократическою экзальтациею, была почти моим единственным двигателем. Что же касается до последней, то она может быть выражена в немногих словах: любовь к свободе и неотвратимая ненависть ко всякому притеснению, еще более когда оно падало на других, чем на меня самого. Искать своего счастья в чужом счастье, своего собственного достоинства в достоинстве всех меня окружающих, быть свободным в свободе других — вот вся моя вера, стремление всей моей жизни.

Я считал священным долгом восставать против всякого притеснения, откуда бы оно ни происходило и на кого бы ни падало. (Отчеркнуто карандашом на полях)

Во мне было всегда много дон-кихотства, не только политического, но и в частной жизни; я не мог равнодушно смотреть на несправедливость, не говоря уже о решительном утеснении; вмешивался часто, без всякого призвания и права и не давая себе времени обдумать, в чужие дела и таким образом в продолжение своей много волнуемой, но пустой и бесполезной жизни наделал много глупостей, навлек на себя много неприятностей и приобрел себе несколько врагов, сам почти никого не ненавидя. Вот, государь, истинный ключ ко всем моим бессмысленным поступкам, грехам и преступлениям. Я говорю о том с такою уверенностью и так положительно, потому что в последние два года имел довольно досуга на изучение себя, для того чтоб обдумать всю прошедшую жизнь; а теперь смотрю на себя хладнокровно, как может только смотреть умирающий или даже совершенно умерший.

С таким направлением мыслей и чувств я не мог думать о своем собственном диктаторстве, не мог питать в душе своей честолюбивых помыслов¹⁴⁴. Напротив я был так уверен, что погибну в неравной борьбе, что несколько раз даже писал другу Рейхелю, что с ним простился навек; что если я не погибну в Германии, так погибну в Польше, если же не в Польше, так в России. Не раз также говорил немцам и полякам, когда в моем присутствии они спорили о будущих формах правления: "Мы призваны разрушать, а не строить; строить будут другие, которые и лучше, и умнее, и свежее нас". Того же самого надеялся и для России; я думал, что из революционного движения выйдут люди новые, сильные, и что они овладеют им и поведут его к цели. (Отчеркнуто карандашом на полях)

Могли бы спросить меня: как же ты при такой неопределенности мыслей, не зная сам, что выйдет из твоего предприятия, как же ты мог решиться на такую тяжелую вещь, какова русская революция? Разве ты не слышал о Пугачёвском бунте или не знаешь, до какого варварства, до какой зверской жестокости могут дойти русские взбунтовавшиеся мужики? и не помнишь слов Пушкина: "Избави нас бог от русского бунта, бессмысленного и беспощадного"?...

Государь! на этот вопрос, на этот упрек мне будет тяжелее-отвечать, чем на все предыдущие. Оттого тяжелее, что, хотя преступление мое не выходило из области мысли, я в мысли уже и тогда чувствовал себя преступником и сам содрогался от возможных последствий моего преступного предприятия, — и не отказывался от него! Правда, что я старался обманывать себя пустой надеждою на возможность остановить, укротить опьянелую ярость разнуздавшейся толпы; но плохо надеялся, оправдывал же себя софизмом, что иногда и страшное зло бывает необходимым, а наконец утешал себя мыслью, что если и будет много жертв, то и я паду вместе с ними... и бог знает! достало ли бы у меня довольно характера, силы и злости, для того чтобы не говорю совершить, но для того чтобы начать преступное дело?

Бог знает! Хочу верить, что нет, а может быть и да. Чего не делает фанатизм! и недаром же говорят, что в злом деле только первый шаг труден. Я много и долго думал об этом предмете, и до сих пор не знаю, что сказать, а благодарю только бога, что он не дал мне сделаться извергом и палачом моих соотечественников! 145

Насчет средств и путей, которые я думал употребить для пропаганды в России, я также не могу дать определенного ответа

Я не имел и не мог иметь определенных надежд, ибо находился вне всякого прикосновения с Россией; но готов был ухватиться за всякое средство, которое бы мне представилось: заговор в войске, возмущение русских солдат, увлечение русских пленных, если бы такие нашлись, для того чтобы составить из них начаток русского революционного войска, наконец и возмущение крестьян... одним словом, государь, моему преступлению против Вашей священной власти в мысли и в намерениях не было ни границ, ни меры! и еще раз благодарю провидение, что, остановив меня вовремя, оно не дало мне ни совершить, ни даже начать ни одного из моих губительных предприятий против Вас, моего государя, и против моей родины. (Повинную голову меч не сечет, прости ему бог!)

Тем не менее я знаю, что не так само действие, как намерение, делает преступника и, оставив в стороне мои немецкие грехи, за которые [я] был осужден сначала на смерть, потом на вечное заключение в рабочем доме, я вполне и от глубины души сознаю, что более всего я преступник против Вас, государь, преступник против России, и что преступления мои заслуживают казнь жесточайшую!

Самая тяжелая часть моей исповеди кончена. Теперь мне остается исповедывать Вам грехи немецкие, правда более положительные и не ограничившиеся уже одною мыслью, но тем не менее несравненно легче лежащие на моей совести, чем те мысленные против Вас, государь, и против России, которых я окончил подробное и нелicenseрное описание.

Обращусь опять к своему рассказу.

Я искал в то время точки опоры для действия. Не найдя оной в поляках по всем вышеупомянутым причинам, я стал искать ее в славянах. Убедившись также потом, что и в славянском кон-грессе я ничего не найду, я стал собирать людей вне конгресса и составил было тайное общество, первое, в котором я участво-вал, общество под названием "Славянских друзей". В него вош-ло несколько словаков, моравов, кроатов .и сербов. Позвольте мне, государь, не называть их имен; довольно, что кроме меня в нем не участвовал ни один подданный Вашего императорского величества, и что само общество просуществовало едва несколь-ко дней, быв рассеяно вместе с конгрессом пражским восстанием, победою войск и принужденным выездом всех славян из города Праги.

Оно не успело ни организовать, ни даже положить первых оснований для своего действия, но рассеялось во все сто-роны, не условившись ни в сношениях, ни в переписке, так что после этого я не имел и не мог иметь связи ни с одним из его бывших членов, и оно в моих последующих действиях осталось без всякого влияния. Упомянул же я о нем только для того, что-бы не пропустить ничего в моем подробном отчете 147.

Славянский конгресс в последнее время изменил несколько свое направление; отчасти уступая напору поляков, отчасти же и моим содействием, а также и содействием единомыслящих со мною славян он стал двигаться понемногу в духе более обще-славянском, либеральном, не говорю демократическом, и перестал служить особнным видам австрийского правительства¹⁴⁸. Это было его смертным приговором. Пражское восстание было впро-чем произведено не конгрессом, а студентами и партией так на-зываемых чешских демократов¹⁴⁹.

Последние были тогда еще весьма немногочисленны и, кажется, не имели определенного по-литического направления, придерживались же бунту, потому что бунт был тогда в общей моде. В это время я был с ними мало знаком, ибо они почти совсем не посещали заседания конгресса, а находились большею частью вне Праги, а окружных деревнях, где возбуждали мужиков к принятию участия в приготовленном ими восстании. Я ничего не знал ни о их планах, ни даже о замы-шляемом движении и был им столько же поражен, сколько и все прочие члены славянского конгресса. Только вечером накануне назначенного дня, и то неопределенно и смутно, услышал я в первый раз о имевшем быть восстании студентов и рабочего клас-са и вместе с другими уговаривал студентов отказаться от невоз-можного предприятия и не давать австрийскому войску случая к легкой победе.

Явно было, что генерал князь Виндишгрец ничего так ревностно не желал, как такого случая для восстановления упавшего духа солдат и ослабевшей воинской дисциплины, для того чтобы после стольких постыдных поражений подать Европе первый пример победы войск над крамольными массами. Он мно-гими мерами как бы хотел раздражить пражских жителей, явно вызывал их на бунт, а глупые студенты своими неслыханными требованиями, которых ни один генерал не мог бы исполнить, не обесчестившись перед целым войском, подали ему желанный по-вод к началу военных действий.

Я пробыл в Праге до самой капитуляции, отправляя службу волонтера; ходил с ружьем от одной баррикады к другой, не-сколько раз стрелял, но был впрочем во всем этом деле более как гость, не ожидая от него больших результатов. Однако напоследок советовал студентам и другим участвовавшим свергнуть ра-тушу, которая вела тайные переговоры с князем Виндишгрецом, и посадить на ее место военный комитет с диктаторскою властью; моему совету хотели было последовать, но поздно; Прага капи-тулировала, я же на другой день рано отправился обратно в Бреславль, в котором и пробил сей раз, если не ошибаюсь, до пер-вых чисел июля¹⁵⁰.

Описывая впечатление, произведенное на меня первую встре-чею с славянами в Праге, я сказал, что во мне пробудилось тогда славянское сердце и новые славянские чувства, заставившие меня почти позабыть весь интерес, связывавший меня с демократиче-ским движением Западной Европы. Еще сильнее подействовал на меня бессмысленный крик немцев против славян, поднявшийся по распусчении славянского конгресса со всех концов Германии, а более всего во Франкфуртском народном собрании. Это уже был не демократический крик, а крик немецкого национального эго-изма; немцы хотели свободы для себя, не для других. Собрав-шись во Франкфурте, они уже в самом деле думали, что сдела-лись единою и сильною нациею, и что им теперь решать судьбы мира! "Das deutsche Vaterland" ("Немецкое отечество"), существовавшее доселе только в их песнях да еще в разговорах за табаком и за пивом, должно было сделаться отечеством половины Европы. (Превосходно!)

Франкфуртское собрание, вышедшее само из бунта, основанное на бунте и суще-ствовавшее только бунтом, стало уж называть итальянцев и поляков бунтовщиками, смотреть на них как на крамольных и прескупных противников немецкого величия и немецкого всемогуще-ства!

Оно называло немецкую войну за Шлезвиг-Голштейн "stammverwandt und meerumschlungen" ("Соплеменный и морем объятый") святою войною, а войну итальянцев за свободу Италии и предприятия поляков в Герцогстве Познанском преступными! Но сильнее еще обратилась немецкая национальная ярость против славян австрийских, со-бравшихся в Праге. Немцы уже с давних времен привыкли смот-реть на них как на своих крепостных и не хотели им позволить даже и дохнуть по славянски!

В сей ненависти против славян, в сих славянопожирющих криках участвовали решительно все не-мецкие партии; уж не одни только консерваторы и либералы, как против Италии и Польши, демократы кричали против славян громче других: в газетах, в брошюрах, в законодательных и в народных собраниях, в клубах, в пивных лавках, на улице... Это был такой гул, такая неистовая буря, что если бы немецкий крик мог кого убить или кому повредить, то славяне уже давно бы все перемерли.

Перед поездкою в Прагу я пользовался между бреславскими демократами большим почетом, но все мое влияние утратилось и обратилось в ничто, когда по возвращении я стал защищать в демократическом клубе право славян; на меня все вдруг закричали и договорить даже не дали, и (Пора было!)

это была моя последняя попытка красноречия в бреславском клубе да и вообще во всех немецких клубах и публичных собраниях¹⁵⁰а.

Немцы же вдруг опротивели, опротивели до такой степени, что я ни с одним не мог говорить равнодушно, не мог слышать немецкого языка и немецкого голоса, и помню, что когда ко мне раз подошел немецкий нищий мальчишка просить милостыню, я с трудом воздержался от того, чтобы не поколотить его.

Не я один, все славяне, ничуть не исключая поляков, так же чувствовали. Поляки, обманутые французским революционерным правительством, обманутые немцами, оскорбленные немецкими жидами, поляки стали говорить громко, что им остается одно: прибегнуть к покровительству русского императора и просить у него, как милости, присоединения всех польских австрийских и прусских провинций к России.

Таков был общий голос в Познанском Герцогстве, в Галиции и в Кракове; одна только эмиграция противоречила, но эмиграция в то время была почти без влияния. Можно было бы подумать, что поляки лицемерили, хотели только напугать немцев; но они говорили о том не немцам, только между собою, и говорили с такою страстью и в таких выражениях, что я и тогда не мог сомневаться а их искренности, да и теперь еще убежден, что если бы Вы, государь, захотели тогда поднять славянское знамя, то они без условий, без переговоров, но слепо предавая себя Вашей воле, они и всё, (Не сомневаюсь, т.е. я бы стал в голову революции славянским Мазаниелло, спасибо!)

что только говорит по-славянски в австрийских и прусских владениях, с радостью, с фанатизмом бросились бы под широкие крылья российского орла и устремились бы с яростью не только против ненавистных немцев, но и на всю Западную Европу ¹⁵¹. (Жаль что не прислал!)

Тогда во мне родилась странная мысль. Я вздумал вдруг писать к Вам, государь, и начал было письмо; оно также содержало род исповеди, более самолюбивой, фразистой чем та, которую теперь пишу, —

я был тогда на свободе и не научен еще опытом,—но впрочем довольно искренней и сердечной: я каялся в своих грехах; молил о прощении; потом, сделав несколько натянутый и напыщенный образ тогдашнего положения славянских народов, молил Вас, государь, во имя всех утесненных славян притти им на помощь, взять их под свое могучее покровительство, быть их спасителем, их отцом и, объявив себя царем всех славян, водрузить наконец славянское знамя в восточной Европе на страх немцам и всем прочим притеснителям и врагам славянского племени!

Письмо было многосложное и длинное, фантастическое, необдуманное, но написанное с жаром и от души; оно заключало в себе много смешного, нелепого, но также и много истинного, одним словом было верным изображением моего душевного беспорядка и тех бесчисленных противоречий, которые волновали тогда мой ум. Я разорвал это письмо и сжег его, не докончив. Я опомнился и подумал, что Вам, государь, покажется необыкновенно как смешно и дерзко, что я, подданный Вашего императорского величества,

еще же не простой подданный, а государ-ственный преступник, осмелился писать Вам и писать, не ограни-чиваясь мольбою о прощении, но дерзая подавать Вам советы, уговаривая Вас на изменение Вашей политики!.. Я сказал себе, что письмо мое, оставшись без всякой пользы, только скомпроме-тирует меня в глазах демократов, которые неравно могли бы узнать о моей неудачной, странной, совсем не демократической попытке¹⁵². Но более, чем все другие причины, заставили меня отказаться от сего намерения следующие два обстоятельства, встретившиеся странным образом в одно и то же время.

Во-первых я узнал, могу сказать из официального источника, именно от президента полиции в Бреславле (Его фамилия была Ку (Kuh)), что русское прави-тельство требовало моей выдачи от прусского, основываясь на том, что будто бы я с вышеупомянутыми поляками, — с двумя братьями, фамилии которых я прежде никогда не слышал, а те-перь не помню, — намеревался посягнуть на жизнь Вашего им-ператорского величества¹⁵³.

Я уже отвечал на сию клевету и мо-лю Вас, государь, позвольте мне более не упоминать о ней! Во-вторых же слух о моем шпионстве уж не ограничился глупою бол-товнёю поляков, но нашел место в немецких журналах.

Д-р Маркс, один из предводителей немецких коммунистов в Брюсселе, возненавидевший меня более других за то, что я не за-хотел быть принужденным посетителем их обществ и собраний, был в это время редактором "Rheinische Zeitung" ("[Новая] Рейнская Газета"), выходившей в Кельне. Он первый напечатал корреспонденцию из Парижа, в которой меня упрекали, что будто бы я своими доносами погубил много поляков; а так как "Rheinische Zeitung" была любимым чтением немецких демократов, то все вдруг и везде и уже громко говорили о моем мнимом предательстве¹⁵⁴.

С обеих сторон стало мне тесно: в глазах правительств я был злодеем, замышлявшим цареубийство, в глазах же публики — подлым шпионом. Я был тогда убежден, что оба клеветливые слуха происходили из одного и того же источника. Они безвозвратно определили мою участь: я поклялся в душе своей, что не отстану от своих предприятий и не сойду с дороги, раз начатой, и пойду вперед, не оглядыва-ясь, и буду идти, пока не погибну, и что погибелью своею докажу полякам и немцам, что я — не предатель.

После нескольких объяснений, отчасти письменных и личных, отчасти же напечатанных в немецких журналах, не находя более никакой пользы (NB)

ни цели моему пребыванию в Бреславле, я в начале июля отправился в Берлин и пробыл в нем до конца сен-тября¹⁵⁵.

В Берлине виделся часто с французским посланником Эмануэлем Араго¹⁵⁶, встречал у него турецкого посланника, ко-торый неоднократно просил меня посещать его; но я у него не был, не желая, чтобы обо мне говорили, что я каким бы то ни было образом служу турецкой политике против России, в то вре-мя как я желал напротив освобождения славян из под турецкой власти и совершенного разрушения последней.

Видал также мно-гих немецких и польских членов прусского законодательного или конститутивного собрания, большею частью демократов, однако держал себя от всех в

великом отдалении, даже от тех, с кото-рыми был прежде довольно близок в Бреславле: мне все каза-лось, что на меня все смотрят как на шпиона, и я готов был каж-дого за то ненавидеть и от всех удалялся¹⁵⁷.

Никогда, государь, не было мне так тяжело, как в то время; ни прежде, ни потом, ни даже тогда, когда, лишившись свободы, я должен был перейти через все испытания двух криминальных процессов. Тут я понял, сколь тяжело должно быть положение действительного шпиона, или как подл должен быть шпион для того, чтобы переносить рав-нодушно свое существование. Мне было очень тяжело, государь!

К тому же горизонт европейский для меня, демократа, види-мо помрачался. За революцией везде следовала реакция или при-уготовления к реакции. Июньские парижские происшествия¹⁵⁸ имели тяжкие последствия для всех демократов не только в Па-риже, во Франции, но в целой Европе. В Германии еще явных реакционных мер не было, казалось, что все пользовались пол-ной свободой; но те, у которых были глаза, видели, что прави-тельства без шума готовились, совещевались, собирали силы и ожидали только удобного часу, для того чтобы нанести реши-тельный удар, и что они терпели бестолковую болтовню немец-ких парламентов единственно только потому, что еще более ожи-дали себе от них пользы, чем опасались их вредных последствий.

Они не обманулись: немецкие либералы и демократы сами себя убили и сделали им победу весьма легкою. Славянский вопрос также в это время запутался: война бана Елачича в Венгрии ка-залась славянской войною, была предпринята как будто бы толь-ко для того, чтобы защитить словаков и южных славян от нестер-пимых притязаний мадьяр; в сущности же эта война была нача-ло австрийской реакции. Я был в сильном сомнении, не знал, с кем симпатизировать. Елачичу решительно не верил, но и Кошут¹⁵⁹ в это время был еще плохим демократом; он кокетничал с Франкфуртским реакционным собранием и даже был готов помириться с Инспруком и служить ему и против Вены и против поляков и против Италии, если бы только Инспрукский двор за-хотел согласиться на его особенные венгерские требования.

При всем этом я был пригвожден к Берлину безденежьем. Если бы у меня были деньги, то я, может быть, поехал бы в Вен-грию, для того чтобы быть очевидцем, и много листов прибави-лось бы тогда к сей уже и без того многолиственной исповеди! Но денег у меня не было, я не мог пошевелиться с места. Также не было и сношений с славянами; исключая одного незначи-тельного письма Людвигу Штура, на которое я хотел, но не мог от-вечать, ибо не знал его адреса, я не получил из Австрии ни стро-ки и сам ни к кому не писал¹⁶⁰.

Одним словом до самого декаб-ря месяца я оставался в полном бездействии, так что не знаю, что даже и сказать об этом времени, разве только, что я ждал у моря погоды, твердо намереваясь ухватиться за первую воз-можность для действия. В каком же духе я хотел действовать, Вы уже знаете, государь. Это было для меня самое тяжелое вре-мя. Без денег, без друзей, прокритан как шпион, один посреди многолюдного города, я не знал, что делать, за что приняться, а иногда даже не знал, чем и как буду жить на другой день. Не одним безденежьем был я связан, я был пригвожден к Берлину, к Пруссии и вообще к северной Германии еще и клеветливыми слухами, распространившимися на мой счет; и хотя

политические обстоятельства уже видимо изменились и были такого рода, что я почти совсем перестал ожидать и надеяться, однако я не мог и не хотел возвратиться в Париж, единственное прибежище, которое мне оставалось, не доказав сперва на живом деле искренность своих демократических убеждений. Я должен был выдержать до конца, для того чтобы спасти свою запятнанную честь. (NB)

Я сделался зол, нелюдим, сделался фанатиком, был готов на всякое головомное, только не подлое предприятие и весь как бы превратился в одну революционерную мысль и в страсть разрушения.

В конце сентября вероятно по требованию русского посольства, не подав впрочем сам к тому ни малейшего повода, я был принужден оставить Берлин¹⁶¹. Возвратился [я] в Бреславль, но в начале же октября был принужден оставить Бреславль (В Бреславле, равно как и я Берлине, демократы готовились было к вооруженному отпору против первых реакционных мер прусского правительства. Никогда, может быть, не была прусская Шлезия так готова к все-общему народному восстанию, как именно в это время. Я видел сии приуготовления, радовался им, но сам не принимал в них участия, ожидая более решительных обстоятельств". (Примечание М. Бакунина.)

и вообще все прусские владения с угрозой, что если я возвращусь, то меня выдадут русскому правительству. Я, разумеется, после такой угрозы уж и не пробовал возвращаться. Хотел остановиться в Дрездене, но и оттуда был изгнан — по недоразумению, как сказал потом министр, и на основании древнего требования российского посольства. (NB)

Таким образом гонимый из края в край, я утвердился наконец в Ангальт-Кэтенском царстве, которое странным образом, находясь посреди прусских владений, пользовалось тогда вольнейшею конституциею не только в Германии, но, я думаю, в целом мире и сделалось вследствие того, хоть и ненадолго, убежищем для политических изгнанцев¹⁶².

Я нашел в Кэтене несколько старых знакомых, с которыми учился вместе в Берлинском университете. Там были также и законодательное и народные собрания и клуб и Ständchen и Katzenmusik (Серенады и кошачьи концерты), ни в сущности никто почти не занимался политикою, так что до половины ноября я с своими знакомыми не знал почти других занятий кроме охоты на зайцев и на других диких зверей. Это было для меня время отдыха.

Мой отдых продолжался недолго. Судьба готовила мне грозной отдых в крепостном заключении. Еще в октябре месяце, когда бан Елачич, миновав Пешт (В оригинале "Пест" (Будапешт)), пошел прямо на Вену, а генерал князь Виндишгрец оставил с войсками Прагу, я хотел было ехать в сей последний город, желая возбудить чешских демократов к вторичному восстанию. Однако раздумал и остался в Кэтене¹⁶³. Раздумал же потому, что не имел еще сношений с Прагой и не знал, какие перемены могли произойти там после июньских дней и какое было тогда направление умов; с демократами был плохо знаком и не надеялся на успех, ожидал же на-против сильного противодействия со стороны чешско-конституционной партии Палацкого¹⁶⁴.

В Праге, думал я, меня уже давно успели забыть, и отчасти для того, чтобы напомнить о себе пражским жителям, и для того, чтобы дать по возможности славянскому движению направление другое, более сообразное с моими собственными как славянскими, так и демократическими ожиданиями, отчасти же для того, чтобы доказать полякам и немцам, что я — не русский шпион, и проложить себе дорогу к новому сближению с ними, я начал писать воззвание к славянам "Aufruf an die Slaven", которое и было напечатано потом в Лейпциге¹⁶⁵.

Оно находится также в числе обвинительных документов¹⁶⁶.

Я писал его долго, более месяца; откладывал, потом опять за него принимался, несколько раз изменял и долго не решался печатать. Я не мог выразить в нем чисто и ясно своей славянской мысли, потому что хотел опять сблизиться с немецкими демократами, считая сближение сие необходимым, и должен был лавировать между славянами и немцами, — род плавания, к которому у меня не было ни большой способности, ни привычки, а еще менее охоты. Я хотел убедить славян в необходимости сближения с германскими, равно как и с мадьярскими демократами. Обстоятельства уже были не те, как в мае: революция ослабла, реакция везде усилилась, и только соединенными силами всех европейских демократий (В оригинале "демократий") можно было надеяться победить реакционный союз правителей.

В ноябре вслед за венскими происшествиями было распущено также насильственным образом Прусское конститутивное собрание¹⁶⁷.

Вследствие сего в Кэтене собралось несколько бывших депутатов и между прочими Гекзамер и Дестер¹⁶⁸, члены центрального комитета всех демократических клубов в Германии. Комитет сей был впрочем не тайный, быв избран незадолго перед тем в публичных заседаниях демократического конгресса в Берлине. Но он стал вскоре основывать тайные общества в целой Германии, и можно сказать, что немецкие тайные общества начались только с этого времени.

Без всякого сомнения существовали и прежде некоторые, а именно коммунистические, но они оставались решительно без всякого влияния. До ноября месяца все делалось публично в Германии: и заговоры и бунты и приуготовления к бунтам, и всякий мог знать о них, кто только хотел.

Избалованные революцией, как бы упавшею с неба без всякого усилия с их стороны, почти без кровопролития, немцы долго не могли убедиться в возраставшей силе правительств и в своем собственном бессилии; они болтали, пели, пили, были ужасны на словах, дети в деле, и думали, что свободе их не будет конца, и что стоило им только немного поморщиться, для того чтобы привести все правительства в трепет. Происшествия в Вене, в Берлине научили их однако противному; тут они поняли, что для удержания легко приобретенной свободы они должны были принять меры более серьезные, и вся Германия стала готовиться тайно к новой революции^{168а}.

Я Дестера и Гекзамера видел в первый раз в Берлине, но тогда еще был мало с ними знаком, ибо удалялся от них, равно как и от всех прочих людей, немцев и поляков. В Кэтене познакомился с ними ближе; они сначала мне не доверяли, думая в самом деле, что я—шпион; потом однако поверили. Я с ними много говорил и спорил о славянском вопросе; долго не мог убедить их в необходимости для немцев отказаться от всех притязаний на славянские земли; наконец успел убедить их и в этом.

Таким образом начались наши политические сношения — первые положительные сношения с определенной целью, которые я имел с немцами да и вообще с какою бы то ни было действующею политическою партией. Они мне обещали употребить все свое влияние на немецких демократов, для того чтобы искоренить из оных ненависть и предубеждения против славян; я же им обещал действовать в таком же духе на последних. Сим ограничались на первый раз наши взаимные обязательства. Так как они уже меня не боялись, то я знал об их замыслах, приуготовлениях, об образовании тайных обществ, слышал также и о только что тогда начинавшихся сношениях с иностранными демократами, но решительно сам не вмешивался в их дела, даже не хотел спрашивать, опасаясь возбудить в них новые подозрения. Сам же спешил окончить "Воззвание к славянам", которое и напечатал вскоре потом в Лейпциге.

В конце декабря отчасти для того, чтобы быть ближе к Богемии и жить в городе, представляющем более средств для сношений со всеми пунктами, чем Кэтен, отчасти же и потому, что [я] услышал, что прусское правительство намеревалось перехватить всех удалившихся в сей последний, я вместе с Гекзамером и Дестером переселился в Лейпциг¹⁶⁹.

Там случайно познакомился с несколькими молодыми славянами, имена и качества которых подробно изочтены в австрийских обвинительных документах. Между ними находились два брата: Густав и Адольф Страка, чехи, учившиеся тогда богословию в Лейпцигском университете. Они оба — добрые и благородные молодые люди, прежде знакомства со мной не думавшие о политике, хотя были оба — и ревностные славяне, и их погибель, мной одним причиненная, есть великий грех на моей душе. Прежде моего приезда в Лейпциг они были мнения совершенно противоположного моему, большие почитатели Елачича; к их несчастью я встретился с ними, увлек их, переменял их образ мыслей, оторвал от мирных занятий и уговаривал их быть орудиями моих предприятий в Богемии; и теперь, если бы мог облегчить их участь ухудшением моей собственной, я с радостью понес бы на себе их наказание. Но все это поздно! Кроме их впрочем на моей душе не было ни прежде, ни в это время, ни потом ни одного увлеченного. Только за них я должен отвечать богу.

Через них именно я узнал, что мое "Воззвание к славянам" нашло сильный отголосок в Праге¹⁷⁰; что даже отрывок из него был переведен и напечатан в одном демократическом чешском журнале, редактором которого был д-р Сабина¹⁷¹. Это породило во мне мысль созвать некоторых чехов и несколько поляков в Лейпциг на совещание и на уразумение с немцами, с целью положить первое основание для общего революционного действия. Вследствие сего я послал Густава Страку в Прагу с поручением к Арнольду, также редактору одного демократического чешского листа (Газеты)¹⁷², и к Сабине ("Я должен тут заметить, что я с Густавом Страка послал также и адрес к "Славянской Липе", чешскому

более или менее демократическому клубу¹⁷³, но что Сабина удержал он у себя, найдя его слишком опасным". (Примечание М. Бакунина.) , которых впрочем знал тогда только одни имена, не быв еще знаком с ними лично¹⁷⁴.

Писал также в Герцогство Познанское тем из моих польских знакомых, от которых более чем от других мог надеяться сочувствия и содействия. Но из поляков решительно никто не приехал, даже никто не отвечал мне; из Праги же приехал только один Арнольд, не дозволивший Страже позвать также и Сабину — отчасти потому, что не доверял ему, отчасти же, я думаю, и по мелкой зависти¹⁷⁵. Все сии обстоятельства, открытые впрочем не мною, по самим Арнольдом и братьями Страка, подробно изложены в австрийских обвинительных актах¹⁷⁶. Я не буду входить, государь, в мелочные подробности, необходимые в инквизиционном следствии для открытия истины, но ненужные и неуместные в самовольной и простосердечной исповеди. Упомяну же в продолжение сего рассказа только о тех обстоятельствах, которые необходимы для связи, или о тех существенных фактах, которые остались неизвестными обеим следственным комиссиям.

Приступая к описанию последнего акта моей печальной революционной карьеры, я должен сначала оказать, чего я хотел, потом стану описывать сами действия.

Моя политическая горячка, раздраженная и разгоряченная предыдущими неудачами, нестерпимостью моего странного положения, а наконец и победою реакции в Европе, достигла в то время своего высочайшего пароксизма: я был весь превращен в революционное желание, в жажду революции и был, я думаю, между всеми червленными республиканцами и демократами червленнейшим. План мой был следующий.

Немецкие демократы готовили всеобщее повстанье Германии к весне 1849 года. Я желал, чтобы славяне соединились с ними, а равно и с мадьярами, находившимися уже тогда а явном и решительном бунте против императора австрийского ¹⁷⁷.

Желал, чтобы они соединились как с теми, так и с другими, не для того чтобы слиться с Германиею или покориться мадьярам, но для того чтобы вместе с торжеством революции в Европе утвердилась также и независимость славянских племен. Время же казалось удобно для такого уразумения; мадьяры и немцы, наученные опытом и нуждаясь в союзниках, были готовы отказаться от прежних притязаний. Я надеялся, что поляки согласятся быть посредниками между Кошутом и славянами венгерскими, и хотел взять на себя посредничество между славянами и немцами. Я желал, чтобы центром и главою сего нового славянского движения была Богемия, а не Польша. Желал того по многим причинам: во-первых потому, что вся Польша была так истощена и деморализована предыдущими поражениями, что я не верил в возможность ее освобождения без чужой помощи, в то время как Богемия, почти еще не тронутая реакцией, пользовалась в то время полною свободою, была сильна, свежа и заключала в себе все нужные средства для успешного революционного движения.

Кроме этого я не желал, чтобы поляки стали во главе предполагаемой революции, боясь, что они или дадут ей характер тесный, исключительно польский, или даже пожалуй, если им это покажется нужно, предадут прочих славян своим старым союзникам, западно-

европейским демократам, а еще легче мадьярам. Наконец я знал, что Прага есть как бы столица, род Москвы для всех австрийских, польских славян, и надеялся, я думаю, не без основания, что если Прага восстанет, то и все прочие славянские племена последуют ее примеру и увлекутся ее движением — наперекор Елачичу и другим, впрочем не столь многочисленным, приверженцам австрийской династии.

Итак от немцев я ожидал согласия, симпатии, а если нужно будет, так и вооруженной помощи против прусского правительства, которое, увлекшись российским примером и опасаясь заразы, не захотело бы вероятно быть бездейственным зрителем революционного пожара в Богемии. От поляков ожидал посредничества с мадьярами, участия, офицеров, а более всего денег, которых у меня не было и без которых всякое предприятие становится невозможным. Но мои главные ожидания и надежды сосредоточивались на Богемии.

Я надеялся еще более на богемских, чешских, равно как и немецких крестьян, чем на Прагу, чем на городских жителей вообще 178.

Огромная ошибка немецких да сначала также и французских демократов состояла по моему мнению в том, что пропаганда их ограничивалась городами, не проникала в села; города, как бы сказать, стали аристократами, и вследствие того села не только остались равнодушными зрителями революции, но во многих местах начали даже являть против нее враждебное расположение. А ничего, казалось, не было легче, как возбудить революционный дух в земледельческом классе,—особливо в Германии, где еще существовало так много остатков древних феодальных постановлений, удручающих землю, не исключая также и самой Пруссии, которая при общей свободе собственности и людей сохранила в некоторых провинциях, напр. в Шлезии (Силезии), следы прежнего подданства (Крепостной зависимости), и в которой возле впрочем довольно многочисленного класса вольных собственников существует класс еще многочисленнейший неимущих крестьян, так называемых Hufner (Безземельный крестьянин) и даже совсем бездомных людей.

Но нигде земледельческий класс не был так склонен к революционному движению, как в Богемии. В Богемии до 1848 года феодализм существовал еще во всей полноте, со всеми его тягостями и притеснениями: господские суды, феодальные налоги и сборы, десятины и другие духовные повинности подавляли собственность имущих крестьян. Класс же неимущих был еще многочисленнее, и положение его тягостнее, чем в самой Германии. К тому же в Богемии есть много фабрик, а вследствие того и много фабричных работников, а фабричные работники как бы судьбою призваны быть рекрутами демократической пропаганды.

В 1848-ом году все притеснения, предметы вечных неудовольствий и жалоб крестьян, все старые налоги, многосложные обязательства и работы остановились; остановились вместе с дряхлою жизнью политического организма австрийской монархии. Но только остановились, не уничтожились. За притеснением последовала анархия. Правительство, испуганное, совсем потерявшееся, хватавшееся решительно за все, чтобы спасти себя от совершенного потопления, вспомнило свою демократическую уловку 1846 года в Галиции и объявило вдруг без всяких предварительных мер неограниченную и безусловную свободу собственности и крестьян.

Агенты его покрыли богемскую землю, проповедуя благость правительства. Но в Богемии отношения совсем не те, как в Галиции. В Богемии притесняющий и ненавидимый класс богатых собственников, дворян, аристократии состоит не из польских заговорщиков, а из немцев, душою и телом преданных австрийской династии, преданных еще более австрийскому старому, столь для них выгодному порядку вещей. Народ перестал ходить на барскую работу, не захотел также и платить других податей кроме государственных да и те платил скрепя сердце, совсем не охотно. Класс собственников, дворяне, аристократия, одним словом все, что составляет собственно австрийскую партию в Богемии, обнищало, обессилело; и при всем том правительство не приобрело ничего, ибо народ, всегда охотно следовавший учению чешских патриотов, не возымел к нему за великий подарок свободы, сделанный не вовремя, ни особенной любви, ни благодарности. Напротив [он] не доверял правительству, слыша, что оно находилось под влиянием аристократии, и опасаясь беспрестанно, чтобы оно не вздумало возвратить его вновь к старому подданству. Наконец необыкновенные рекрутские наборы, повторенные несколько раз в продолжение одного года, пробудили в богемском народе всеобщий ропот и совершенное неудовольствие. При таком расположении легко было подвигнуть его к восстанию.

Я желал в Богемии революции решительной, радикальной, одним словом такой, которая, если бы она и была побеждена впоследствии, однако успела бы все так перевернуть и поставить вверх дном, что австрийское правительство после победы не нашло бы ни одной вещи на своем старом месте. Пользуясь тем благоприятным обстоятельством, что все дворянство в Богемии да и вообще весь класс богатых собственников состоит исключительно из немцев, я хотел изгнать всех дворян, все враждебно расположенное духовенство и, конфисковав без разбора все господские имения, отчасти разделить их между неимущими крестьянами для поощрения сих к революции, отчасти же превратить их в источник для чрезвычайных революционных доходов.

Хотел разрушить все замки, сжечь в целой Богемии решительно все процедуры, все административные, равно как и судебные, как правительственные, так и господские бумаги и документы, и объявить все ипотеки, а также и все другие долги, не превышающие известную сумму, напр. 1000 или 2000 гульденов, заплаченными.

Одним словом революция, замышляемая мною, была ужасна, беспримерна, хоть и обращена более против вещей, чем против людей. Она бы в самом деле все так перевернула, так бы въелась в кровь и в жизнь народа, что, даже победив, австрийское правительство не было бы никогда в силах ее искоренить, не знало бы, что начинать, что делать, не могло бы ни собрать, ни даже найти остатков старого навек разрушенного порядка и никогда бы не могло помириться с богемским народом. Такая революция, уже не ограничивающаяся одною национальностью, увлекла бы своим примером, своею червленною пропагандою не только Моравию и австрийскую Шлезию, но также и прусскую Шлезию да и вообще все пограничные немецкие земли, так что и германская революция, бывшая до тех пор революцией городов, мещан, фабричных работников, литераторов и адвокатов, сама бы превратилась в общенародную.

Но сим не ограничивались мои замыслы. Я хотел превратить всю Богемию в революционный лагерь, создать в ней силу, способную не только охранять революцию в

самом краю, но и действовать наступательно, вне Богемии, возмущая на пути все славянские племена, призывая все народы к бунту, разрушая все, что только носит на себе печать австрийского существования, — идти на помощь мадьярам, полякам, воевать одним словом против Вас самих, государь!¹⁷⁹.

Моравия, издавна связанная с Богемиею своими историческими воспоминаниями, обычаями, языком и никогда не перестававшая смотреть на Прагу как на свою столицу, а тогда находившаяся с ней еще и в особенной связи посредством своих клубов, Моравия, думал я, необходимо последует за богемским движением. С нею вместе увлекутся также и словаки и австрийская Шлезия. Таким образом революция обоймет край пространный, богатый средствами, центром которого будет Прага.

В Праге должно заседать революционное правительство с неограниченной диктаторскою властью. Изгнаны дворянство, все противоборствующее духовенство, уничтожена в прах австрийская администрация, изгнаны все чиновники, и только в Праге сохранены некоторые из главных, из более знающих для совета и как библиотека для статистических справок. Уничтожены также все клубы, журналы, все проявления болтливой анархии, все покорены одной диктаторской власти. Молодежь и все способные люди, разделенные на категории по характеру, способностям и направлению каждого, были бы разосланы по целому краю, для того чтобы дать ему провизорную революционерную и воинскую организацию. Народные массы должны бы были быть разделены на две части: одни, вооруженные, но вооруженные кое-как, оставались бы дома для охранения нового порядка и были бы употреблены на партизанскую войну, если бы такая случилась. Молодые же люди, все неимущие, способные носить оружие, фабричные работники и ремесленники без занятий, а также и большая часть образованной мещанской молодежи, составила бы регулярное войско, не Freischaren

(Волонтерские отряды), но войско, которое должно бы было формировать с помощью старых польских офицеров, а также и посредством отставных австрийских солдат и унтер-офицеров, возвышенных по способностям и по рвению в разные офицерские чины.

Издержки были бы огромные, но я надеялся, что они покроются отчасти конфискованными имениями, чрезвычайными налогами и ассигнациями вроде коштутовских. У меня был на то особенный, более или менее фантастический финансовый проект излагать который здесь было [бы] не у места ¹⁸⁰.

Таков был план, придуманный мною для революции в Богемии. Я изложил его в общих чертах, не входя в дальнейшие подробности, ибо он не имел даже и начала осуществления, никому не был известен или известен только весьма малыми, самыми невинными отрывками; существовал же только в моей повинной голове, да и в ней образовался не вдруг, а постепенно, изменяясь и пополняясь сообразно с обстоятельствами. Теперь же, не останавливаясь на политической и нравственной ни на политически-криминальной критике сего плана, я должен Вам показать, государь, какие у меня были средства для приведения в действие таких огромных замыслов ¹⁸¹.

Во-первых я приехал в Лейпциг, не имея [ни] копейки денег, не имел даже довольно для своего собственного бедного пропитания, и если бы мне Рейхель не прислал вскоре малую сумму, то я не знал бы решительно, чем и как жить, ибо для своих предприятий я по совести мог просить и требовать денег у других, но не для себя.

Деньги мне были необходимы. "Sans argent point de suisses!" ("Без денег нет швейцарцев"), говорит старая французская пословица, а я должен был создать решительно все: сношения с Богемиею, сношения с мадьярами, должен был создать в Праге партию, соответствующую моим желанием, на которую бы я мог потом опереться для дальнейшего действия. Я говорю "создать", ибо когда я приехал в Лейпциг, не было еще даже и тени начала какого-либо действия, все же существовало только в моей мысли.

От Дестра и Гекзамера я денег требовать не мог; их средства были весьма ограничены, несмотря на то, что они вдвоем составляли Центральный демократический комитет для целой Германии; они собирали род налога со всех немецких демократов, но он был недостаточен даже для того, чтобы покрыть их собственные политические расходы. Я надеялся на поляков, но поляки на мой зов не приехали. Мои новые отношения с ними, а именно с польскими демократами, начались в Дрездене, и я могу сказать по совести, что до самого марта 1849 года я никогда в жизни не имел политических связей с поляками, да и те, в которые я было вошел с ними в марте месяце, не успели развиться. Итак денег у меня не было, а без денег мог ли я что предпринять? Хотел я было ехать в Париж отчасти за деньгами, отчасти чтобы войти в сношения с французскою и польскою демократиями, а наконец и для того, чтобы познакомиться там с графом Телеки, бывшим посланником или вернее агентом Кошута при французском правительстве, и войти через него в сношения с самим Кошутым; но обдумав, отказался от сей мысли, отказался от нее по следующим причинам. Мне было известно, именно через моего Друга Рейхеля, что вследствие клеветливой корреспонденции в "Rheinische Zeitung" ("[Новая] Рейнская Газета"), французские демократы также усумнились во мне. Когда было напечатано мое "Воззвание к славянам", я послал один экземпляр Флокону и приложил длинное письмо¹⁸².

В этом письме я ему изложил сообразно моим тогдашним понятиям положение Германии и положение славянского вопроса; извещал его о моем уразумении и полном согласии с центральным обществом немецких демократов, о готовившейся второй революции в Германии и о моих намерениях касательно славян и Богемии в особенности; уговаривал его прислать в Лейпциг, куда собирался ехать, поверенного французского демократа для приведения в связь предполагаемого германо-славянского движения с французским; наконец упрекал его в том, что он мог поверить клеветливым слухам, и кончал письмо торжественным объявлением, что как единственный русский в лагере европейских демократов я должен хранить свою честь строже, чем всякий другой, и что если он мне теперь не будет отвечать и не докажет положительным действием, что он безусловно верит в мою честность, я почту себя обязанным прервать с ним все отношения.

Флокон мне не ответил и никого не прислал, а вероятно для того, чтобы показать мне свою симпатию, перепечатал все "Воззвание" мое в своем журнале; то же самое сделали и поляки в своем журнале "Demokrata Polski"; но я ни того ни другого в Лейпциге не читал¹⁸³, принял же молчание Флокона за оскорбительный знак недоверия, а потому и не мог

решиться даже и для цели, которую считал священной, искать с ним, равно как и с его партией, нового сближения, не говоря уже о польских демократах, которые были если и не первыми изобретателями, то без сомнения главными распространителями моего незаслуженного бесчестия¹⁸⁴.

При таковых отношениях с французами и поляками я не обещал себе также и большой пользы от знакомства с графом Телеки, зная, что он находился в тесной дружбе с польскою эмиграцией. Таким образом, раздумав, я убедился, что поездка в Париж будет только пустою тратою времени; время же было драгоценно, ибо до весны оставалось уже немного месяцев. Итак я должен был отказаться и на сей раз от всякой надежды на связи и на средства широкие, должен был удовольствоваться для всех издержек добровольною помощью бедных лейпцигских, а потом и дрезденских демократов, и не думаю, чтобы в продолжение всего времени от января до мая 1849-го года я издержал более 400, много 500 талеров. Вот какими денежными средствами я хотел поднять всю Богемию! Теперь же перейду к своим связям и действиям¹⁸⁵.

В заграничных показаниях своих я несколько раз объявлял, что я никаким образом не участвовал в приуготовительных действиях немецких демократов для революции в Германии вообще и Саксонии в особенности. И теперь должен по совести и сообразно с чистою истиною повторить то же самое¹⁸⁶. Я желал революции в Германии, желал ее всем сердцем; желал как демократ, желал и потому, что в моих предположениях она должна была быть знаком и как бы точкою отправления для революции богемской; но сам решительно никаким образом не способствовал к ее успеху, разве только тем, что ободрял и поощрял к ней словами всех знакомых мне немецких демократов, но не посещал ни их клубы, ни их совещания¹⁸⁷, не спрашивал ни о чем, афектировал равнодушие и не хотел даже и слышать о их приготовлениях, хотя и слышал многое почти поневоле; сам же был исключительно занят пропагандою в Богемии. От немцев я ожидал и требовал только двух вещей.

Во-первых, чтобы они совершенно изменили свои отношения и чувства к славянам, чтобы публично и громко выразили свою симпатию к славянским демократам и в положительных выражениях признали славянскую независимость.

Такая демонстрация мне казалась необходимою, необходимою для того, чтобы связать самих немцев положительным и громко выраженным обязательством; для того, чтобы подействовать сильно на мнение всех прочих европейских демократов и заставить их смотреть на славянское движение глазами другими, более симпатическими; необходимою наконец и для того, чтобы победить закоренелую ненависть славян против немцев и ввести их таким образом как союзников и друзей в общество европейских демократий.

Я должен сказать, что Дестер и Гекзамер сдержали вполне данное ими мне слово, ибо в короткое время и единственно только их старанием почти все немецкие демократические журналы, клубы, конгрессы заговорили вдруг совершенно иным языком и в самых решительных выражениях об отношениях Германии к славянам, признавая вполне и безусловно право последних на независимое существование, призывая их к соединению на общеевропейское революционерное дело, обещая им союз и помощь против франк-фуртских

притязаний, равно как и против всех других немецких реакционерных партий.

Такая сильная, единодушная и совсем неожиданная демонстрация произвела и на других желаемое действие: не только польские демократы, но [и] французские демократы, французские демократические журналы и даже итальянские демократы в Риме заговорили также о славянах как о возможных и желанных союзниках¹⁸⁸. Славяне же с своей стороны, и именно чешские демократы, пораженные и обрадованные сею внезапною переменою, в свою очередь также стали выражать в чешских журналах свою симпатию к европейским и даже к немецким и мадьярским демократам. Таким образом первый шаг к сближению был сделан.

Но это было не все; надо было победить ненависть богемских немцев к чехам, не только смягчить их враждебные чувства, но уговорить их соединиться с чехами, на общее революционерное дело. Задача не легкая, ибо ненависть бывает всегда там сильнее и глубже, где она происходит между племенами, живущими близко и находящимися друг с другом в беспрестанном соприкосновении. К тому же ненависть между немцами и чехами в Богемии была ненависть свежая, основанная на животрепещущих воспоминаниях, разъяренная и растравленная неусыпными стараниями австрийского правительства.

Она пробудилась в первый раз в начале революции 1848-го года вследствие двух противоположных, друг друга уничтожавших направлений обеих национальностей. Чехи, составляющие две трети богемского народонаселения, хотели и с полным правом хотели, говорю я, чтобы Богемия была исключительно славянскою в совершенной независимости от Германии; а потому и не хотели посылать депутатов в Франкфуртское собрание. Немцы же напротив, основываясь на том, что Богемия всегда принадлежала к Германскому Союзу и с давних времен составляла интегральную часть древней Германской Империи, требовали ее окончательного соединения, слияния с вновь возрождавшеюся Германией. Чехи не хотели и слышать о венском министерстве; немцы кроме венских министров не хотели признавать никакой другой власти. Таким образом произошла распря жестокая, поджигаемая с одной стороны Инспруком, с другой же венским правительством; так что, когда в июне 1848-го года Прага восстала, немцы поднялись со всех сторон немецкой Богемии и ринулись вольными толпами (Freischaren) на помощь австрийским войскам. Впрочем генерал князь Виндишгрец принял их довольно холодно и, поблагодарив, отпустил их домой¹⁸⁹. С тех пор вражда между чехами и немцами никогда не переставала, и ее победить было нелегко. Гекзамер и Дестер были мне в этом отношении очень полезны, равно как и саксонские демократы: они несколько раз посылали от своего имени агентов в немецкую часть Богемии, на которую действовали постоянно и неусыпно также и посредством демократов, обитавших на всей саксонской границе, так что к маю уже множество немцев в Богемии были обращены в новую веру, и хотя я и не имел с ними непосредственных отношений, знаю однако, что многие готовы были соединиться с чехами для общей революции. Сим ограничили мои отношения с немецкими демократами, в их же собственные дела, повторяю еще раз, я не вмешивался. Теперь обращаюсь к чехам.

Арнольд приехал один на мой зов в Лейпциг. Впрочем я был рад и тому, быв уж научен довольствоваться немногим. Он пробыл в Лейпциге всего только сутки, несмотря на все мое старание удержать его долее. В такое короткое время я не мог ни расспросить его

хорошенько о Богемии и Праге, ни передать ему вполне свои мысли. К тому же три четверти сего времени по край-ней мере были употреблены на бесполезные переговоры с Дестером и Гекзамером: они было вздумали созвать в Лейпциге пуб-лично славяно-германский конгресс, — даже в это время немцы не могли еще совершенно излечиться от несчастной страсти к кон-грессам, — но я решительно воспротивился сему нелепому проек-ту. На серьезные переговоры глаз на глаз с Арнольдом мне оста-лось всего четыре, много пять часов; я старался воспользо-ваться ими, сколько было возможно, для того чтобы уговорить Ар-нольда быть моим соучастником, действовать со мной заодно, в моем направлении и духе¹⁹⁰.

Опираясь на все вышеупомянутые причины, доводы и аргу-менты, я старался убедить его в необходимости ускорить рево-люцию в Богемии; а для достижения сей цели, зная, что он имел сильное влияние на чешскую молодежь, на чешское бедное ме-щанство, особенно же на чешских мужиков, которых он знал хо-рошо, быв долгое время управляющим имений графа Рогана¹⁹¹, и для которых теперь писал почти исключительно в своем демо-кратическом, простонародном журнале, я просил его употребить это влияние на революционерную пропаганду. Просил его орга-низовать сначала в Праге, а потом в целой Богемии тайное обще-ство, план для которого, мною одним созданный, был у меня уже готов. План сей в своих главных чертах был следующий.

Общество должно было состоять из трех отдельных, друг от друга независимых и друг о друге не знающих обществ, под раз-ными названиями: одно общество для мещан, другое для моло-дежи, третье для сел. Каждое было подчинено строгой иерархии и безусловной дисциплине, но каждое в своих подробностях и формах сообразовалось характеру и силе того класса, для кото-рого оно было назначено.

Общества сии должны были ограни-читься малым числом людей, включив в себя по возможности всех людей талантливых, знающих, энергичных и влиятельных, кото-рые, повинувшись центральному направлению, в свою очередь и как бы невидимо действовали бы на толпы. Все три общества были бы связаны между собою посредством центрального комитета, который бы состоял из трех, много из пяти членов: я, Арнольд, остальных следовало бы выбрать¹⁹². Я надеялся посредством тай-ного общества ускорить революционерные приготовления в Бо-гемии; надеялся, что оные будут сделаны во всех пунктах по од-ному плану. Ожидал, что мое тайное общество, которое не долж-но было расходиться после революции, но напротив усилиться, распространиться, пополняя себя всеми новыми живыми и дейст-вительно сильными элементами, обхватывая постепенно все сла-вянские земли, — я ожидал, говорю я, что оно даст также и лю-дей для различных назначений и мест в революционерной иерар-хии.

Надеялся наконец, что посредством его я создам и укреплю свое влияние в Богемии, ибо в то самое время, без ведома Ар-нольда, я поручил одному молодому человеку, немцу из Вены (студенту Оттендорфер, бежавшему после в Америку), организо-вать по тому же самому плану общество между богемскими нем-цами¹⁹³, в центральном комитете которого я не участвовал бы яв-но сначала, но был бы его тайным предводителем; так что, если бы проект мой пришел к исполнению, все главные нити движения сосредоточились бы в моих руках, и я мог бы быть уверен, что замышляемая революция в Богемии не сойдет с пути, ей мною

назначенного.

Насчет же революционного правительства, из скольких людей и в каких формах оно должно будет состоять, я не имел еще определенных мыслей; хотел прежде познакомиться поближе с самими людьми, равно как и с обстоятельствами; не знал, приму ли я в нем явное участие, но что я буду участвовать в нем и участвовать непосредственно, сильно, в этом я не сомневался. Не самолюбие и не честолюбие, но убеждение, основанное на годовом опыте, убеждение, что никто между знакомыми мне демократами не будет в состоянии так обнять все условия революции и принять тех решительных энергичных мер, которые я считал необходимыми для ее торжества, заставили меня наконец откинуть прежнюю скромность¹⁹⁴.

Наконец я хотел еще овладеть посредством Арнольда и его приверженцев в Праге "Славянскую Липу", чешским или вернее славянским патриотическим обществом, признанным центром всех славянских обществ и клубов во всей Австрийской империи. Я вообще не придавал большой важности клубам, не любил и презирал их даже, видя в них только сходки для глупого хвастовства, для пустой и даже вредной болтовни. Но "Славянская Липа" была исключением из общего правила; она была основана на практических и живых основаниях умными практическими людьми. Она была усиленным политическим продолжением организации и действия той могучей литературной пропаганды, которая перед революцией 1848-го года пробудила и, можно сказать создала новую славянскую жизнь.

Она и в это время была живым центром всех политических действий австрийских славян и пустила отрасли, имела филиативные общества не только в Богемии, но решительно во всех славянских странах в Австрийской империи, исключая только Галицию, и пользовалась таким всеобщим уважением, что все славянские предводители полагали за честь быть ее членами, и даже сам бан Елачич, приступая к Венне, почел необходимым написать к ней письмо, в котором, как бы извиняя свои поступки, уверял, что он идет против Вены не потому, что Вена совершила новую революцию и следует теперь демократическому направлению, но потому, что она есть центр германской национальной партии¹⁹⁵. В "Славянской Липе" участвовали безразлично славянские патриоты всех партий; сначала преобладала в ней партия Палацкого, словака Штура и Елачича: но впоследствии, к чему впрочем и моя брошюра "Воззвание к славянам" несколько способствовала, число демократов усилилось в ней заметным образом, и уж стали довольно часто слышаться в ней крики "Елей Кошут!" ("Да здравствует Кошут" (по-венгерски)).

А под конец и вся чешская "Ляпа" отклонилась решительно от прежнего направления и, громко объявив свои симпатии к мадьярам, не захотела посылать более денег ни словакам, ни южным славянам, воевавшим против Кошута. Овладеть "Славянскую Липу" было в то время довольно легко, и она могла сделаться в руках чешских демократов довольно сильным и действительным средством для достижения моих целей.

Арнольд был несколько поражен и как бы смущен смелостью сих последних. Он мне обещал впрочем многое, но неясно, робко, неопределенно, жалуясь то на безденежье, то на свое плохое здоровье, так что, когда он уехал из Лейпцига, во мне осталось впечатление, что я

почти ничего не достиг свиданием и переговора-ми с ним. Прощаясь, он обещал мне однако писать из Праги и позвать меня, когда будет все хоть несколько подготовлено для начала дальнейших, решительнейших действий¹⁹⁶. Я должен был довольствоваться его неопределенными обещаниями, ибо не имел в то время решительно никаких других средств ни путей для пропаганды. Вспоминая теперь, какими бедными средствами я замышлял совершить революцию в Богемии, мне становится смешно; я сам не понимаю, как я мог надеяться на успех. Но тог-да ничто не было в состоянии остановить меня. Я рассуждал таким образом; революция необходима, следовательно возможна. Я был сам не свой, во мне сидел бес разрушения; воля или, лучше сказать, упорство мое росло вместе с трудностями, и бесчислен-ные препятствия не только что меня не пугали, но разжигали напротив мою революционерную жажду, поджигали меня на лихорадочную, неутомимую деятельность. Я был обречен на по-гибель и предчувствовал это и с радостью шел на нее. Жизнь мне уже тогда надоела.

Арнольд мне не писал; я опять ничего не знал о Богемии. Тогда, воспользовавшись поездкою одного молодого человека в Вену (Геймбергер¹⁹⁷, сын австрийского чиновника, бежал потом в Америку), которого отчасти также посвятил в свои тайны, про-сил его на возвратном пути остановиться у Арнольда и писать мне из Праги¹⁹⁸. Он там остался совсем, впрочем по собственной воле, и сделался моим постоянным корреспондентом. Таким образом я узнал, что хотя Арнольд повидимому и мало и плохо действовал, однако расположение умов в Праге становилось день от дня живее, решительнее, сообразнее моим желаниям. Тогда я решился ехать сам в Прагу и уговорил также и братьев Страка возвратиться в Богемию. Это было в середине или в конце марта, а, может быть, даже и в начале апреля по новому стилю; я пере-забыл все числа. Впрочем они подробно определены в обвинитель-ных актах.

В это время в первый раз заговорили о вмешательстве Рос-сии в венгерскую войну и о вступлении русских войск в Венгрию на помощь австрийским войскам. Известие сие побудило меня написать второе "Воззвание к славянам" (оно было перепечата-но потом в "Dresdener Zeitung") и находится в числе обвини-тельных актов), в котором, равно как и в первом, но еще с боль-шею энергиею и языком более популярным я призывал славян к революции и к войне против австрийских, а также и против рос-сийских, хоть и славянских войск, "so lange diese den verhDgniss-vollen Nahmen des Kaisers Nikolai in ihrem Munde fЭhren!" ("Пока на устах у них роковое имя царя Николая").

Воззвание сие было немедленно переведено братьями Страка на чешский язык и напечатано в Лейпциге на обоих наречиях в большом количестве экземпляров. Я поручил чешское издание братьям Страка, а немецкое — саксонским демократам для ско-рейшего распространения в Богемии¹⁹⁹.

Я поехал в Прагу через Дрезден. В Дрездене остановился [на] несколько дней; познакомился с некоторыми из главных предводителей саксонской демократической партии, впрочем без всякой положительной цели, не имея к ним из Лейпцига ни ре-комендательных писем, ни поручений; познакомился с ними, .могу сказать, случайно в демократической кнейпе (Кабачок) через доктора Виттига, знакомого мне еще со времен моего первого пребывания в Дрездене в 1842-м году²⁰⁰.

Между прочим познакомился так-же и с демократическим депутатом Реккелем 201, с которым позже вошел в ближайшую связь и который играл впоследствии деятельную роль в революционной дрезденской, равно как и пражской попытке. В Дрездене 202 начались также мои новые, уже положительные отношения с поляками 202а. Это случилось следующим образом.

Я встретил совершенно случайно в Дрездене галицийского эмигранта и весьма деятельного члена Демократического общества Крыжановского 203, с которым я познакомился в первый раз в Брюсселе в 1847-ом году; но тогда я не имел с ним еще никаких политических отношений. Был же он в Дрездене на дороге в Париж из Галиции, из которой, кажется, был принужден бежать от преследований австрийской полиции. Мы встретились с ним как старые знакомства и после первых приветствий я стал делать ему упреки за клевету, распространенную на мой счет польскими демократами 204.

Он мне на это отвечал, что ни он ни Друг его Гельтман, с которым он жил вместе в Галиции, никогда не верили пустым слухам, везде и всегда им противоречили, и что напротив оба желали моего приезда в Галицию, где я мог быть им полезен, и даже собирались писать ко мне, но не знали моего адреса. В чем и как я мог быть полезен в Галиции, он мне не сказал.

Таким образом после довольно долгого разговора об общих предметах, найдя в его мыслях много сходства с моими и заметив в нем желание со мной сблизиться, я открыл ему свои намерения насчет богемской революции, не входя впрочем ни в какие частности, сказал ему, что у меня есть связи в Богемии и что еду теперь в Прагу для ускорения революционных приуготовлений, что давно желал соединения с поляками, для того чтобы действовать с ними вместе, но что до сих пор все попытки мои для сближения с ними не только что остались без всякого успеха, но навлекли еще на меня гнусную клевету. Он с жаром вошел в мои славянские мысли и просил у меня позволения переговорить о том как бы сказать официально, от моего имени с Централизациею.

Я был этому рад, и мы согласились с ним в следующих пунктах:

1. Централизация пришлет двух поверенных, которые вместе со мной в Дрездене будут заниматься приготовлениями к богемской революции и которые, когда революция начнется, войдут вместе со мной в Центральный общеславянский комитет, в котором будут участвовать по возможности представители и прочих славянских племен.
2. Централизация возьмет на себя доставку польских офицеров для революции в Богемии, пришлет денег и наконец уговорит также и графа Телеки прислать с своей стороны с достаточными средствами мадьярского агента, для того чтобы действовать с нами на мадьярские полки, стоявшие тогда в Богемии, а также и для постоянных отношений с Телеки и с Ко-шутом.
3. Хотели еще установить в Дрездене германо-славянский комитет для приведения в связь богемских революционных приготовлений с саксонскими; но сей последний проект остался даже без начала исполнения, ибо особенных саксонских приуготовлений, как я скажу о том после подробнее, не было. Да можно сказать, что и все остальные пункты

остались неосуществленными, исключая разве только приезда Гельтмана и Крыжановского от имени Централизации с пустыми руками. Все, что я приобрел на сей раз через встречу с Крыжановским, это был английский паспорт 205, с которым я и поехал в Прагу, простившись с Крыжановским, отправившимся в то же самое время в Париж 206.

В Праге я был поражен самым неприятным образом, не найдя в ней ничего, решительно ничего подготовленным²⁰⁷. Тайному обществу не было даже положено и начала, и никто, казалось, и не думал о близкой революции. Я стал делать Арнольду упреки, но он сложил всю вину на свое нездоровье. Впоследствии, кажется, он был гораздо деятельнее; я говорю "кажется", ибо я до самого конца думал, что он не делает ничего, и только от австрийской следственной комиссии узнал, если это справедливо, что он потом действовал ревностно и сильно, но вместе с тем и так острожно, что даже самые близкие люди не подозревали его деятельности. Кроме Арнольда я имел один раз вечером совещание со многими чешскими демократами, пришедшими ко мне по приглашению, но пришедшими к моему великому неудовольствию в числе, превышавшем мои ожидания 208.

Совещание было шумное, бестолковое и оставило во мне впечатление, что пражские демократы — великие болтуны, и что они более склонны к легкому и самолюбивому риторству, чем к опасным предприятиям 209. Я же, кажется, напугал их резкостью некоторых вырвавшихся у меня выражений²¹⁰. Никто из них, казалось мне, не понимал единственных условий, при которых была возможна богемская революция. Равно как и немцы, от которых впрочем чехи вообще многому научились, несмотря на свою ненависть к ним, все были более или менее заражены страстью к клубам и верою в действительность пустой болтовни. Я убедился и в том, что, оставив широкое поле для их самолюбия и уступив им все внешности власти, мне будет нетрудно овладеть самою властью, когда революция начнется. Я видел потом некоторых глаз на глаз²¹¹, и заметив, что параллельно с моими замыслами шли в то же самое время несколько других предприятий, менее решительных, с видами более отдаленными, но клонящимися однако к одной и той же революционной цели, я стал думать о средствах воспользоваться ими. Для сего я должен был остаться в Праге, но это было решительно невозможно; ибо несмотря на все мое старание сохранить мое присутствие тайным, пражские демократы были так болтливы, что на другой же день не только вся демократическая партия, но все чешские либералы знали, что я находился в Праге; а так как австрийское правительство уже и тогда преследовало меня за мое первое "Воззвание к славянам", то я был бы без всякого сомнения арестован, если бы не удалился вовремя.

За неимением других средств я должен был положить все свои надежды на братьев Страка, умы которых я успел, так сказать, обработать и напитать своим духом в продолжение более чем двух-месячного ежедневного, ежечасного свидания. Я дал им полные и подробные инструкции касательно всех приготовлений к революции в Праге и в Богемии вообще; уполномочил их действовать за меня и в мое имя, и хоть и не знаю хорошо и в подробности" что они потом делали, однако должен объявить себя ответственным за их малейшие действия, ответственным и повинным в тысячу раз более, чем они сами.

Кратковременное пребывание в Праге было достаточно, чтобы убедить меня, что я не ошибался, надеясь найти в Богемии все нужные элементы для успешной революции²¹².

Богемия нахо-дилась тогда в самом деле в полной анархии. Мартовские революционерные новоприобретения (die MDrzerrungenschaften, лю-бимое выражение того времени - "Мартовские достижения").

уже подавленные в прочих ча-стях Австрийской империи, в Богемии оставались еще в полном цвете. Австрийское правительство имело еще нужду в славянах. а потому и не хотело, боялось коснуться их реакционерными ме-рами. Вследствие этого в Праге, равно как и в целой Богемии, цар-ствовала еще безграничная свобода клубов, народных собраний, книгопечатания; эта свобода простиралась так далеко, что вен-ские студенты и другие венские беглецы, которых в Вене в то же самое время расстреливали, в Праге ходили по улицам явно, под своим именем, без малейшего опасения. Весь народ как в городах, так и в селах был вооружен и везде недоволен: недоволен и недоверчив, потому что чувствовал приближение реакции, боялся по-тери вновь приобретенных прав; в селах боялся грозящей аристо-кратии и восстановления прежнего подданства; недоволен нако-нец в высшей степени вследствие вновь возведенного рекрутско-го набора и в самом деле был везде готов к возмущению.

К тому же в Богемии находилось тогда очень мало войска, и то, что бы-ло, состояло большею частью из мадьярских полков, которые чув-ствовали в себе непреодолимую склонность к бунту. Когда сту-денты встречали мадьярских солдат на улице и приветствовали их криком "Елей Кошут!", солдаты отвечали тем же самым криком, не обращая внимания на присутствовавших и слышавших офице-ров; когда мадьярских солдат посылали арестовать студента за брань или за драку с полицией, солдаты соединялись с студен-тами и били вместе с ними полицейских чиновников. Одним сло-вом расположение мадьярских полков было такое, что лишь толь-ко началось революционерное движение в Дрездене, полуэскад-рон, стоявший на границе, услышав о том, взбунтовался и приска-кал в Саксонию без всякого зова. Более двух лет прошло с тех пор, и австрийское правительство в продолжение сего времени употребило без сомнения все возможные средства, для того что-бы искоренить революционерный, коштутовский дух из мадьяр-ских полков; но дух сей запустил такие глубокие корни в сердце каждого мадьяра, еще более простого, чем образованного, что я убежден, что если даже и теперь начнется война, крик "Елей Ко-шут" будет достаточен для того, чтобы взбунтовать их и переве-сти на сторону неприятеля. В то же время это не подлежало ни малейшему сомнению; я был твердо уверен, что они в первый день, в первый час соединятся с богемскою революцией; приоб-ретение важное, ибо таким образом было бы положено крепкое начало революционерному войску в Богемии²¹³. Наконец для по-полнения картины надо еще прибавить, что австрийские финан-сы находились в то время в самом плачевном состоянии: в Боге-мии ходили уже не государственные, а партикулярные бумаги; каждый банкир, каждый купец имел свои ассигнации; были даже деревянные и кожаные монеты, как только бывает у народов, находящихся на самой низкой степени цивилизации.

Революционерных элементов было поэтому много; следовало только овладеть ими, но на это у меня решительно не доставало средств. Однако я все еще не отчаивался. Я поручил братьям Страка²¹⁴ завести наскоро тайные общества в Праге, не придерживаясь строго старого плана, для исполнения которого уже доставало более времени, но сосредоточив главное внимание на Праге для того, чтобы приготовить ее как можно скорее к

революционному движению; особенно просил их завести связь с ра-ботниками и составить исподволь из самых верных людей силу, состоящую из 500, 400 или 300 людей, по возможности род рево-люционного батальона, на который бы я мог безусловно положить и с помощью которого мог бы овладеть всеми остальны-ми пражскими, менее или совсем не организованными элемента-ми. Овладев же Прагою, я надеялся овладеть и всею Богемиею, ибо намеревался принудить главных предводителей чешской де-мократии соединиться со мною, принудить их к тому или убежде-нием, или удовлетворением их самолюбия, предоставив им по вышереченному все почести и все выгоды власти, а если бы ни то, ни другое на них не подействовало, так и силою. Просил наконец их искать знакомства со всеми, однако не высказываться, не бол-тать, быть скромными, не оскорблять ничьего самолюбия, а наб-людать внимательно за всеми движениями и всеми параллельны-ми предприятиями, опасаясь, чтоб нас не предупредили, и писать мне обо всем со всевозможною подробностью в Дрезден²¹⁵, от-куда обещал прислать им денег, и когда придет время, приехать и сам с польскими офицерами.

Вскоре по моем возвращении в Дрезден явились туда Кры-жановский и Гельтман, уже от имени демократической Центра-лизации (Они прибыли в Дрезден около середины апреля (возможно 13 ап-реля) 1849 года.)

Они мне не привезли ничего, ни денег, ни польских офицеров, ни мадьярского агента, а только сердечное участие и множество комплиментов от польских, равно как и от парижских демократов. Насчет денег узнал я, что Централизация сама на-ходилась в неимоверной бедности, равно как и французские де-мократы, истощенные прошлогодними июньскими днями; что польские офицеры будут и будут в большом количестве из Фран-ции, равно как из Познанского Герцогства, лишь только найдут-ся деньги, необходимые для их доставки; и наконец, что граф Телеки богат средствами, но что он не решается войти с нами в отношения и располагать мадьярскими деньгами для движе-ния богемского, не получив на то позволения от Кошуга, кото-рому он писал об этом предмете и ждал ответа²¹⁶. Таким образом я не был в состоянии сдержать ни одного из обещаний, дан-ных мною сначала братьям Страка, впоследствии же через них и Арнольду и другим чешским демократам, вошедшим в сноше-ния с ними по моем отъезде из Праги. Я должен был содержать братьев Страка в Праге, а для сего должен был как нищий про-сить милостыню у всех знакомых, и ни от одного не получил ни копейки кроме вышеупомянутого депутата Реккеля, неосторожно-го, болтливового, экс[ц]ентрического, но ревностного демократа, который для того, чтобы доставить мне хоть некоторые средства, продал даже свою мебель²¹⁷.

Я познакомился впоследствии с покойником бароном Байер²¹⁸, бывшим прежде офицером в австрийской службе, потом же при-нявшим участие в венгерском восстании; он командовал некото-рое время мадьярским отрядом не помню в какой венгерской крепости, был тяжело ранен и, вследствие этого удалившись из Венгрии, сделался не знаю уж каким образом агентом графа Телеки в Дрездене, где, кажется, исключительно занимался вер-бовкою офицеров для мадьярского войска. Он мне показал пись-мо графа Телеки, в котором сей расспрашивал его о Богемии; я воспользовался сим случаем и уговорил его написать под моей диктовкою письмо к Телеки, в котором он от моего имени изве-щал его о готовившейся богемской революции, представляя ему все выгодные результаты, долженствовавшие последовать из оной для самих мадьяр, и требуя наконец присылки поверенного с деньгами.

Телеки отвечал, что он приедет сам; и кажется, что он и в самом деле был в Дрездене, но поздно, ибо я уже сидел тог-да в заключении. Сим ограничились все сношения мои с мадьярами .

Между тем моя переписка с братьями Страка продолжа-лась 220; они требовали денег: я посылал им сколько мог, т. е. очень немного; но утешал их будущими надеждами, уговаривая их крепиться так же, как и я сам крепился в это время, и не Оглядываясь, без остановки, наперекор всем трудностям и препят-ствиям готовить революцию и позвать меня, когда приблизится время к восстанию. Они были в самом деле очень деятельны, как я узнал впоследствии от следственной комиссии; из писем же их я не мог узнать многого, так были они неотчетливы и темны221.

Я сказал теперь все222 касательно моих богемских предприятий и действий, из которых посылка Реккеля в Прагу была послед-ним.

Но скажу прежде (Т. е. прежде описания саксонских дел), какие у меня были отношения к приехав-шим полякам, а именно к Гельтману и Крыжановскому223. Я мо-гу с полным правом сказать, что не было решительно никаких. Между нами даже и в это время не было совершенной доверен-ности ни с их ни с моей стороны: они мне никогда ни полслова не сказали о своих польских делах, которыми, как мне казалось, они занимались гораздо более, чем богемскими, что было впро-чем нетрудно, ибо последними они совсем не занимались; платя им скрытностью за скрытность, я с своей стороны удержал так-же многое от них втайне, показывал им только верхи соб-ственных замыслов и не допускал их входить в непосредствен-ные отношения в Богемиею. Я один переписывался с Прагою, и все, что они знали, знали они единственно только через меня; когда я получил неблагоприятные известия, я умалчивал их; ког-да же известия были благоприятные, я старался увеличить оные в глазах их; одним словом я их держал несколько в стороне от всех действительных обстоятельств и приготовлений и считал се-бя вправе действовать в отношении к ним таким образом, ибо видел ясно, что Централизация, не прислав с ними мне никакой помощи, ни денег, ни офицеров, ни обещанного мадьярского аген-та, прислала только их двоих, и не для того, чтобы в самом деле соединиться со мной, но для того, чтобы по возможности овла-деть богемским движением и употребить оное на достижение своих собственных, мне неизвестных целей, сообразно своему исключительно польскому направлению. Я виделся с Гельтманом и Крыжановским часто, почти всякий день, но более как при-ятель, чем как соумышленник; мы редко говорили о богемских приготовлениях, они даже редко спрашивали меня о них, или по-тому, что заметили мою неоткровенность, а может быть и потому, что, перестав ожидать от них больших результатов, интересова-лись более, другими, мне неизвестными делами. Только в одной мере условились мы положительно, а именно в необходимости установить в Праге общеславянский революционерный комитет когда революция начнется; все же остальное было предоставле-но нами будущему вдохновению и обстоятельствам. Они имели вероятно свои замыслы, я же, рассчитывая на преобладающее вли-яние свое в Праге, имел твердое намерение устранить их, лишь только они окажутся противниками. Гельтман и Крыжановский имели также и в Дрездене связи, совершенно независимые от моих. Но для окончания моей истории обращаюсь теперь в последний раз к немцам.

Немцы — решительно странный народ, и, судя по тому, что я видел, живя между ними, не думаю, чтобы судьба им готовила долгое политическое существование. Когда я сказал, что в послед-нее время немецкие демократы стали централизоваться, то я хотел выразить сим, что они наконец поняли необходимость центрального действия и центральной власти, много и часто о них говорили и делали даже движения, как будто бы централизовались, но действительной централизации, несмотря на су-ществование Центрального демократического комитета, между ними не было. (Разительная истина!!!)

Избрав сей комитет, они думали, что сделали все, и не почли нужным ему повиноваться. Что делает фран-цузских демократов опасными и сильными, это — чрезвычайный дух дисциплины; французы различных характеров, состояний и положений, различнейших направлений, даже различных пар-тий умеют соединяться для достижения общей цели, и когда раз соединились, тогда уж никакое самолюбие ни честолюбие, реши-тельно ничего не в состоянии разъединить их, до тех пор пока предположенная цель не достигнута. В немцах напротив преобла-дает анархия. Плод протестантизма и всей политической истории Германии, анархия есть основная черта немецкого ума, немецко-го характера и немецкой жизни: анархия между провинциями; анархия между городами и селами; анархия между жителями од-ного и того же места, между посетителями одного и того же кружка; анархия наконец в каждом немце, взятом особенно, ме-жду его мыслью, сердцем и волею. (Неоспоримая истина!!!)

"Jeder darf und soll Seine Meinung haben!" ("Каждый вправе и обязан "меть свое мнение") — вот первоначальная заповедь немецкого катехизиса, правило, которым руководствуется каждый немец без исключения; а потому никакое политическое единство между ни-ми не было да и не будет возможным. (Правда)

Так в это самое время, когда необходимо было теснейшее соединение всех демократов и всех либералов для того, чтобы бороться с некоторым успехом против торжествовавшей реакции, не только демократы с либералами и не только демократы целой Германии, но даже демократы одного и того же немецкого государства не могли, не умели да и не хотели соединиться. Jeder wollte seine Meinung haben ("Каждый хотел иметь свое мнение")

Все были разъединены мелким, еще более самолюбивым, чем честолюбивым соперничеством. Так ни Бреславль, ни Кельн не хотели покориться Берлину, а в то же время враждовали и между собою. Кенигсберг был сам по себе; прусская Саксония также. Не говорю о Бранденбурге и Померании, державшихся постоянно на стороне монархии; еще менее говорю о Герцогстве Познанском, в котором преобладала в то время глубочайшая ненависть безразлично ко всем носящим только немецкое имя. Вестфалия клонилась более на сторону Кельна. Ганновер составлял вместе с другими приморскими зем-лями особенную группу, приходившую в соприкосновение с про-чею Германиею только через Шлезвиг-Голштейнскую войну, в которой впрочем либералы принимали гораздо более участия, чем демократы. Демократы саксонского королевства имели свой соб-ственный Центральный комитет, который был также комитетом и тюрингских демократов. Бавария, исключая [П] фальца и се-верной части Франконии, не была почти тронута демократиче-скою пропагандою. Остальная же часть южной Германии, Баден, Вюртемберг, равно как и оба Гессена и прочие небольшие герцогства, внешним образом признавали Центральный

комитет. ибо участвовали в его избрании на демократическом конгрессе в Берлине, но в сущности [не] ставили его ни во что, никогда не слушали его приказаний, не посылали ему даже денег, группировались же большею частью вокруг демократов Франкфурт-ского конститутивного собрания, которые с самого начала соперничествовали и враждовали против северных демократов. Так что в действительности централизации не было, а центральный комитет германских демократов находился в самом бедственном положении.

Он был беден, он был немогуч, он состоял наконец из членов неспособных к этому делу. Трое были выбраны в него: Дестер, Гекзамер да еще граф Рейхенбах²²⁴, но последний удалился из него в самом начале; действовали только Гекзамер и Дестер. Гекзамер — человек молодой, честный, невинный, неглупый, но весьма ограниченный, нескоро понимающий, демократический доктринер и утопист. Дестер, — я не скрою от Вас, государь, что говорю о них так подробно только потому, что знаю, что оба спаслись бегством, — Дестер напротив — человек живой, талантливый, скорорабочущий, скоро, но поверхностно понимающий, не-сколько плут и пройдоха, впрочем не своекорыстный политический интриган, принадлежит к школе кельнских, т. е. более или менее коммунистических демократов, остроумен, находчив, увертлив, умеет раздражить министра в парламентском прении, одним словом способный к партизанской политической войне; и мог бы быть немецким Дювержье де Гораном²²⁵ при немецком демократическом Тьере, если бы такой нашелся в Германии, но не имеющий ни довольно обширного ума, ни довольно характера для того, чтобы быть предводителем партии.

Я постоянно остерегал себя от вмешательства в их дела; живя однако с ними в продолжение двух месяцев или немного менее в одном доме, я знал многое и могу сказать с уверенностью и по совести, что Центральный Комитет хлопотал много, но не сделал решительно ничего к успеху предполагаемой революции, несмотря на то что полагал на нее свои последние надежды; ибо сам Дестер мне говорил, что это будет решительная и последняя попытка, и что если она не удастся, то должно будет отложить все революционерные замыслы на долгое, долгое время. И что ж они делали? Вместо того чтобы, оставив в стороне все другие дела, заняться исключительно приготовлениями к ней, они употребляли большую часть времени на предметы второстепенные, незначительные, на вопросы, которые привели их даже в бесчисленные противоречия со многими отделениями демократической партии.

Они смеялись над саксонцами, которые твердо верили в незыблемость своей вновь ими созданной демократической конституции; говорили им, что вторая революция была необходима даже для сохранения тех еще ненарушенных политических прав, остатков революционерных приобретений 1848-го года, до которых реакция тогда еще не дерзала коснуться, говорили, что без второй революции все будет неверно, шатко; а сами действовали, как будто бы не сомневались ни малейшим образом в твердости политического фундамента, на котором они стояли: Дестер гораздо более заботился о своем выборе во второе прусское Законодательное собрание, чем о революционерных приготовлениях; Гекзамер занимался пустою, бесполезною, напыщенно-поздравительною публичною перепискою с французскими, итальянскими и польскими демократами; оба хлопотали об основании в Берлине нового демократического журнала, которого хотели быть редакторами; собирали везде подписку и перессорились по этому случаю со всеми

демократами²²⁶, тогда как явно было, что если не будет второй революции, то и существование сего журнала в Берлине будет невозможно, а что если революция удастся, то и все предыдущие хлопоты, ссоры и подписки будут решительно бесполезны. Когда Арнольд приехал в Лейпциг, вместо того что-бы заняться единственной целью его приезда, т. е. соединением движения богемского с германским, или хоть вместо того чтобы расспросить его о Богемии, о которой они оба почти ничего не знали, — они ни о чем другом почти с ним не говорили как о несчастном журнале да еще о вышеупомянутом славяно-герман-ском конгрессе. Других переговоров, условий, общеположенных мер не было: "мы готовим к весне революцию, постарайтесь и вы приготовиться к этому времени", — вот все, что Арнольд услы-шал от них ²²⁷. По этому одному можно видеть, каковы были их приготовления и меры для революции в самой Германии.

Я не говорю, чтобы они уж решительно не сделали ничего и совсем не думали о приготовлениях к революции; говорю только, что действия их были незначительны, недостаточны и ни малей-шим образом не способствовали к успеху последней; так знаю я напр[имер], что они организовали тайные общества в раз-ных пунктах Германии, но общества сии остались без всякого влияния в майском всеобще-германском повстаньи; не сомневаюсь так же и в том, что они имели связи с некоторыми из главных предводителей демократической партии в разных частях Герма-нии, хотя и не имею о том никаких положительных сведений; но знаю положительно, что они были со многими в ссоре: с Бреславлем, с Центральным комитетом саксонских демократов²²⁸, а наконец и во Франкфурте имели гораздо более врагов, чем Дру-зей, так что накануне баденской революции²²⁹ южно-германские демократы не только воспротивились их вмешательству, но даже просили их не приезжать к ним. Я узнал об этом обстоятельстве по особенному случаю, о котором скажу после.

Могли бы спросить меня: если Центральный Комитет был в самом деле до такой степени бессилен и бездеятелен, каким образом мог он произвести в целой Германии вышеупомянутую единодушную и сильную демонстрацию в пользу славян, и отку-да взялись у него вдруг энергия и деятельность и влияние для той неусыпной пропаганды между богемскими немцами? На это я буду отвечать следующее: ничего не было легче как произвести такую демонстрацию; для сего у них были и достаточное влия-ние и все нужные средства; они имели корреспонденцию со всеми демократическими журналами, а кроме сего имели адреса всех главных предводителей комитетов и клубов, на которых действо-вали часто помимо комитетов, посредством знакомых влиятель-ных людей; ведь ничего нет легче как уговорить всякого немца по всякому делу, до тех пор пока он мнит себя самостоятельным и не подозревает, что его хотят подчинить какой-нибудь дисцип-лине. Я сочинял статьи, которые Дестер и Гекзамер посылали в журналы от своего имени²³⁰; их же заставлял писать в моем присутствии, почти под моею диктовкою, письма, общие для всех клубов, и не давал им покоя, пока они не сделали всего, что мне казалось необходимым. Таким образом во многих журналах вдруг появились статьи симпатические для славян; а клубы, уже приготовленные письмами и объяснениями Центрального Коми-тета, последовали их примеру и стали сочинять громкие адреса к славянам. Начавшись же раз, движение-сие продолжалось по-том уже без всякого внешнего побуждения. Пропаганда в Богемии осталась бы также без всякого исполнения, если бы я не принуждал к ней беспрестанно членов Центрального Комитета, но еще более знакомых мне лейпцигских

демократов, которые в свою очередь действовали посредством своих знакомых, живущих на божемской границе²³¹. И все это было сделано без особенных мер, заговоров, условий, а так, просто по доброму знакомству.

Еще раз повторяю, общих разговоров о предстоящей революции было в целой Германии много, но общего заговора к ней, общей организации, плана центрального управления и действия решительно не было, несмотря на то, что был избран Центральный Комитет для центрального управления и для центрального действия²³². Всеобщность германского повстанья в мае 1849-го года была гораздо более плодом единодушного действия немецких правительств, чем согласия немецких демократов. Еще за полгода все знали, что весною будет революция, потому что поняли наконец, что правительства, начавшие раз и с успехом реакционерное движение, не остановятся на половине дороги и не успокоятся до тех пор, пока не восстановят совершенно старого порядка, разрушенного революцией 1848-го года. Все ожидали к весне еще решительнейших реакционерных мер и все готовились отвечать на них революционным отпором и ждали неотвратимой, всеми предвиденной коллизии Франкфуртского парламента с властителями Германии как общего знака для общего повстанья. Другого единодушия кроме сего между германскими демократами не было. Действия же Центрального Комитета ограничились тем, что он всех поощрял к революционным приготовлениям, но он не мог и не умел сделаться центром самих приготовлений; все же части Германии готовились сами собою, особенно, каждая сообразно своему характеру, обстоятельствам, положению, независимо от Центрального Комитета, без всякой связи друг с другом; и еще раз говорю, общность приготовлений состояла только в том, что все знали, что все готовятся, знали не только демократы, но и противная партия, ибо все готовились и организовали даже тайные общества громко.

Все готовились, но мало приготовили. Я впрочем не могу судить о действиях южных демократов, ибо исключая одного раза, о котором упомяну впоследствии, я после весны 1848 года не приходил с ними в соприкосновение. Кажется, что в Бадене существовало нечто вроде действительной организации²³³. Но могу судить о саксонских приготовлениях, потому что видел их вблизи, хотя никаким образом и не участвовал в них. Я знаю, что у них не было ни плана, ни организации, ни даже назначенных предводителей для возмущения. Все было предоставлено случаю. Это оказалось явно в дрезденской революционной попытке, которая была так мало предугадана самими руководителями демократической партии, что они хотели было все накануне разъехаться; и никто ни в Дрездене, ни в прочих городах Саксонии не знал, что именно теперь начинается всеми давно пророчествованная революция; и когда она началась, никто не знал, ни что делать, ни куда идти, всякий же следовал своему собственному инстинкту, ибо ничего не было предустановленного. Трудно поверить, но в самом деле было так. Я теперь стараюсь собрать все воспоминания, для того чтобы сказать что-нибудь положительное о приготовлениях саксонских демократов, и не нахожу решительно ничего; разве только что в некоторых углах саксонской земли существовали микроскопические, игрушечные тайные общества, состоявшие из 5, 6, много из десяти людей, большею частью из работников, или что в некоторых городах, а именно в Дрездене, а Хемнице, а потом и в Лейпциге, были наделаны жестяные ручные гранаты, — детская безвредная игрушка, на которую однако саксонские демократы полагали большую надежду. Оружия и амуниции готовить было не нужно, ибо вся Саксония, равно как и вся Германия, была вооружена предшедшею революцией; а что

необходимо было приготовить, это— план для возмущения, план для целой Саксонии, равно как и для каждого города в особенности; должно было избрать людей для предводительства, установить революционерную иерархию;

условиться в первых шагах, в первых мерах предполагаемой ре-волюции; должно было перенести революционерную пропаганду из городов в села, уговорить мужиков принять участие в дви-жении, для того чтобы революция была общенародною, сильною, а не уединенно-городскою, легкопобеждаемую²³⁴.

Ничего подоб-ного не было даже и в зачине, все приуготовления ограничились пустяками. Одним словом саксонские демократы сделали доволь-но для того, чтобы быть осужденными потом как государствен-ные преступники, но не сделали ничего для успеха самой рево-люции. Можно бы было сказать то же самое и обо мне, с тою только разницею, что я был один, а их—много; у них были все средства, а у меня — никаких. Саксонская следственная комис-сия долго искала следов заговора, плана, приготовлений к бунту и тайных связей саксонских демократов с прочими германскими демократами и, ничего не найдя, утешила наконец себя мыслью, что заговор существовал в самом деле и заговор страшный, с связями широкими, с планом глубоким, с средствами бесчислен-ными, но что бежавший Иекель²³⁵, ничтожнейший между тремя весьма малоспособными членами саксонского Демократического Комитета, унес с собою в Лондон все его тайны и нити. (Отчеркнуто карандашом на полях)

Я говорю "утешила себя" сею мыслью, ибо стыдно должно было быть немецким правительствам, что они так долго могли трепетать перед немецкими демократами. Впрочем, так как все в мире отно-сительно, то и немецкие демократы могли быть страшны немец-ким правительствам.

Но пора мне оставить сии общие рассуждения насчет жалкой революционерной деятельности немецких демократов и, возвра-тившись к себе самому, привести к окончанию (В оригинале описка "онкончанью") свою не менее жалкую историю. Мне остается теперь немного прибавить.

Я показал, чем ограничились мои отношения с Дестером и Гекзамером, равно как и с лейпцигскими демократами; изъяснил, почему я с уверенностью ожидал и почему желал немецкой революции; прибавил сообразно с истиной, что сам я ни малей-шим образом не вмешивался в немецкие дела. То, же самое дол-жен я сказать и о своем пребывании в Дрездене до самого дня выбора Провизорного правительства. Я жил в Дрездене не для Саксонии и не для Германии, единственно только для Богемии, выбрал же его своим местопребыванием как ближайшее место к Праге.

Равно как и прежде в Лейпциге, я не посещал здесь ни клубов, ни демократических совещаний; скрывался напротив, не зная наверное, будет ли дрезденская полиция терпеть мое бес-паспортное присутствие в Дрездене или нет. Виделся с немно-гими; знал многих демократов, но редко встречался с ними; де-мократа и депутата Чирнера²³⁶, который по моему убеждению был главный, если не единственный, хоть и весьма жалкий приуготовитель саксонской революции, я видел два, много три раза, и не у него, также не у

себя на квартире, а в общей демократи-ческой кнейпе, был знаком с ним очень поверхностно, даже раз-говаривал мало²³⁷. Единственные два немца, с которыми я имел в Дрездене положительные деловые отношения, были д-р Виттиг, редактор дрезденской демократической газеты, и вышеупо-мянутый демократический депутат Август Реккель. Первый был мне полезен во многих отношениях; редакция его журнала слу-жила мне вместо конторы для моих пражских сношений; а са-мый журнал во всем, что касалось славянского вопроса, нахо-дился под моим исключительным влиянием. Еще ближе был я связан с демократом Реккелем; сей много способствовал к про-паганде в немецкой Богемии посредством своих связей с погра-ничными саксонскими демократами; искал для меня денег, когда деньги становились мне необходимы, и, как я уж выше заметил, продал даже свою мебель, для того чтобы доставить мне воз-можность содержать братьев Страка, т. е. мою единственную надежду на революцию, в Праге. Я не скрывал от него своих предприятий, равно как и он ничего не скрывал от меня; но я в его немецкие дела и связи не вмешивался, а когда нужно было, пользовался сими последними для своих целей. Между немец-кими демократами, с которыми я был хорошо знаком, не имея с ними никаких положительных, деловых отношений, находился один д-р Эрбе, альтенбургский демократ, депутат и изгнанник, потом же избранный не помню каким саксонским городом во Франкфуртский парламент; я упоминаю об нем потому, что зна-комство с ним было поводом к тому единственному и случайному соприкосновению с баденскими демократами, о котором я на-мекал выше. Кажется, что Эрбе, приехав во Франкфурт, принял деятельное участие в южно-германском движении, и мне сказали, что он удалился потом в Америку. Несколько дней перед дрез-денским возмущением явился ко мне приятель Эрбе, также франкфуртский депутат (Шлюттер), приехавший в Дрезден вероятно и за другими, впрочем мне неизвестными, делами. Он просил меня от имени Эрбе, а также и от имени всех баденских демократов, которые мне через него кланялись, просил рекомендательного письма в Париж к польской Централизации: они нуждались в польских офицерах. Я свел его с Гельтманом и Крыжановским и был таким образом косвенною причиною появления генерала Шнайде²³⁸ и других поляков в Баденском герцогстве²³⁹.

Тут увидел я, как сильно было несогласие между северными и юж-ными демократами, и как ничтожно влияние Центрального де-мократического комитета на последних. Дестер, приехавший в этот самый день в Дрезден, встретил у меня франкфуртского приятеля Эрбе; разговаривали много о предстоящем баденском, и вообще южно-германском движении; и Дестер сказал, что он желает, чтобы все демократические члены насильственно распу-щенных немецких парламентов собрались во Франкфурт, для то-го чтобы вместе с франкфуртскими демократами составить новый демократический германский парламент; приятель Эрбе ответил на сие, что франкфуртские и вообще южно-германские демократы просят господ северных демократов не вмешиваться в их дела и не приезжать к ним, а сидеть дома да заботиться об ускоре-нии революции на севере. Из этого произошел спор, потом ссора, которую здесь рассказывать было бы не у места.

С приближением мая революционерные предзнаменования становились день ото дня яснее и значительнее в целой Гер-мании. Франкфуртский парламент, склонившийся под конец сво-его существования на сторону демократов, находился уже в явной коллизии с правительствами. Германская конституция была наконец состряпана; некоторые правительства признали ее, как напри[мер] Вюртембергское, но признали против воли,

устрашенные явною угрозой бунта. Прусский король отверг предложенную ему корону; саксонское правительство колебалось. Многие надеялись, что оно покорится необходимости, и что дело обойдется без шума. Другие предвидели коллизию, я принадлежал к числу сих последних и, быв убежден в близости всеобщей германской революции, поощрял письмами братьев Страка усилить деятельность, ускорить приготовления и приступить к последним, решительным мерам²⁴⁰. Но я не мог им послать ни денег и никакой другой помощи кроме советов и поощрений; посылал им по несколько талеров, отнимая у себя последние средства, так что в это время я не издерживал на себя более пяти-шести зильбергрошей в день. Не было денег, не было и польских офицеров, не было и возможности пошевелиться; я ждал всякий день графа Телеки, ждал также, что меня позовут скоро в Прагу²⁴¹, не знал, что делать, как оборотиться, находился одним словом в самом затруднительном положении.

Наконец саксонский демократический парламент был распущен. Это был первый шаг к реакции в Саксонии; так что и те, которые прежде сомневались, стали теперь думать о возможности саксонской революции, которая однако казалась всем еще так отдаленна, что Реккель, опасавшийся преследований, решил-ся удалиться на некоторое время из Дрездена. Я уговорил его ехать в Прагу; дал ему записку к Арнольду и к Сабине, а также и к братьям Страка и поручил ему по возможности ускорить приготовления к пражскому восстанию²⁴². С кем и как он там действовал и вообще, что делалось в Праге по его отъезде из Дрездена, было мне до самого конца неизвестно, и только от австрийской комиссии узнал я потом некоторые обстоятельства²⁴³. В день его отъезда и еще в его присутствии пришел ко мне убежденный на то моим приятелем и сотрудником Оттендорфером д-р Циммер²⁴⁴, бывший член распущенного австрийского парламента, ревностный демократ, один из влиятельнейших предводителей немецкой партии в Богемии, а также бывший перед тем и одним из самых отъявленных врагов чешской национальности; после долгого и горячего спора мне удалось перевести его на свою сторону; он простился со мной, обещая ехать немедленно в Прагу и содействовать там к соединению немцев с чехами для революции. Все эти обстоятельства, открытые также не мною, а самим доктором Циммером, подробно изложены в австрийских обвинительных актах. Посылка Реккеля и доктора Циммера были моими последними действиями касательно Богемии.

Я сказал все, государь, и, сколько ни думаю, не нахожу ни одного несколько важного обстоятельства, которое было бы мною здесь пропущено²⁴⁵. Теперь мне остается только изъяснить Вам, каким образом, оставаясь доселе чуждым всем немецким делам и ожидая быть призванным каждый день в Прагу, я мог принять участие и еще такое деятельное в дрезденском возмущении.

На другой же день по отъезде Реккеля, т. е. по распусчении парламента, начались в Дрездене беспорядки: они продолжались несколько дней, не принимая еще решительного характера, но были уже такого рода, что не могли иначе кончиться как революцией или совершенною реакцией²⁴⁶. Революции я не боялся, но боялся реакции, которая необходимо кончилась бы арестом всех беспаспортных политических беглецов и революционных волонтеров, в числе которых я занимал не последнее место. Я долго не знал, что делать, долго ни на что не решался: оставаться казалось опасно, но бежать было стыдно, решительно невозможно. Я был главным и единственным зачинщиком пражского,

как немецкого, так и чешского заговора, послал братьев Страка в Прагу и подверг в оной многих явной опасности, по-этому не имел права сам избегать опасности. Мне оставалось еще одно средство: удалиться в окрестность и ждать вблизи от Дрездена, чтобы движение приняло более решительный, революционный характер; но на это были нужны деньги, а у меня, я думаю, не было более двух талеров в кармане. Дрезден же был центр моей корреспонденции; я ждал графа Телеки, еже-минутно мог быть позван в Прагу; я решил остаться и угово-рил к тому Крыжановского и Гельтмана, которые было уж сов-сем собрались уехать. Оставшись же раз, я ни по положению, ни по характеру не мог быть равнодушным и бездейственным зрителем дрезденских происшествий. Воздержался однако от всякого участия до самого дня выбора Провизорного правительства²⁴⁷.

Я не буду входить в подробности дрезденского возмущения; оно вам, государь, известно и без сомнения известнее во всех объемах, чем мне.

К тому же все обстоятельства, касающиеся также и до меня, подробно изочтены в актах саксонской след-ственной комиссии. По моему мнению движение было сначала произведено спокойными гражданами, бюргерами, видевшими в нем сперва одну из тех невинных и законных парадных демон-страций, которые так уже в это время вошли в германские нра-вы, что никого более не пугали и не удивляли. Когда же они за-метили, что движение становится революциею, они отступили и уступили место демократам, говоря, что когда они клялись "mit Gut und Blut f r die neu errungene Freiheit zu stehen!" ("Не жалеть для защиты вновь завоеванной свободы ни (имуще-ства, ни крови"), они разумели мирную, бескровную и безопасную протестацию, а не революцию. Революция была сначала конституционная, по-том же сделалась демократическою. В Провизорное правительст-во были избраны два представителя монархическо-конституционной партии, Гейбнер и Тодт (последний был несколько дней перед тем правительственным комиссаром, распустившим парла-мент от имени короля) и только один демократ Чирнер²⁴⁸. Я знал Тодта еще со времени моего самого первого пребывания в Дрез-дене, потом видел его мимоходом во Франкфурте весною 1848-го года; в Дрездене же встретил опять не прежде дня выбора в Провизорное правительство. Депутата Гейбнера [я] совсем не знал, а чем ограничивались до того мои отношения, мое зна-комство с Чирнером, я сказал уже выше.

Когда было собрано Провизорное правительство, я стал на-деяться на успех революции. И в самом деле обстоятельства бы-ли в тот день самые благоприятные: народа много, а войск мало. Большая часть саксонского и без того не весьма многочисленн-го войска воевала тогда за германскую свободу и единство в Schleswig-Holstein "stammverwandt und meerumschlungen" (Шлезвиг-Голштейн, "соплеменной и объята морем"); в Дрездене оставалось, я думаю, не более двух или трех баталь-онов; прусские войска еще не успели придти на помощь, и ниче-го не было легче как овладеть всем Дрезденом. Овладев же им и опираясь на Саксонию, которая вся поднялась и поднялась до-вольно единодушно, только без всякого порядка и плана^{248а}; опи-раясь также на движение прочей Германии, можно бы было по-спорить и с прусскими войсками, которые, равно как и саксон-цы, не показали великой храбрости в Дрездене; они употребили целых пять дней на дело, которое войсками более решительными могло бы быть покончено в один день, а может быть и скорее; ибо хотя в Дрездене было и много вооруженных демократов, но все были парализированы беспутным революционным началь-ством.

В день выбора Провизорного правительства деятельность моя ограничилась советами²⁴⁹. Это было, кажется, 4 мая по новому стилю. Саксонские войска парламентировали, я советовал Чирнеру (Так Бакунин пишет фамилию Тширнер) не давать себя в обман, ибо явно было, что правительство хотело только выиграть время, ожидая прусскую помощь. Советовал Чирнеру прекратить пустые переговоры, не терять времени, воспользоваться слабостью войск для того, чтобы овладеть целым Дрезденом; предлагал ему даже собрать знакомых мне поляков, которых было тогда много в Дрездене, и повести вместе с ним народ, требовавший оружия, на оружейную палату.

Целый день был потерян в переговорах; на другой день Чирнер вспомнил о моем совете и о моем предложении, но обстоятельства уже переменились; бюргеры разошлись по домам с своими ружьями, народ охладел; прибывших Freischaaren (Вольных стрелков, партизан) было еще не много, и, кажется, появились уже первые прусские батальоны 250. Однако, уступив его просьбе, а еще более его обещаниям, я отыскал Гельтмана и Крыжановского и не без труда уговорил их принять вместе со мною участие в дрезденской революции, представляя им, какие выгодные последствия могли произойти из ее успешного хода для самой богемской, ожидаемой нами революции. Они согласились и привели с собой в ратушу, где заседало Провизорное правительство, еще одного впрочем мне незнакомого польского офицера (Голембиовский (из Галиции)).

Мы заключили тогда с Чирнером род контракта; он объявил нам во-первых, что если революция пойдет успешно, то он не удовлетворится одним признанием Франкфуртского парламента и франкфуртской конституции, а провозгласит демократическую республику; во-вторых обязался быть нам помощником и верным союзником во всех наших славянских предприятых; обещал нам денег, оружия, одним словом все, что будет потребно для богемской революции. Просил только не говорить ни о чем Тодту и Гейбнеру, которых называл предателями и реакционерами.

Таким образом мы поселились (Гельтман, Крыжановский, вышеупомянутый польский офицер и я) в комнате Провизорного Правительства за ширмами²⁵¹. Наше положение было престранное: мы составляли род штаба возле Провизорного правительства, которое исполняло беспрекословно все наши требования: но независимо от нас и независимо даже от самого Провизорного правительства действовал и командовал революционерным ополчением обер-лейтенант Гейнце, занявший место начальника национальной гвардии. Он смотрел на нас с явным недоброжелательством, почти с ненавистью, и не только что не исполнил ни одного из наших требований, переходивших ему в виде повелений Провизорного правительства, но действовал нам наперекор, так что все наши старания были напрасны. В продолжение целых суток мы ничего более не требовали, как только пятисот, даже трехсот человек, которых сами хотели вести на оружейную палату, и не могли даже собрать пятидесяти человек, не потому, что их не было, но потому, что Гейнце не допускал к нам никого и разбрасывал всех по целому Дрездену, лишь только прибывали свежие силы²⁵². Я был тогда уверен и теперь еще убежден, что Гейнце действовал как изменник, и не понимаю, как он мог быть осужден как государственный преступник. Он способствовал к победе войск гораздо более, чем сами войска, которые, как я уже рассказал, действовали очень-очень робко ²⁵³.

На другой день, кажется 6-го мая, мои поляки да и Чирнер с ними исчезли. Это случилось таким образом.

Гейбнер, — я не могу вспомнить об этом человеке без особенной грусти! Я его прежде не знал, но успел узнать в продолжение сих немногих дней: в подобных обстоятельствах люди скоро узнают друг друга. Я редко знал человека чище, благороднее, честнее его; он ни природою, ни направлением, ни понятиями своими не был призван к революционной деятельности; был нрава мирного, кроткого; только что женился и был страстно влюблен в свою жену и чувствовал в себе гораздо более склонность писать ей сентиментальные стихи, чем занимать место в революционном правительстве, в которое он, равно как и Тодт, попал как кур во щи. Попал же он в него виною своих конституционных приятелей, которые, пользуясь его самоотвержением и желая парализовать демократические замыслы Чирнера, избрали его. Он же видел в сей революции законную, святую войну за германское единство, которого был пламенным и несколько мечтательным обожателем; думал, что не имеет права отказаться от опасного поста, и согласился. Согласившись же раз, он захотел честно и до конца выдержать свою роль и принес в самом деле величайшую жертву тому, что он считал правым и истинным²⁵⁴. Я не скажу ни слова о Тодте; он был с самого начала деморализован противоречием между своим вчерашним и сегодняшним положением и спасался бегством несколько раз. Но должен сказать слово о Чирнере. Чирнер был всеми признанный (В оригинале "признанная") глава демократической партии в Саксонии; был зачинщик, приуготовитель и предводитель революции — и бежал при первой грозящей опасности, бежал испуганный еще к тому неверным, пустым слухом, одним словом показал себя перед всеми, друзьями и врагами, как трус и подлец. Он потом опять явился; но мне было стыдно говорить даже с ним, и я обращался с тех пор более к Гейбнеру, которого полюбил и стал почитать от всей души. Поляки также исчезли; они вероятно думали, что должны сохранить себя для польского отечества. С тех пор я не видался более ни с одним поляком. Это было мое последнее прощание с польскою национальностью²⁵⁵.

Но я прервал свой рассказ; итак Гейбнер и я пошли на баррикады, отчасти чтоб ободрить дерущихся, отчасти же для того чтобы хоть несколько узнать положение дел, о котором в комитете Провизорного правительства никто не имел ни малейшего известия²⁵⁶. Когда мы возвратились, нам оказали, что Чирнер и поляки, испуганные ложною тревогою, почли за нужное удалиться, и советовали нам сделать то же самое²⁵⁷. Гейбнер решился остаться, я — также; потом возвратился и Чирнер, потом и Тодт, но последний пробыл недолго, и опять скрылся. (Отчеркнуто карандашом на полях)

Я остался не потому, чтобы надеялся на успех. Все было так испорчено господами Чирне[ром] и Гейнце, что только чудо могло спасти демократов; не было возможности восстановить порядка, все было до такой степени перемешано, что никто не знал, ни что делать, ни куда ни к кому обратиться. Я ожидал поражения, и остался отчасти потому, что я не мог решиться оставить бедного Гейбнера, который сидел тут как агнец, приведенный на заклание; но еще более потому, что как русский более всех других подвергался подлым подозрениям и, не раз оклеветанный, я считал себя обязанным, равно как и Гейбнер, выдержать до Конца.

Я не могу, государь, отдать Вам подробного отчета в трех или четырех днях, проведенных мною в Дрездене после бегства поляков. Я хлопотал много, давал советы, давал приказания, со-ставлял почти один все Провизорное правительство, делал одним словом все, что мог, чтобы спасти погубленную и видимо погибав-шую революцию; не спал, не ел, не пил, даже не курил, сбился со всех сил и не мог отлучиться ни на минуту из комнаты прави-тельства, опасаясь, что Чирнер опять убежит и оставит моего Гейбнера одного.

Собирал несколько раз начальников баррикад, старался восстановить порядок, собрать силу для наступательных действий; но Гейнце разрушал все мои меры в зародыше, так что вся моя напряженная, лихорадочная деятельность была всуе. Некоторые из коммунистических предводителей баррикад вздума-ли было жечь Дрезден и сожгли уже несколько домов. Я никогда не давал к тому приказаний: впрочем согласился бы и на то, если бы только думал, что пожарами можно спасти саксонскую революцию. Я никогда не мог понять, чтобы о домах и о неодо-шевленных вещах следовало жалеть более, чем о людях.

Саксон-ские, равно как и прусские солдаты тешились и стреляли в цель на безвинных женщин, выглядывавших из окон, и никто тому не удивлялся; а когда демократы стали жечь дома для своей соб-ственной обороны, все закричали о варварстве. А надо сказать, что добрые, нравственные, образованные немецкие солдаты пока-чали в Дрездене несравненно более варварства, чем демократы. Я сам был свидетелем того негодования, с которым все демо-краты, простые люди, бросились на одного вздумавшего было ру-гаться над ранеными прусскими солдатами. Но горе было тому демократу, который попадался в руки солдат! Господа офицеры сами редко показывались, берегли себя с величайшею нежно-стью, а солдатам приказывали не делать пленных, так что пере-били, перекололи и перестреляли в завоеванных домах многих и не думавших даже мешаться в революцию: так был заколот вместе с своим камердинером один молодой FЭrst (Князь), чуть ли еще не родственник одного из небольших германских potentатов, приехавший в Дрезден для того, чтобы лечить свои глаза (Это был принц Шварцбург-Рудольштадтский.)

Я узнал сии обстоятельства не от демократов, но из самого верного источника, а именно от унтер-офицеров, участвовавших деятель-ным образом в дрезденских событиях, потом же приставленных за моим присмотром. Я находился с некоторыми из них в боль-шой приязни и узнал в крепости Кенигштейн от них многое, что нимало не доказывает ни человеколюбия, ни храбрости, ни ума господ саксонских и прусских офицеров. Но возвращусь к своему рассказу.

Я пожаров не приказывал, но не позволял также, чтобы под предлогом угашения пожаров предали город войскам; когда же стало явно, что в Дрездене уже более держаться нельзя, я пред-ложил Провизорному правительству взорвать себя вместе с ра-тушею на воздух, на это у меня было порохи довольно; но они не захотели²⁵⁸. Чирнер опять бежал, и с тех пор я более не ви-делся с ним. Гейбнер и я, разослав повсюду приказания ко всеоб-щему отступлению, выждали еще некоторое время, пока прика-зания наши были исполнены, потом удалились со всем ополче-нием, взяв с собою весь порох, всю готовую аммуницию и наших раненых²⁵⁹. Я до сих пор не понимаю, как нам удалось, как нас допустили совершить не бегство, но правильное, порядочное от-ступление, в то время как было так легко уничтожить нас в прах на чистом поле. Я мог бы подумать, что человеколюбие остано-ви-ло

начальников войск, если бы после того, что видел и слышал перед моим заключением и после, мог верить в их человеколюбие; и объясняю сие обстоятельство опять тем же, что в мире все относительно, и что немецкие войска, равно как и немецкие правительства, созданы для борьбы с немецкими демократами.

Однако, хотя ретирада наша была совершена довольно порядочно, войско наше было совсем деморализовано. Прийдя в Фрейберг и желая продолжать войну на границе Богемии, — я все еще надеялся на богемское возмущение, — мы старались ободрить его, установить в нем новый порядок; но не было возможности; все были утомлены, измучены, без всякой веры на успех; да и мы сами держались кое-как, последним усилием, последним болезненным напряжением²⁶⁰. В Хемнице вместо ожидаемой помощи мы нашли предательство; реакционерные граждане схватили нас ночью в кроватях и повезли в Альтенбург, для того что-бы предать прусскому войску. Саксонская следственная комиссия удивлялась потом, как я дал себя взять, как не сделал попытки для своего освобождения. И в самом деле можно было вырваться из рук бюргеров; но я был изнеможен, истощен не только телесно, но еще более нравственно и был совершенно равнодушен к тому, что со мною будет²⁶¹. Уничтожил только на дороге свою карманную книгу, а сам надеялся, что по примеру Роберта Блюма²⁶² в Вене меня через несколько дней расстреляют, и боялся только одного: быть преданным в руки русского правительства. Надежда моя не сбылась, судьба сулила мне жребий другой.

Таким образом окончилась жизнь моя, пустая, бесполезная и преступная; и мне остается только благодарить бога, что он остановил меня еще во-время на широкой дороге ко всем преступлениям.

Исповедь моя кончена, государь! Она облегчила мою душу. Я старался сложить в нее все грехи и не позабыть ничего существенного; если же что позабыл, так ненарочно. Все же, что в показаниях, обвинениях, доносах против меня будет противно мною здесь сказанному, — решительно ложно или ошибочно или клеветливо²⁶³.

Теперь же обращаюсь опять к своему государю и, припадая к стопам Вашего императорского величества, молю Вас:

Государь! я — преступник великий и не заслуживающий помилования! Я это знаю, я если бы мне была суждена смертная казнь, я принял бы ее как наказание достойное, принял бы почти с радостью: она избавила бы меня от существования несносного и нестерпимого. Но граф Орлов сказал мне от имени Вашего императорского величества, что смертная казнь не существует в России. Молю же Вас, государь, если по законам возможно и если просьба преступника может тронуть сердце Вашего императорского величества, государь, не велите мне гнить в вечном крепостном заключении! Не наказывайте меня за немецкие грехи немецким наказанием²⁶⁴. Пусть каторжная работа самая тяжкая будет моим жребием, я приму ее с благодарностью, как милость, чем тяжелее работа, тем легче я в ней позабудусь! В уединённом же заключении все помнишь и помнишь без пользы; и мысль и память становятся невыразимым мучением, и живешь долго, живешь против воли и, никогда не умирая, всякий день умираешь в бездействии и в тоске. Нигде не было мне так хорошо, ни в крепости Кенигштейн, ни в Австрии, как здесь в Петропавловской крепости, и дай бог

всякому свободному человеку найти такого доброго, такого человеколюбивого начальника, какого я нашел здесь, к своему величайшему счастью²⁶⁵! И несмотря на то, если-бы мне дали выбрать, мне кажется, что я вечному заключению в крепости предпочел бы не только смерть, но даже телесное наказание.

Другая же просьба, государь! Позвольте мне один и в последний раз увидеться и проститься с семейством²⁶⁶; если не со всем, то по крайней мере со старым отцом, с матерью и с одною любимою сестрою, про которую я даже не знаю, жива ли она (Татьяна Александровна).

Окажите мне сии две величайшие милости, всемилостивейший государь, и я благословлю проведение, освободившее меня из рук немцев, для того чтобы предать меня в отеческие руки Вашего императорского величества.

Потеряв право называть себя верноподданным Вашего императорского величества, подписываюсь от искреннего сердца

Кающийся грешник

Михаил Бакунин ²⁶⁷.

Комментарии

1 Итак по заявлению самого Бакунина царь требовал от него не просто записки о немецких и славянских делах, а полной исповеди всех его прегрешений, т. е. так называемого откровенного и чистосердечного рассказа обо всех планах, предприятиях, связях и пр. Это впрочем подтверждается и самим содержанием Исповеди, как мы сейчас увидим. Дальше Бакунин снова ссылается на свой разговор с Орловым, когда передает слова последнего, что русскому правительству было донесено, будто Бакунин рассказывал за границей о своих сношениях "с Россиею, особенно с Малороссиею" (это кстати показывает, каких сообщений ждал Николай от твоего пленника). Отсюда ясно, что Орлов указал Бакунину, о чем надо писать, что занимает царя и т. п. Что таким образом Бакунину были поставлены устные вопросы, это очевидно. Но весьма вероятно, что ему были поставлены и письменные вопросы, список которых лежал перед ним, когда он в тюремной камере писал свою "Исповедь". Возможно, что ему предъявлялись и различные документы в качестве улик или с требованием по ним объяснений. В нескольких местах Бакунин прямо говорит об этих "обвинительных документах", к которым он относит свои выступления на собраниях и в печати, статьи, брошюры и т. п. Конечно эти места можно толковать и так, что он просто знал о наличии этих документов в своем "Деле". Но откуда же узник равелины, содержащийся в строжайшем секрета, мог знать о содержании своего "Дела", если ему его не показывали или по крайней мере о нем не говорили?

Что Бакунину приходилось отвечать, на определенные вопросы, видно из отдельных выражений, попадающихся в "Исповеди", как например: "Но прежде я должен отвечать на вопрос"... или "Я должен сначала сказать, что я хотел: потом стану описывать сами действия", т. е. не только указывались вопросы, на которые нужно было отвечать, но и устанавливался порядок, в каком надлежало давать ответы. При этом Бакунину было указано, что ответы должны быть исчерпывающими и не оставлять ни одного пункта неосвещенным. Это видно из следующих слов его в последней части "Исповеди": "Я сказал все, государь, и сколько ни думаю, не нахожу ни одного несколько важного обстоятельства, которое было бы мною здесь пропущено" и дальше: "Я старался... не позабыть ничего существенного; если же что позабыл, так ненарочно". Ясно, что список вопросов был.

Что среди них были и вопросы о германских и славянских делах, в этом нет сомнения. Ответы на эти вопросы интересовали Николая не

только с точки зрения определения вины и преступности Бакунина, но и с точки зрения возможного использования их для внешней политики самодержавия. Наличие таких вопросов явствует из слов самого Бакунина, который говорит, что должен отвечать на вопрос о событиях в Германии и Богемии, о своем к ним отношении, о своих замыслах, о средствах для осуществления этих замыслов, о своих связях и действиях в Чехии, Саксонии и пр. Специальный вопрос был о дрезденском восстании, относительно которого требовался "подробный отчет", и роли в нем Бакунина, равно как о тайных обществах, в

которых он в разное время участвовал в Париже, Германии, Чехии и т. д. Был особый вопрос о сношениях с венграми, которые в то время особенно интересовали Николая, ибо их революция чуть было не занесла искру революционного пожара в саму царскую империю. Был нако-нец вопрос о связях Бакунина с поляками, вопрос, который наиболее тревожил николаевских жандармов, и по поводу которого Бакунину пришлось давать особенно подробные объяснения, весьма далекие от полноты, "искренности" и "чистосердечия".

Но главные вопросы все-же касались отношения Бакунина к русским оппозиционным течениям, к русским революционным замыслам и предпринятиям. Ему предлагалось яснее определить свое положение в момент отъезда из Парижа на русскую границу, указать свои знакомства и связи с русскими в Париже и других местах; в частности ставился вопрос о существовании между ними общества. В особенности следователи интересовались вопросом о том, как он "разумел" "революционную пропаганду в России", и относительно "русской пропаганды" требовалось от него сообщение всех подробностей. Три относящиеся к этой теме вопроса Бакуниным формулируются так, что ясна их принадлежность Орлову, сиречь Николаю, а именно: первый вопрос: почему он желал революции в России?; второй вопрос: какого порядка вещей желал он на место существующего порядка?; и третий вопрос: какими средствами и какими путями думал он начать революцию

в России?

Этими вопросами и определялось в значительной, если не в главной

мере содержание "Иоповеди".

2 В цитированном письме к Герцену от 8 декабря 1860 года Бакунин писал: "Письмо мое, рассчитанное во-первых на ясность моего по-видимому безвыходного положения, с другой же — на энергический нрав Николая, было написано очень твердо и смело — и именно потому ему очень понравилось. За что я ему действительно благодарен, это что он по получении его ни о чем более меня не допрашивал".

3 Бакунин был произведен в офицеры в январе 1833 года, в возрасте 18 лет. Любовь, о которой он здесь говорит, вероятно была тем увлечением его кузиною Марией Воейковой, о котором он сообщал сестрам в письмах, относящихся к 1833 году и напечатанных в томе I настоящего издания. Но это увлечение у Бакунина скоро прошло, и в начале 1834 года он уже вспоминал о своем былом увлечении иронически. Вряд-ли оно было причиной его неуспеха и отправки в "маленький гарнизон". Ведь в училище он пробыл еще год после производства в офицеры. Основанная на семейных и товарищеских рассказах легенда о каком-то столкновении Бакунина с тогдашним главным начальником артиллерийского училища ген. И. О. Сухожанетом, в результате какового за непочтительный ответ начальнику Бакунин был до окончания офицерских классов переведен в одну из армейских артиллерийских бригад, квартировавших в Западном крае, не находит подтверждения в показаниях других источников, в том числе и самого Бакунина.

4 Весною 1834 года Бакунин был уже в Литве; жил он там в Молодечно, Картуз-Березке, Вильне к пр. В июне 1834 он ездил в гости к родным в Прямухино, а в июле возвратился в

свой маленький гарнизон; в кон-це января 1835 г. он еще находился там, как об этом свидетельствует пись-мо его к Сергею Муравьеву (напечатанное в томе I настоящего издания). Но в апреле того же 1835 года мы видим его снова дома, в Тверской гу-бернии, откуда он обратно в батарею уже не возвращается.

18 октября 1835 года прапорщик Бакунин был уволен от службы "по собственному желанию" — вопреки воле отца, который полагал, что сыновья его, как люди небогатые, должны будут обеспечить себе сытую жизнь службою. Как дворянин он естественно предпочитал военную службу, но на худой конец готов был примириться и со штатской.

5 Бакунин выехал из Петербурга 29 июня 1840 г., а из Кронштадта 30 июня (ст. ст.). 5/17 июля он ступил в Травемюнде на немецкую почву, а 13/25 июля был в Берлине. В конце 1841 года мы видим его уже в Дрездене, куда он окончательно перебирается в начале 1842 года. Таким об-разом указание его на полугодовую учебу в Берлинском университете довольно точно. Довольно точно и его сообщение о слабости в нем поли-тических интересов в это время: его самого и его окружение, в том числе И. С. Тургенева, тогда тоже берлинского студента и приятеля Бакунина, больше интересовали вопросы философские, эстетические, литературные и т. п. Но в деталях его характеристика своего тогдашнего настроения не совсем верна; в частности неверно его сообщение о том, что он в то время не читал газет: оно опровергается его же собственными письмами, напеча-танными в томе II настоящего издания, например письмом от 28 августа — 9 сентября 1840 г.; в этом письме, написанном вскоре по поезде его в Берлин, говорится, что он ежедневно ходит в кондитерскую и читает там газеты. Но верно, что в тот момент газеты влекли его в первую голову не политическими событиями, и во всяком случае за политическою хроникою он следил тогда без особого интереса и волнения.

6 Фридрих-Вильгельм IV (1795—1861)—прусский король, вступил на престол в 1840 году, когда несмотря на торжество реакции в Германии начиналось движение либеральной буржуазии к политической сво-бодe и объединению разрозненного отечества. Всемерно сопротивлялся это-му движению, но, принужденный скрывать свои истинные стремления реак-ционного помещика, добивался репутации человека с либеральными тенден-циями. Несмотря на все усилия монархии, сдержать нараставшую револю-цию не удалось. После того как к оппозиционному движению примкнули часть крестьянства и передовая часть пролетариата, революция разрази-лась в 1848 году. Вынужденная к уступкам прусская монархия скоро взяла их обратно и даже помогла подавить революционное движение в соседних немецких государствах (Саксонии, Бадене и т. п.). Будучи давно неуравно-вешенным человеком, Фридрих-Вильгельм IV в 1857 г. окончательно поме-шался, после чего фактическая власть перешла к его брату Вильгельму, позже германскому императору Вильгельму I.

7 В Дрездене Бакунин завел множество знакомств среди саксонских демократов через посредство А. Руге, в то время весьма популярного в демократических кругах. Так он познакомился здесь с Кехли, Л. Витти-гом, О. Вигандом, Тодтом и многими другими. Некоторые из этих знакомств пригодились ему впоследствии, особенно в 1848—1849 годах.

Своих связей с дрезденскими демократическими и либеральными кругами Бакунин и проживавший с ним в конце 1842 года в Дрездене брат Павел не скрывали: так имена их стоят в списке членов-учредителей дрезденского литературного общества, которое в качестве центра дрезденской либеральной интеллигенции привлекало к себе внимание местной полиции. Вольное поведение Бакунина на дрезденской променаде описано в воспоминаниях А. Руге. Неудивительно, что братья Бакунины уже тогда обратили на себя внимание полиции: так Б. Николаевский в статье "Бакунин эпохи его первой эмиграции в воспоминаниях немцев-современников" ("Каторга и Ссылка" 1930, N 8/9, стр. 114) приводит выдержку из книги Karl Glossy "Literarische Geheimberichte aus dem VormDrz" (Вена 1912, стр. 344), из которой видно, что агенты австрийской полиции в своем рапорте из Дрездена от 30 октября 1842 года аттестовали братьев Бакуниных как "ярых либералов". А. Ф. Кюрнбергер в своей цитированной выше статье сообщает — повидимому со слов Бакунина — о предупреждении, полученном в то время братьями от русского посла (вероятно при саксонском дворе), который рекомендовал им во избежание неприятностей воздержаться от общения с оппозиционными элементами. Таким образом не исключена возможность того, что в поле зрения российской полиции Бакунин попал уже с конца 1842 года. Это могло послужить одною из причин, натолкнувших его на мысль об эмиграции.

8 Об авторстве Бакунина скоро стало известно литературным, а затем и полицейским кругам; далее это дошло до сведения российских дипломатических представителей в Германии, а от них до русских жандармов и царя (см. комментарий к тому III). Но Бакунин ошибался, когда приписывал запрещение журнала Руге помещению им статьи Жюль Элизара. Правда это запрещение произошло вскоре после появления этой статьи; возможно даже, что появление ее не осталось без некоторого влияния на судьбу журнала. Но у последнего на взгляд прусского правительства и послушного ему правительства саксонского было достаточно и иных грехов, чтобы подвергнуться указанной участи.

9 Осенью 1842 года Г. Гервег, уже известный как революционный поэт и радикальный демократ, предпринял поездку в Германию для вербовки сотрудников в журнал "Немецкий Вестник из Швейцарии", который решено было превратить из выходившей дважды в неделю под редакцией Карла Фребеля (см. комментарий к тому 3) газеты в ежемесячник под редакцией Г. Гервега. Эта поездка превратилась в триумфальное шествие. Гервег посетил Кельн, где познакомился и сдружился с К.-Марксом, затем двинулся в Дрезден к А. Руге, где познакомился и быстро сошелся с Бакуниным и И. Тургеневым, у которых поселился на квартире, оттуда поехал с Руге в Берлин, где у него установились нехорошие отношения с кружком "Свободных" (Бауеры, Мейен, Штирнер и пр.) вследствие его обручения с дочерью негоцианта Эммою Зигмунд и согласия на аудиенцию у короля Фридриха-Вильгельма IV, что безусловно было политическою бестактностью. После обмена лицемерными кисло-сладкими любезностями у короля Гервег направился в Кенигсберг, где узнал о том, что правительство этого якобы "либерального" монарха запретило проектировавшийся журнал. Тогда Гервег написал открытое письмо королю, которое попало в руки редактора "Лейпцигской всеобщей газеты" и было там опубликовано. Газета была закрыта, Гервег выслан из Пруссии, а цензурные гонения усилены. Когда Гервег, считая свое дальнейшее пребывание в Германии небезопасным, решил уехать обратно в Швейцарию, Бакунин последовал за ним. При этом им руководили мотивы двоякого рода: с одной стороны и он стал опасаться за свою безопасность, зная, что на него вследствие его связей уже обратила внимание

немецкая полиция, а через нее и российские дипло-матические агенты в Германии, а с другой—сильно ухудшившееся к этому моменту материальное его положение, в частности невозможность распла-титься с кредиторами и безнадёжность дальнейших займов, заставляли его, как мы предполагаем, склоняться к мысли о перемене местожительства.

Во всяком случае было бы неверно утверждать, что "этот легкомыс-ленный шаг", как называет Бакунин свое решение последовать в Швейца-рию за Гервегом, во-первых был неожиданным, а во-вторых сыграл решаю-щую роль в его судьбе. Как мы уже знаем из материалов, напечатанных нами в томе III настоящего издания, особенно из писем к родным начиная с лета 1842 года и специально в письме от 9 октября 1842 года к брату Николаю, видно, что Бакунин и до того решил эмигрировать и в Рос-сию не возвращаться.

10 Т. е. выходцев из Германии. Бакунин обобщает здесь свой кратко-временный цюрихский опыт. Он имеет в виду тот круг, в который попал по приезду в Цюрих, где литературная деятельность немецких уроженцев бы-ла в то время весьма оживленною вследствие цензурного гнета на родине. Фребели, Фоллены, Гервег и пр. в Цюрихе, Фохты в Берне были умствен-ными центрами для немцев, попавших в Швейцарию. Кроме "Немецкого Вестника" им принадлежала еще цюрихская газета "Швейцарский Респу-бликанец", в которой появилась статья Бакунина о коммунизме (см. том III настоящего издания). Но они издавали много и для самой Германии, отчасти используя для этого освобождение книг свыше 20 печатных листов от цензуры.

11 О братьях Фребель, Юлии и Карле, о братьях Ромерах, о Блюнчли см. комментарий к тому 3 настоящего издания.

Когда цюрихские реакционеры, стоявшие у власти, добились высылки Гервега из цюрихского кантона, правительство кантона Базель даровало ему право гражданства. Впрочем он вскоре после того уехал в Париж, где поселился после свадебного путешествия по Италии, Франции и Бельгии. Одно время Гервег увлекался коммунизмом и сближался с немецкими ре-месленниками в Швейцарии: через него Бакунин и познакомился с В. Вейтлингом. После провала мысли о превращении "Немецкого Вестника" в тол-стый журнал немецких радикалов Гервег вместе с Руге и Марксом задумали издавать в Париже "Немецко-французские Ежегодники". Вышла в 1844 го-ду, как известно, только одна двойная книжка этого журнала, прекратив-шегося вследствие ссоры Маркса с Руге, имевшей в основе серьезные по-литические расхождения, но с личной стороны вызванной различным отно-шением их к Гервегу, вольный образ жизни которого в Париже весьма резко порицался педантичным Руге.

12 Это утверждение в общем совершенно верно: ни тогда, ни до того ни позже Бакунин коммунистом не был. Нам известно только одно заяв-ление его, которое можно истолковать в смысле призыва своей солидарности с коммунистическими идеями (в письме к Р. Зольгеру от октября 1844 года, напечатанном в томе III настоящего издания). В рассматривае-мое время он был демократом с весьма туманными политическими взгля-дами; позже в его мировоззрение проникают анархистские элементы, при-сущие впрочем всякому "крестьянскому социализму", а на позиции послед-него Бакунин и стоял в расцвет своей политической деятельности, в конце 40-х годов и в 60—70-е годы. И во все эти

периоды взгляды его окрашены были более или менее сильным налетом революционного панславизма (у него тоже одна из разновидностей крестьянского социализма).

13 Эти рассуждения о "гниении" Запада вообще не были присущи Бакунину, который в отличие от Герцена в этом пункте резко расходился с московскими славянофилами. В его речах и сочинениях мы подобных заявлений, столь обычных в произведениях Герцена, не встретим. В "Исповеди" же, где он лицемерит, где он приспособляется к миропониманию Николая I и к казенно-российской философии истории, он позволил себе такие рассуждения, над которыми в глубине души сам смеялся.

14 Вейтлинг был арестован в Цюрихе 8 июля 1843 года в связи с выходом печатного проспекта его подготовлявшейся к изданию книги "Евангелие бедного грешника". За богохульство и тайную коммунистическую пропаганду он был приговорен к 10 месяцам тюремного заключения, а затем в мае 1844 г. выдан прусскому правительству, которое впрочем скоро отпустило его на свободу. Вейтлинг уехал в Лондон, затем в Брюссель и наконец, в Америку.

15 Зная, что в глазах Николая I сношения с поляками представляют особенно тяжкое преступление, Бакунин в тех местах своей "Исповеди", где ему приходится касаться этого щекотливого предмета, старается всячески смягчить свое изложение, затушевать и обойти компрометирующие факты и т. д. В данном случае он невидимому прямо говорит неправду. Как мы знаем по третьему тому настоящего издания, Бакунину предлагали в рассматриваемое время писать книгу о России, относительно же брошюры о Польше в то время вряд ли могла идти речь. Но чтобы он вообще не имел в тот период польских знакомых или не встречал поляков в Дрездене, в этом позволительно усомниться.

16 Бакунин уехал с А. Рейхелем из Швейцарии в Бельгию 9—10 февраля 1844 года, как видно из письма его к Луизе Фохт, напечатанного в томе III настоящего издания.

17 Воззвание к россиянам, выпущенное в 1832 году лелевелевским комитетом в Париже, предлагающее революционную солидарность русскому народу против царизма и содержащее некоторые принципы революционного панславизма, было для реакционного французского правительства только предлогом к расправе с польскою эмиграцией. Лелевелевский комитет был распущен, а членам его предложено оставить Париж и не подъезжать к нему ближе 50 километров. А после лионских апрельских волнений 1834 года полякам, подозреваемым в близости к французским революционерам, предложено было выехать из Франции. Этой участи подверглись Лелевель, Ворцель и другие.

18 Здесь Бакунин не совсем точен. Как теперь установлено, он побывал в Париже уже в марте 1844 года: об этом ясно говорится в письме Руге к Кехли из Парижа от 24 марта 1844 г. (письмо хранится в Институте Маркса, Энгельса и Ленина и пока не опубликовано). В этом письме рассказывается о собрании эмигрантов с французскими оппозиционерами, причем упоминается и Бакунин: "Вчера, мы, немцы, русские и французы, собрались совместно на обед, чтобы поближе рассмотреть и обсудить наши дела: русские Бакунин, Боткин, Толстой (rIfugiIs dImocrates communistes), Маркс, Рибентроп, я и Бернайс, французы Леру, Луи Блан, Феликс Пиа и Шельхер. В общем мы прекрасно столковались". В

этом письме все замечательно: и то, что трусливый обыватель В. П. Боткин попал в разряд революционных эмигрантов-коммунистов; и то, что в эту категорию попал Г. М. Толстой, о котором здесь несомненно говорится и которого тоже коммунистом назвать было трудно; и то, что коммунистом объявлен Бакунин, таковым не бывший (но слова, эти наводят на предположение, что в течение некоторого времени в 1844 году он так себя называл или таковым себя считал); и то, что сумели быстро столкнуться люди столь различных направлений, как перечисленные в письме. Но особенно замечательна быстрота, с которой Бакунин сумел проникнуть в руководящие демократические круги того исторического периода (насколько нам известно, из названных французов он до того знал лишь П. Леру, которому писал или собирался писать еще в начале 1843 года; см. том III). Надо полагать, что в этом отношении ему оказал большую помощь А. Руге, который и ввел его в эти круги и в частности вероятно познакомил его с Марксом. Но помощь в этом отношении мог оказать ему и Г. Гервег. Так или иначе Бакунину повезло, и он очень быстро завязал много знакомств среди влиятельнейших политических деятелей того времени.

19 Речь идет о "Немецко-французских Ежегодниках", журнале, который должен был объединить немецких и французских демократов и послужить пунктом идейной концентрации для левого крыла немецкой демократии. После выхода единственного двойного номера журнал закрылся как по материальным причинам, так и вследствие политических разногласий, вызванных расхождением пролетарского и мелкобуржуазного крыльев немецкого демократизма.

20 Здесь Бакунин путает два разные периода в жизни этого листка. "Форвертс" (Вперед) начал выходить в начале 1844 года в Париже; издавал его некий Генрих Бернштейн, литературный гешефтмахер, на субсидию известного композитора Д. Мейербера, весьма падкого на рекламу. В редакторы газетки, выходившей на немецком языке дважды в неделю, приглашен был бывший прусский офицер А. фон Борнштедт, впоследствии оказавшийся полицейским агентом, а в рассматриваемое время разыгрывавший за границу роль радикала и даже коммуниста. Вначале листок носил беспартийный и обывательский характер и даже поругивал радикалов, в частности враждебно встретил выход "Немецко-французских Ежегодников". Но когда, несмотря на это, газета была в Пруссии запрещена, Бернштейн решил придать ей прогрессивный характер в надежде таким путем доставить ей большее распространение.

В редакторы вместо отказавшегося Борнштедта приглашен был Бернайс, в сотрудники — Г. Гейне и т. п. В газете появились статьи Руге, Маркса и пр. Ближе к редакции стоял и Бакунин, одно время проживавший даже в ее помещении (см. комментарий ж тому III). После появления в газете статьи по поводу покушения бургомистра Чеха на Фридриха-Вильгельма IV французское правительство по жалобе прусского приняло ряд репрессивных мер против "Форвертса" (в частности высылку Маркса), что привело к закрытию этой газеты. Самому Бернштейну удалось отделаться от высылки. Если верно, что Бакунин торжествовал по поводу высылки немцев, преимущественно Маркса (потому что пострадал главным образом он), то это показывает, насколько он уже тогда ненавидел Маркса. Впрочем надо полагать, что мы имеем здесь дело с одной из неискренних выходов Бакунина, направленных к снисканию благоволения Николая I.

21 Точный текст "Мнения государственного совета" по делу Бакунина опубликован В. Богучарским в "Голосе .минувшего" 1913, N 1, стр.. 182— 184. Приводим его оттуда.

"Государственный совет в департаменте гражданских и духовных дел, рассмотрев всеподданнейший доклад правительствующего сената 5 департамента об отставном прапорщике (у Богучарского напечатано: "отставке прапорщика", но это — явная ошибка. — Ю С.) Михаиле Бакунине и признавая его по обстоятельствам дела виновным в преступных за границею сношениях с обществом злонамеренных людей и в ослушании вызову правительства и высочайшей воле о возвращении в Россию, мнением положил: подсудимого сего согласно с приговором сената, лишив чина и дворянства, сослать, в случае явки в Россию, в Сибирь в каторжную работу, а затем и в остальной части дела об имени его утвердить заключение правительствующего сената. — Председатель Государственного Совета князь И. Васильчиков" (Васильчиков, Илларион Васильевич, князь (1777—1847)—русский военный и государственный деятель. На военную службу поступил в 1792 г., а в 1801 г. был уже генерал-адъютантом. Участвовал в наполеоновских войнах 1807—1814. С 1817 по 1822 был командующим отдельно-го гвардейского корпуса. С 1823 член Гос. Совета, с 1838 председатель

Гос. Совета и Комитета министров. В 1839 возведен в княжеское достоинство.)

К этому "мнению" приложена "Краткая записка ко всеподданнейшему докладу правительствующего сената 5-го департамента 1-го отделения об отставном прапорщике Михаиле Бакунине, преданном суду по высочайшему повелению за невозвращение из-за границы вопреки высочайшей воле" следующего содержания:

"В октябре 1843 года генерал-адъютантом графом Бенкендорфом получено было сведение что отправившийся в 1840 году по паспорту за границу сын помещика Тверской губернии отставной прапорщик Михаила Бакунин, находясь в Цюрихе, входил в сношение с обществом злонамеренных людей и по принятии швейцарским правительством к обнаружению замыслов сего общества [мер] скрылся из Цюриха и переезжал из места в место под разными именами. Граф Бенкендорф, обязав отца упомянутого офицера, отставного коллежского советника Бакунина, чтобы он потребовал сына своего из-за границы и ни под каким предлогом не посылал к нему денег, доколе он не возвратится в Россию, отношением к вице-канцлеру графу Нессельроде просил об объявлении через наше посольство и миссию прапорщику Бакунину, чтобы он немедленно возвращался в Россию.

"На это вице-канцлер уведомил графа Бенкендорфа, что наш поверенный в делах [в] Швейцарии, коллежский советник Струве, лично объявил в Берне 25 января означенное приказание прапорщику Бакунину; но сей последний хотя и обещал представить паспорт свой для промена оного другим на возвращение в Россию, но, не исполнив сего, уехал из Берна в Германию (?) и письмом уведомил Струве, что он, Бакунин, по важным для него делам необходимо должен отправиться в Лондон.

"Граф Нессельроде вследствие сего сообщил посольству нашему в Лондоне, чтобы вразумить Бакунина, какой ответственности он подвергает себя неисполнением требований правительства, и подтвердить приказание возвратиться в Россию; после чего доставил к

графу новое сведение, по-лученное из Цюриха, что Бакунин во время пребывания в Швейцарии был в связях со всеми главными лицами, злоумышляющими об изменении настоящего порядка вещей в государствах.

"Об обстоятельствах сих граф Бенкендорф всеподданнейше доводит до сведения государя императора, и как с одной стороны прапорщик Бакунин упорствует в исполнении приказаний правительства, а с другой — офицер сей обнаружил весьма вредные качества, то его величество высочайше по-велеть соизволил: поступить с Бакуниным таким же образом, как в не-давнем времени повелено поступить с дворянином Головиным, т. е. подвергнуть его ответственности по силе законов.

"Из формулярного списка подсудимого видно, что он - 28 лет, из дворян, за родителями его 500 душ крестьян в Тверской губернии, всту-пил в службу фейерверкером 1829 года декабря... (пропуск а оригинале) в Артиллерийское училище, переименован в юнкера 1830 апреля 30, в оном же училище по высочайшему приказу произведен по экзамену Прапорщиком 1833 января 22, высочайшим приказом 18 декабря 1835 года уволен от службы за болезнью.

"С.-Петербургский надворный уголовный суд мнением 27 апреля и палата уголовного суда решением 13-го июня 1844 года присудили Бакунина за вышеупомянутое преступление к лишению всех прав состояния и

ссылке в Сибирь в каторжную работу с тем, чтобы имение его было взято в секвестр.

"С решением сим, пропущенным губернским прокурором без протеста, согласился и с.-петербургский гражданский губернатор, представивший дело это в правительствующий сенат 21 июля.

"Правительствующий сенат обращал оный при указе от 14-го августа в уголовную палату для учинения подсудимому вновь вызова к суду; но 16-го октября объявлено было исправляющим должность товарища министра юстиции высочайшее повеление о том, что государь император, при-нимая в соображение, что после безуспешности сделанных Бакунину вы-сочайшим именем письменных вызовов через посредство посольства и словесных внушений об ответственности, которой он должен подвергнуться за преслушание, новый вызов послужил бы токмо к напрасному промед-лению дела, высочайше повелеть изволил: ныне же приступить к рассмот-рению дела о Бакунине для поступления с виновным по законам, не делая новых вызовов, а правительствующему сенату заметить неосновательность его действий по сему делу, в котором, если бы было сомнение, то следовало испросить высочайшее его императорского величества разрешение.

"По выслушании сего предложения 18 октября сенат принял высочай-шее замечание к исполнению в подобных случаях, паче чаяния впредь встре-чаться могущих, а вместе с тем предписал 19 числа с.-петербургской уго-ловной палате о немедленном представлении дела о Бакунине на его рас-смотрение, прекратив всякое по оному производство.

"А 26 октября уголовная палата, истребовав настоящее дело из надвор-ного уголовного суда, представила оное в правительствующий сенат.

"Правительствующий сенат, рассмотрев это дело 26 октября, решительным определением заключил: отставного прапорщика Михаила Александрова Бакунина согласно с решением судебных мест первой и второй инстанций, лишив чина, дворянского достоинства и всех прав состояния, в случае явки в Россию сослать в Сибирь в каторжную работу, а имение его, какое окажется где-либо собственно ему принадлежащим, взять на основании 271 ст. 15 тома Св[ода] зак[онов] угол[овных] теперь же в сек-

вестр.

"О таковом постановлении сената по силе 1308 ст. 15 т[ома] подвести его императорскому величеству всеподданнейший доклад и просить в разрешении высочайшего указа.

"Исправляющий должность обер-секретаря (подпись неразборчива). В

должности секретаря Зыбин".

22 Письмо Бакунина в редакцию парижской радикальной газеты "Ре-форма" было напечатано в номере от 27 января 1845 года. Русский перевод его напечатан в томе III настоящего издания под N 481. См. там же и комментарий к письму.

23 Чарторижский или Чарторыйский, Адам, князь (1770— 1861)—польский государственный деятель, умеренно-либеральный аристократ; будучи в молодости заложником в Петербурге, сблизился с Александром I и тщетно пытался использовать эту близость в интересах Польши. С 1804 по 1807 был министром иностранных дел. Постепенно разошелся с Александром, когда убедился, что при всех своих лицемерных либеральных фразах царь проводит интересы российского дворянства. В 1815 после образования Царства Польского принимал участие в его устройстве, но не играл руководящей роли, будучи несогласен с политикой царя, нагло на-рушавшего им же "дарованную" конституцию. До, во время и после вос-стания 1831 года, в котором принимал участие, выступал в качестве представителя аристократической партии, высказывался против резких мер, против демократических начинаний и стоял за примирение с царизмом, если бы последний захотел хотя бы отчасти пойти навстречу притязаниям польской аристократии. В эмиграции разыгрывал роль некоронованного польского короля, и здесь оставаясь представителем самой консервативной части эмиграции, стоя в стороне от живого демократического движения, отстаивая политику соглашения с иностранной дипломатией и европейскими правительствами, с помощью которых он и его партия надеялись добиться реформ для Польши, и относясь отрицательно к революционным течениям в среде польской эмиграции вплоть до своей кончины.

24 Речь идет о письме Штольцмана, о котором мы говорили в комментарии к N 481 в томе III настоящего издания. Оригинал его находится в Прямухинском архиве, хранящемся в б. Пушкинском Доме Академии Наук СССР.

Штольцман, Карл Богумил (1793—1854)—польский политический деятель демократического направления. Артиллерийский поручик б. войск польских, он принимал активное участие в польской революции 1831 года. После разгрома ее уехал во Францию, где много работал по организации демократической части эмиграции. В 1833 году основал карбонарскую венту в

Безансоне; был одним из создателей "Молодой Польши" в 1834 году и избран в ее Центральный Комитет. Переехав в Бельгию, снова избран был в ЦК "Молодой Польши". Позже проживал в Англии, продолжая принимать активное участие в деятельности левого крыла демократической эмиграции. Много писал по военным вопросам, в частности выпустил нашумевшую брошюру "Партизанщина" ("Partyzantka"), где высказывался за организацию партизанской войны против царизма.

25 Об Алоизии Бернацком см. том III, стр. 493.

26 О Н.И.Тургеневе см. том III, стр. 552.

27 Об Адаме Мицкевиче см. том III, стр. 474.

28 Об Андрее Товянском см. том III, стр. 493.

28а Перечисление знакомых представляет явный ответ на вопрос.

29 Шамболь, Франсуа Адольф (1802—1883)—французский политический деятель и журналист умеренно-либерального направления, сотрудничал в "Французском Курьере", "Национале", "Веке", "Порядке" и п.р. В 1838 году был избран депутатом, а в 1848 году народным представителем, заседал в рядах умеренных либералов и столь же умеренных трехцветных республиканцев. После государственного переворота Луи Бонапарта был на короткое время выслан из Франции, после чего совершенно отошел от политической деятельности.

"Век" ("Siècle") — ежедневная парижская умеренно-либеральная газета, основанная в 1836 году группой, в которую входили А. Дютак, Ледрю-Ролан и пр.; особенно хороша была ее литературная часть. Была органом династической оппозиции (Одilon Барро и т. п.). Появление более передовых демократических газет нанесло ей удар. Газета начала расти с 1840 года, когда во главе ее стал Луи Перре. В 1848 г. сделалась органом умеренных республиканцев. Но особенно процветала она при Второй Империи, когда была одним из главных органов оппозиции. Среди ее сотрудников числились тогда Жюль Симон, Журд, Франсуа Делонкль и т. п. Хотя и подвергалась преследованиям, но благодаря приспособлению к подлости сохранялась и при режиме Бонапарта. В 90-х годах редактором ее был Ив Гюйо, вместе с которым она приняла активное участие в деле Дрейфуса. Затем влияние ее, как и всей радикальной прессы, стало падать, и в начале XX века она постепенно сошла на нет.

30 Меррью, Шарль (1807—?)—французский общественный деятель и журналист. Сначала занимался педагогической деятельностью, а затем перешел в журналистику, был редактором "Temps" ("Время") и "Constitutionnel" ("Конституционалист"). Когда доктор Верон приобрел, в 1844 году "Constitutionnel", он по совету А. Тьера пригласил в главные редакторы Меррью, верного исполнителя предначертаний Тьера и проводника его политики. На этом посту Меррью оставался до 1849 года, а затем, перешел в администрацию и служил по сенскому градоначальству.

О газете "Конституционалист" см. том III, стр. 476.

31 Жирарден, Эмиль де (1806—1881)—французский политический деятель и журналист; был чиновником, банковским служащим, затем занялся журналистикой и создал несколько ходких изданий. В 1836 про-извел переворот в области периодической печати, основав первую дешевую ежедневную политическую газету "Пресса" ("La Presse"), вдвое дешевле остальных газет. Сначала был монархистом и убил на дуэли республиканца Армана Карреля, но постепенно эволюционировал к умеренному республиканизму. Политически неустойчивый, как и выдвинувшая его мелкая буржуазия, ринулся в объятия бонапартизма, способствовал избранию Луи Бонапарта в президенты республики, а в Законодательном собрании голо-совал с левою и был после государственного переворота выслан на время из Франции. Редактировал кроме "Прессы" ряд других газет, обнаруживая и в прессе и в парламенте, куда неоднократно избирался, все тот же бес-принципный оппортунизм и погоню за минутным успехом.

"Пресса" — парижская ежедневная политическая газета, основанная 1 июля 1836 года Э. Жирарденом. Подписная цена ее была назначена все-го в 40 франков, в то время как абонемент на остальные газеты стоил тогда не меньше 80 франков. Расходы по газете покрывались объявлениями и рекламой, занявшими в новой прессе значительное место. Газета сделалась более живой, легкой, занимательной, доступной массам, которые привлекались хроникой, романом-фельетоном и другими приемами, впоследствии характерными для так наз. бульварной прессы. Все это способствовало распространению газеты и проникновению ее в массы, хотя вместе с тем и порождало все те отрицательные черты, которыми характеризуется современная буржуазная печать. "Пресса" была родоначальницей прессы в одно су (2 коп.). Сначала орлеанистская, "Пресса" вместе с своим редактором сделалась "последствием умеренно-либеральной, затем бонапартистской, позже умеренно-республиканской и т. д. Постепенно линия и вытесняемая новыми газетами, "Пресса" за последние десятилетия превратилась в вечерний листок националистического и реакционного направления, выходящий в 18—20 часов и предназначенный для бульварных гуляк и ресторанных завсегдатаев.

32 Дюрье, Ксавье (1817—1868) — французский журналист и политический деятель. В 1838 г. вошел в редакцию "Siecle", в 1841 г. стал главным редактором умеренно-либерального "Temps" (просуществовавшего с 1829 по 1842 г. и, в 1830 г. имевшего сотрудником Гизо), сотрудничал в журналах "Revue de Paris" и "Revue des deux Mondes"; порвав с династической оппозицией, к которой примыкал раньше, примкнул к радикально-демократической оппозиции. В 1845 г. взял на себя редакцию радикального органа "Le Courrier FranГais". В 1848 г. вместе с О. Бланки основал Центральный Республиканский Клуб, но скоро вышел оттуда. В Учредительном собрании сидел на Горе. Не попав в Законодательное собрание, вернулся к журналистике. После государственного переворота был арестован и изгнан. Уехал в Англию, затем в Испанию, где и умер.

."Le Courrier, FranГais" ("Французский Курьер") — Парижская ежедневная политическая газета, основанная в 1819 году и просуществовавшая до 1868 года. Газета была одним из самых влиятельных органов либеральной партии при Реставрации и Июльской монархии. Периодом ее расцвета были годы 1820—1842. Среди ее сотрудников в разное время числились весьма видные представители французского либерализма, как Бенжамен Констан, Корменен, Минье, Леон Фоше и т. п. В 1845 г. переменил направление и стал

радикальным под редакцией К. Дюрье. Не выходил с февраля по 1 июля 1848 г., а через несколько месяцев и совсем прекратился.

33 Фоше, Леон (18.04—1854) — французский политический деятель, журналист и экономист умеренно-либерального, скорее консервативного направления, ярый сторонник свободы торговли. Монархист по убеждениям, он признал в 1848 году республику, будучи в числе тех буржуазных полити-канов, которые тем вернее стремились задушить и извратить ее. После избрания Луи Бонапарта в президенты Фоше, будучи членом Учредитель-ного собрания, был назначен министром общественных работ, а затем внут-ренних дел. Отличился реакционными мероприятиями и избирательными плутнями, в результате которых принужден был выйти в отставку в 1849 году. Переизбранный в Законодательное собрание, он на короткое время снова получил портфель внутренних дел, но вскоре отказался от него. После государственного переворота 2 декабря 1851 года вернулся в частную жизнь, отдался занятиям экономическими вопросами и вместе с своим шу-рином Воровским основал банк "Поземельного Кредита". Ему принадлежат

между прочим "Очерки Англии" (1844).

34 Бастиа, Фредерик (1801—1850)—французский экономист, ти-пичный представитель школы "вульгарных экономистов". Происходя сам из богатой буржуазной семьи, Бастиа был решительным защитником буржуаз-ного строя, бесстрашно доводя до логического конца его принципы, пропо-ведую свободную игру экономических сил, из которой в результате должна дескать неизбежно проистечь социальная гармония и удовлетворение всех интересов. Ожесточенный враг социализма, Бастиа посвятил главные свои сочинения, весьма легковесные по содержанию, но изложенные в живой литературной форме, борьбе с социализмом и с малейшими проявлениями критики капитализма. В 1848 году он выпустил несколько памфлетов против Луи Блана, Консидерана и Прудона, в которых полемизировал с их систе-мами. Главное сочинение его, в котором он пытался в связной форме изло-жить свою апологию капитализма, "Экономические гармонии", появившиеся в 1850 году, осталось незаконченным. Буржуазия наградила своего адво-ката славой, депутатским местом и пр., но сочинения его вследствие своей полной не научности давно забыты.

35 Воровский, Луи Франсуа Мишель Раймон (1810—1876)—французский экономист и политический деятель, польского происхождения. При-няв активное участие в польской революции 1830 года, бежал после ее по-давления в Францию, где в 1836 году натурализовался. Будучи профес-сором в Консерватории искусств и ремесел, он в своих лекциях, а также многочисленных писаниях, в том числе журнальных статьях, защищал идеи вульгарной политической экономии и вел энергичную кампанию в пользу свободы торговли и труда, т. е. за неограниченное господство капитала. Соединяя теоретическое служение капиталу с практическим, был одним из основателей банка "Поземельного Кредита". Будучи избран в 1848 году в Учредительное собрание, он заседал среди умеренных республиканцев и способствовал избранию Луи Бонапарта в президенты республики. В За-конодательном собрании вместе с Леоном Фоше примкнул к консерваторам, но был враждебен государственному перевороту 2 декабря, после которого вернулся к частной жизни. В 1871 году, будучи членом Национального собрания, поддерживал политику А. Тьера и в 1875 году избран в несме-няемые сенаторы. Автор

множества работ по экономическим, преимущественно финансовым вопросам.

36 О Пьере Жане Беранже см. том III, стр. 494.

37 О Фелисите Робере Ламеннэ см. том III, стр. 433.

38 Араго Франсуа (1786—1853) — французский ученый, физик и астроном, с 1830 года директор Парижской обсерватории. В 1831 году избран депутатом в палату, где примкнул к левой. Во время революции 1848 года был членом Временного правительства, в котором занимал посты министра морского, а затем военного, Национальное собрание назначило его членом Исполнительной комиссии, подавшей в отставку в июньские дни, во время которых он выступал против пролетариата. Был членом разогнанного Луи Бонапартом Законодательного собрания, отказался признать государственный переворот и принести присягу Империи, однако остался директором обсерватория. Представитель старого буржуазного демократизма, не понимающего задач и значения рабочего движения.

Араго Эмануэль (1812—1896)—старший сын Франсуа Араго, французский политический деятель, умеренный республиканец. При Июльской монархии составил себе имя в качестве адвоката по политическим процессам, принимал активное участие в революции 1848 года, был комиссаром Временного правительства в Лионе, затем членом Учредительного собрания, а в мае 1848 года отправлен в качестве французского посла в Берлин (где встречался с Бакуниным). После избрания Луи Бонапарта в президенты республики вышел в отставку, а после государственного переворота 2 декабря 1851 года ушел в частную жизнь. В 1867 году защищал на суде поляка Березовского, стрелявшего в Париже в Александра II. В 1869 вернулся к политической деятельности и после падения Второй Империи был членом правительства Национальной Обороны. В Национальном собрании поддерживал Тьера. В 1876 был избран сенатором. С 1880 по 1894 г. был посланником в Берне.

Араго, Этьен (1803—1892)—французский литератор и политический деятель, брат Франсуа Араго. Сначала занимался химией, а затем стал драматургом и журналистом, причем впоследствии участвовал в основании радикальной газеты "Реформа". Активный деятель республиканского движения, он лично участвовал в тайных обществах, дрался на баррикадах во время июльской революции и восстаний первого периода Июльской монархии. Приняв активное участие и в революции 1848 года, он сделался министром почт во Временном правительстве, но вышел в отставку после избрания Луи Бонапарта в президенты и занял место на крайней левой Национального собрания. За участие в мелкобуржуазном выступлении 13 июня 1849 года принужден был бежать в Бельгию. Вернулся во Францию для участия в вооруженной борьбе с захватчиком власти Луи Бонапартом, но после неудачи снова бежал за границу, откуда вернулся только после амнистии 1859 года. После низвержения Второй Империи был в 1870 году назначен мером города Парижа, но уволен в отставку за снисходительное отношение к инсургентам 31 октября (бланкистам). после чего отошел от политической деятельности.

39 Марраст, Арман (1801—1852) — французский политический деятель и журналист. Педагог по профессии, выдвинулся в 30-х годах как один из лидеров умеренной республиканской фракции, выражавшей интересы средней буржуазии и

высококвалифицированной интеллигенции. С 1832 по 1835 год был редактором радикальной газеты "Трибуна" (выходил с 1829 по 1835), принужден был на время бежать в Англию, по возвращении сделался редактором "Националя", на котором его застала февральская революция 1848 года. Мэр города Парижа и член Временного правительства, он представлял в последнем интересы буржуазии, войдя в соглашение с консерваторами против пролетариата и радикальной мелкой буржуазии: был вице-председателем, а затем президентом Учредительного собрания, проявив особую суровость по отношению к июньским инсургентам и еще раньше к участникам демонстрации 15 мая 1848 года, в частности к Луи Блану, что отчасти повредило его популярности среди прогрессивных элементов мелкой буржуазии. В Законодательное собрание Марраст уже не попал.

40 Бастид, Жюль (1800—1879) — французский журналист и политический деятель, один из основателей французской республиканской партии. Присоединяясь к тайным кружкам еще во время Реставрации, принимал активное участие в революции 1830 года; затем боролся против Июльской монархии и за участие в вооруженном выступлении во время похорон генерала Ламарка в 1832 году был заочно приговорен к смертной казни, но бежал в Англию, вернулся оттуда в 1834 году и новым судом был оправдан. Одно время редактировал "Националь", но в 1836 году вышел из него вместе с Бюше и в 1847 году основал журнал "Национальное Обозрение", в котором развивал идеи христианского социализма, сторонником которого он был. Во время революции 1848 года был секретарем министерства иностранных дел, а с мая по декабрь министром. В социальной области голосовал с реакционерами против социалистов, показывая этим цену "христианского социализма". Будучи решительным врагом революционного пролетариата, высказался в июне 1848 года за введение осадного положения в Париже и предоставление генералу Э. Кавеньяку диктаторской власти. После государственного переворота 2 декабря 1851 года ушел в частную жизнь.

О газете "Националь" см. том III, стр. 465.

41 Кавеньяк, Годфруа (1801—1845) — французский политический деятель, сын члена Конвента Жана-Батиста Кавеньяка и брат усмирителя июньских инсургентов Эжена Кавеньяка. Посвятив некоторое время занятию адвокатурой и литературой, он всецело предан политике и был одним из создателей и руководителей республиканской партии. Он принимал активное участие в революции 1830 года и был назначен капитаном артиллерии национальной гвардии. Но принципиальный противник монархии, он не прекращал борьбы против правительства Луи Филиппа, основывал тайные общества и подготавливал вооруженное восстание против королевской власти. Привлеченный к суду в 1830 и 1832 гг., он был оправдан. После восстания 1834 года был арестован, но бежал из тюрьмы и в 1835 уехал в Англию. Вернувшись в 1841 г. во Францию, сотрудничал в "Реформе", а в 1843 году был президентом "Общества прав человека". Был одним из современников и товарищей Огюста Бланки. Бакунин мог знать его очень недолго, так как через год после приезда его в Париж Кавеньяк умер.

42 Флокен, Фердинанд (1800—1866)—французский журналист и политический деятель, активный член республиканской партии во время Июльской монархии и редактор радикальной газеты "Реформа" (в которой появилась первая статья Бакунина во Франции). В

качестве представителя радикальной мелкой буржуазии вошел в состав Временного правительства в 1848 году и одно время был министром земледелия и торговли. Хотя и будучи в Учредительном собрании членом Горы, он решительно высказывался против пролетарского движения и во время июньского восстания поддерживал диктатуру генерала Э. Кавеньяка. После того как реакция подняла голову, вместе с другими мелкобуржуазными идеологами спохватился и пытался противопоставить торжествующей реакции сговор рабочих и мелкой буржуазии в виде "социал-демократической партии". Выступал резко против Луи Бонапарта. После государственного переворота 2 декабря 1851 года был изгнан из Франции, поселился в Швейцарии, умер в изгнании, отказавшись воспользоваться амнистией 1859 года. В бытность свою членом Временного правительства использовал свои былые связи с революционной эмиграцией разных наций и способствовал выезду эмигрантов из Франции: так он помогал экспедиции Гервега, дал деньги на поездку Бакунина в Познань и пр.

43 Блан Луи (1811—1882) - французский писатель и политический деятель, представитель соглашательского социализма. Будучи сотрудником радикальной печати, выдвинулся своей работой "Организация труда" (1839), в которой выдвигал систему обеспечения рабочим "права на труд" и мирного преобразования капиталистического общества путем учреждения про-изводительных ассоциаций с государственной помощью. Популяризации идей социализма и классовой борьбы способствовала также его работа "История десяти лет" (1830—1840), вышедшая в начале 40-х годов и оказавшая большое влияние на первых русских социалистов, в том числе на Н. Чернышевского, отчасти использовавшего ее в своих работах "Борьба партий во Франции" и "Июльская монархия". Во время революции 1848 года в качестве представителя рабочего класса вошел в состав Временного правительства вопреки сопротивлению остальных его членов, но своею соглашательскою политикою ослабил энергию рабочих, усыпил их утопическими проектами социального преобразования, дал буржуазии время вооружиться и раздавить пролетариат во время июньской битвы на баррикадах. Восторжествовавшая буржуазия обратилась тогда и против умеренных реформаторов, и Луи Блан, обвиненный в прикосновенности к выступлению 15 мая 1848 г., принужден был бежать в Англию. Здесь он написал ряд исторических работ, в том числе "Историю французской революции" в 12 томах, которая при всех своих недостатках была одною из первых работ, пытавшихся стать на социалистическую точку зрения при анализе событий конца XVIII века. По возвращении во Францию в 1871 году уже не играл особой роли. Будучи членом Национального собрания, выступал против Коммуны, но позже боролся за амнистию коммунарам. С 1876 года был членом палаты депутатов, но уже в качестве не социалиста, а буржуазного демократа.

44 О "Реформе" см. том III, стр. 469.

45 Консидеран, Виктор (1808—1893)—французский писатель и политический деятель, представитель мирного утопического социализма; излагал фурьеристские идеи в "Фаланге", "Фаланстере" и пр. Его сочинения, в которых в зародышевой форме развивается теория классовой борьбы, особенно книга "La Destinée sociale" (1834—1838), оказали большое влияние и в России, в частности на Чернышевского. В 1843 году основал журнал "Мирная Демократия" для популяризации фурьеризма. После революции 1848 года, во время которой он пропагандировал свои утопические теории в клубах, он был избран в

Учредительное собрание, где заседал на крайней левой, но не принял участия в июньском восстании пролетариата. Переизбранный в Законодательное собрание, он принял участие в буржуазно-демократическом выступлении 13 июня 1849 года, был приговорен заочно к ссылке, но бежал в Бельгию, затем уехал в Америку, где основал в Техасе фурьеристскую колонию, скоро распавшуюся. В 1869 году вернулся во Францию, но уже не играл политической роли и умер забытым.

"Мирная Демократия" ("La Démocratie Pacifique")—ежедневная политическая газета, орган фурьеристской школы, выходила с 1 августа 1843 г. по 13 июня 1849 г. в Париже под редакцией Виктора Консидерана. Развивала идею мирного социального преобразования без насильственных потрясений и переворотов. Обращалась преимущественно не к трудящимся массам, а к образованным и состоятельным классам, к цензовой интеллигенции. После высылки своего главного редактора В. Консидерана, принявшего участие в протесте 13 июня 1849 г. против незаконных действий правительства, газета прекратилась.

46 Дюпра, Паскаль (1815—1885)—французский журналист и политический деятель; оставил профессию, чтобы заняться редактированием журнала "Независимое Обозрение". Принял деятельное участие в февральской революции и был избран в Учредительное, а затем и в Законодательное собрание, где заседал на Горе. После государственного переворота 2 декабря 1851 года подвергся изгнанию и уехал сначала в Бельгию, а затем в Швейцарию, где занимал кафедру в Лозанне. После падения Империи вернулся во Францию, был несколько раз избираем в депутаты, оставаясь левым демократом, и служил по дипломатической части.

"Независимое Обозрение" ("La Revue Indépendante")— французский политический журнал, основанный в 1841 году и просуществовавший до 1848 г. Созданный группой прогрессивных литераторов, в которую входили Пьер Леру, Луи Виардо и Жорж Занд, журнал был органом левого крыла демократической партии, близкого к умеренному социализму.

47 Пиа, Феликс (1810—1889)—французский писатель и политический деятель. Оставив адвокатуру, сделался драматургом (из пьес его особенно известна мелодрама "Парижский ветошник") и ринулся в радикальную журналистику. Во время революции 1848 года был правительственным комиссаром, затем членом Учредительного и Законодательного собраний, где заседал на Горе. В июне 1849 г. подписал вместе с Ледрю-Роленом призыв к оружию против римской экспедиции, после чего принужден был бежать за границу. Оставался в Англии до амнистии 1869 года. По возвращении на родину участвовал в газете "Rappel", провозгласил на банкете тост за пулю, которая поразит императора, был приговорен за это к 5 годам заключения, снова бежал за границу. Вернулся после падения Империи, издавал газету "Combat" сумбурно бунтарского направления, был избран членом Национального собрания, а затем Коммуны, где примыкал к бланкистскому большинству. Приговоренный заочно к смерти, снова укрылся в Англии, где интриговал против Интернационала. Вернулся во Францию после амнистии 1880 года. Был избран в депутаты в качестве "революционного социалиста".

48 Шельхер или Шельше, Виктор (1804—1893) — французский политический деятель. Сын фабриканта, смолоду работал в либеральной печати, а после поездки в Америку увлекся делом защиты негров и бо-ролся за уничтожение невольничества. После революции 1848 г. был на-значен заведующим колониями и издал 27 апреля знаменитый декрет, отменявший рабство во французских колониях. Был членом Горы в Учре-дительном собрании. Переизбранный в Законодательное собрание, вместе

с Бодемом принимал участие в баррикадном бою против государственного переворота Луи Бонапарта и был изгнан из Франции. Вернувшись из Англии после падения Империи, был членом Национального собрания, про-тивился провозглашению Коммуны и тщетно пытался примирить ее с пра-вительством. В 1875 году избран несменяемым сенатором.

49 Мишле, Жюль (1798—1874)—французский историк, демократ, с 1833 г. заместил Гизо на кафедре истории в Сорбонне, но в 1850 г. был реакцией лишен места за демократические воззрения и с той поры пре-дался исключительно писанию исторических сочинений, из которых наиболее известны "История Франции" в 18 томах, "История революции" в 6 томах и "История XIX века" в 3 томах. Имел связи среди демократов различ-ных наций, в том числе среди русских, знал Бакунина, судьбою которого всегда живо интересовался, был близок с А. Герценом, который писал для него биографические очерки Бакунина (мы их цитируем в наших коммен-тариях), и пр.

50 Кинэ, Эдгар (1803—1875)—французский поэт, историк и поли-тический деятель либерального направления, но весьма путанных взглядов. Будучи профессором литературы, навлек на себя со стороны Гизо запре-щение курса за резкое выступление против иезуитов, однако принципиально не только не был противником религии, но даже был убежденным деистом и объяснял неудачу французской революции отсутствием у нее религиоз-ного духа. После революции 1848 года был членом Учредительного собра-ния, где примыкал к левой, а после государственного переворота Луи Бонапарта был изгнан из Франции. За границу написал множество сочи-нений, в том числе "Историю французской революции" антиреволюционного и идеалистического характера. После падения Империи вернулся во Фран-цию, где был избран членом Национального собрания.

51 О П. Ж. Прудоне см. том III, стр. 513.

52 Жорж Занд (1804—1876)—псевдоним французской писатель-ницы Авроры Дюдеван, выражавшей в своих многочисленных романах идеи утопического социализма и эмансипации женщины; пользовалась огромною популярностью в 40-е годы, особенно в России, где за отсутствием поли-тической публицистики ее романы играли роль орудия прогрессивной про-паганды. В 40-х годах завела широкие знакомства среди передовых людей Франции и других стран, особенно политических эмигрантов, собравшихся в Париже. Бакунин познакомился с нею в 1844 году, но знал ее сочине-ния и поклонялся ей как писательнице еще раньше. Для него Жорж Занд была не просто поэтом, а пророком, приносящим откровение, как он вы-ражался в письмах к родным от 1843 года. С своей стороны и Жорж Занд хорошо относилась к Бакунину и выступила в его защиту, когда в 1848 году возникла известная сплетня на его счет в связи с ее именем. Свое отношение к Жорж Занд Бакунин изменил лишь в 50—60-х годах. когда она не проявила достаточно

гражданских чувств в отношении к Вто-рой Империи и ее деятелям.

53 Какие именно рабочие клубы посещал в Париже Бакунин, трудно установить с точностью. Но судя по его преимущественно немецким связям в то время, можно предполагать, что речь идет о немецких ремесленных кружках, которых тогда в Париже было несколько. В один из них Баку-нин ввел даже... Ф. Энгельса, как видно из письма последнего от сентября 1844 г., напечатанного в томе II "Сочинений Маркса и Энгельса", стр. 417 и гласящего: "В Париже по дороге на родину я посетил один коммунисти-ческий клуб. Меня ввел туда русский, который прекрасно говорит по-французски и очень искусно развивал взгляды Фейербаха". В том же письме Энгельс относит Бакунина, правда не называя его, к коммунистам, говоря о нем и его соотечественниках: "мы делаем большие успехи среди живущих в Париже русских. Тут имеется трое или четверо русских дворян и помещиков, которые являются радикальными коммунистами и атеистами". Как мы уже указывали выше, говоря о знакомстве Бакунина с Марксом (том III, стр. 463, и том IV. стр. 437). Бакунин одно время, летом — осенью 1844 года, считал или объявлял себя коммунистом. Другими русскими, о которых упоминает Энгельс, могли быть: В. Боткин, который в цитированном письме А. Руге также фигурирует в качестве коммуниста, П М. Толстой, Н. Сазонов.

Что касается указания Бакунина на то, что скоро он утратил интерес к посещению рабочих клубов, то оно для него в высшей степени характер-но: оно показывает, что он был демократом, которого общество интелли-гентов (иногда, как мы знаем, и общество аристократическое) больше при-влекало и удовлетворяло, чем общество пролетариев. Исторического при-звания рабочего класса он в отличие от Маркса и Энгельса тогда вовсе не понимал. Только через много лет он, как мы увидим из дальнейших то-мов, несколько изменился в этом отношении.

54 Бакунин совершенно правильно охарактеризовал настроение старо-го Н. Тургенева в рассматриваемое время. Как показало открытие архивов после низвержения царизма, Н. Тургенев неоднократно ходатайствовал пе-ред правительством о разрешении вернуться на родину, но не добился удо-влетворения своей просьбы.

55 Мамиани делла Ровере, Теренций, граф (1799—1885) — итальянский писатель и государственный деятель либерального направле-ния. Член временного правительства 1831 года в Болонье, он принужден был эмигрировать во Францию. После амнистия 1846 года он вернулся в Рим, где папа в 1848 году пригласил его на пост председателя совета ми-нистров. Лавирование между реакционными кругами, возглавляемыми лице-мерным папою, я демократиею не могло долго продолжаться, и Мамиани ушел в отставку. После короткого возвращения к власти он ввиду окон-чательного торжества реакции принужден был удалиться в Пьемонт. Здесь он был сотрудником Кавура, был депутатом, министром народного просве-щения, сенатором, профессором философии.

56 Пепе, Гуильельмо (1783—1855)—итальянский политический дея-тель, неаполитанский генерал, начавший свою военную карьеру при влады-честве французов. После поражения Наполеона I и восстановления неапо-литанского короля остался на службе .и участвовал в организации карбонарского движения. Во время революции 1820 года примкнул к революцио-нерам, будучи главнокомандующим неаполитанских войск, и отстаивал с ними

конституцию. Когда Священный Союз двинул против революционного Неаполя австрийские войска, Пепе потерпел поражение и принужден был бежать во Францию. Здесь он оставался до революции 1848 года. По возвращении на родину участвовал в борьбе против Австрии.

57 С какими русскими встречался в Париже Бакунин, также трудно с точностью установить. Кроме названных выше В. П. Боткина, Г. М. Толстого, Н. И. Сазонова сюда надлежит прибавить И. Головина, Н. Г. Фролова и его жену, которых Бакунин знал еще по Берлину, Н. А. Мельгунова, С. К. Мельгунову, И. И. Панаева и его жену А. Я. Головачову-Пачаеву, приезжавших в Париж осенью 1844 года, А. П. Полуденского и жену его М. И. Полуденскую, урожденную Сазонову, старого знакомого по Москве Н. М. Сатина, бывавшего в Париже в 1844 и 1845 годах, возможно Н. П. Огарева, прожившего конец 1845 года в Париже, П. В. Анненкова, приехавшего в Париж весной 1846 года, А. И. и Н. А. Герцен, приехавших туда в 1847 году, В. Белинского, также посетившего Париж в том же году, приехавшую с Герценами Марью Федоровну Корш и М. К. Эрн, вышедшую через три года за А. Рейхеля, И. С. Тургенева. Возможно, что были и другие знакомства с приезжавшими в Париж погулять русскими, но они не имели серьезного значения.

58 В общем Бакунин верно указывает размер своей литературной продукции за рассматриваемый период. Все эти документы (статьи-письма в редакции "Реформы" и "Конституционалиста", речь на польском банкете 1847 года, два воззвания к славянам, статьи в "Дрезденской Газете", составившие брошюру "Русские дела") напечатаны в третьем томе настоящего издания. Сюда же относятся "Основы славянской политики", о которых Бакунин упоминает дальше.

59 Трудно судить, насколько Бакунин здесь верно передает свое дей-

ствительное настроение в данное время. Правда, Герцен в статье "М. Бакунин. (Письмо к Мишле)" также сообщает, что Бакунин в 1847 году чувствовал усталость и был печальнее, чем в России, но был весьма далек от отчаяния и неверия в революцию. О вере Бакунина в близость революционной грозы говорят и письма Бакунина к Гервету того времени, напечатанные нами в томе III настоящего издания. Поэтому дозволительно предполагать, что в данном месте Бакунин, быть может, сгустил краски по каким-то тактическим соображениям. Но категорически настаивать на своем предположении мы не решаемся.

60 В начале 40-х годов Германия переживала период приготовления революции, что вызывало во всей стране состояние лихорадочного волнения и смутных ожиданий. Выражением этого состояния явилось поведение вступившего в 1840 году на прусский престол Фридриха-Вильгельма IV, вдобавок человека душевно неуравновешенного. Его неустойчивость, колебания, порывы от мнимого либерализма к действительной реакции, двусмысленные посулы, не могшие быть исполненными, и попытки то мягкостью, то нахрапом парализовать назревавшие потрясения — все это волновало общество, возбуждало умы и разжигало страсти. Это состояние, которое Бакунин мог отчасти наблюдать в Германии собственными глазами в 1840—1843 годах, он и имеет здесь в виду, характеризуя его словом "суматоха".

Второе его указание касается следующих событий. Протеже Франции, стремившейся занять руководящее место на Ближнем Востоке вместо Англии, египетский паша Мехмет-Али, несколько раз разбив войска турецкого султана, захватил значительную часть его азиатских владений и сделался хо-зяином дорог в Аравию, Мессопотамию и Индию. Этого не мота стер-петь Англия и с помощью других держав пыталась поддержать султана и устранить Францию от решения восточного вопроса. После тайных пред-варительных переговоров с Николаем I Англия заключила в начале 1840 года соглашение с Россией, к которому присоединились Австрия и Пруссия и которое фактически совершенно изолировало Францию в Ев-ропе. Тьер, ставший в марте 1840 г. главою правительства вместо Сульта, решил поддерживать Мехмета-Али против коалиции, выступившей в за-щиту султана. 15 июля четыре названные державы, не уведомляя о том Францию, заключили в Лондоне договор, по которому они явно намере-вались решить египетский вопрос без Франции и вопреки ей. Известие об исключении Франции из европейского концерта вызвало в ней такое негодование, что одно время европейская война казалась неизбежной. Но французская буржуазия не решилась на войну со всей Европою при не-выгодных для себя условиях. Тьер принужден был выйти в отставку. Война в Европе была избегнута, а Мехмету-Али пришлось отказаться от всех своих завоеваний вне Египта. После того, как по соглашению вели-ких держав египетский вопрос признан был разрешенным, и был гаран-тирован нейтралитет проливов (Босфорского и Дарданельского), кризис разрешился, и угроза европейской войны, способной поколебать порядок, установленный Венским конгрессом, рассеялась, а революция была отсро-чена на несколько лет.

61 "Друзья света" — возникшая в 40-х годах XIX века рационали-стическая секта в протестантизме, отвергавшая все символы. Она исполь-зовала немецко-католическое движение для распространения своего уче-ния в Саксонии и Силезии. Lichtfreunde (Друзья света) или, как они сами себя называли, Протестантские друзья — свободомыслящая секта, возник-шая в недрах лютеранской церкви в виде протеста против ортодоксаль-ного протестантского пиетизма. Толчок к движению дали репрессии, при-нятые в Магдебурге по отношению к проповеднику Зинтенису, высказав-шемуся против поклонения Христу. В Гнадау 29 июля 1841 г. собралась Конференция, состоявшая из Ульриха и 15 других проповедников и осно-вавшая свободную религиозную общину, стоявшую за "разумное" и "прак-тичное" христианство. Началась агитация на народных собраниях. К дви-жению примкнули бывшие гегелианцы. Пошла критика "священного писания" как устарелого и не могущего более служить нормою поведения, как утверждал публично в 1844 г. проповедник Вислицениус. В 1846 г. пос-ледний лишен был места за антихристианские воззрения, что вызвало про-тесты по всей Германии и подачу петиции королю, в которой требовалась полная свобода исследования. На многочисленных народных собраниях, созываемых сторонниками нового направления, к вопросам религиозным начали примешиваться вопросы политические, что возбудило опасения во всех немецких правительствах, и постепенно собрания были запрещены. Свободные протестантские общины возникли тем временем во многих горо-дах, и королевским патентом 30 марта 1847 г. им была даровала полная свобода. Во время революции 1848 г. число этих общин возросло до 40, а часть их руководителей попала во Франкфуртский парламент. С наступ-лением реакции движение еще усилилось, так как к нему примкнуло много демократов. Начались репрессии; к ним присоединились внутренние раз-доры и движение потеряло свой боевой характер. В 1859г. 54 общины объединились в Союз свободно-религиозных общин, который продолжал свое

существование и позже.

Общее брожение, господствовавшее во всех областях германской жизни в первой половине XIX века, не осталось без влияния и на католиков. В 40-х годах среди них возникло движение "немецких католиков", находившихся под влиянием протестантских принципов и стремившихся приспособить католическую церковь к духу времени. В патере Иоанне Ронге (1813—1887) и возбужденном им "ронгианизме" это движение нашло свое выражение. Протест Ронге против выставления в Трире "священного" хитона в 1844 году дал толчок к отколу либеральных католиков от католической церкви. "Немецкие католики" требовали, чтобы богослужение совершалось на народном языке, чтобы церковные обряды приурочены были к духу времени, чтобы священникам разрешено было вступать в брак, чтобы национальные церкви были независимы от Рима. Это движение поддерживалось немецкими правительствами и имело некоторый успех, главным образом в южной Германии, но с конца 40-х годов пришло в упадок. Вопреки мнению Бакунина в этом движении не было никаких элементов коммунизма, но оно было извращенным в поповских головах отражением глубокого волнения, охватившего массы накануне революции, и выражало стремление части буржуазии и духовенства спасти религию, отбросив некоторые наиболее отрицательные ее черты, нашедшие выражение в средневековых суевериях католицизма. Впрочем здесь Бакунин видимо находится под влиянием мыслей, в свое время высказывавшихся А. Беккером в редактируемой им лозаннской газете "Die fröhliche Botschaft" за 1845 год. Беккер, еще усиливший свойственное Вейтлингу заигрывание с каким-то "первобытным" христианством, решил, что нео-католическое движение может быть использовано в интересах коммунизма, к которому оно будто бы близко стоит. В одном письме к Роберту Блюму он даже предлагал коммунистам вступать в немецко-католическую церковь, если немецкие католики выскажутся за коммунизм (см. Калер — "В. Вейтлинг", 1918, стр. 117—118).

62 Сопrotивляясь до пределов возможного дарованию конституции, которой требовало большинство населения, Фридрих-Вильгельм IV в течение нескольких лет оттягивал решение вопроса в различных комиссиях, после чего появился рескрипт от 3 февраля 1847 года, вызвавший всеобщее разочарование: на основании этого рескрипта учреждалось не народное представительство, а созывался соединенный ландтаг, который являлся собственно соединением в Берлине отдельных провинциальных (земских) чинов, т. е. сословных представителей, с преобладанием дворянства. Компетенция этого убудочного учреждения сводилась по существу к голосованию новых налогов и к подаче петиций, причем оно имело только совещательный голос. Соединенный ландтаг, открывшийся 11 апреля, разошелся в июне безрезультатно, но брожение в Пруссии только усилилось и привело через несколько месяцев к революции.

63 Задуманное польскою демократическою эмиграциею на 1846 год восстание во всех трех "заборах", на которые была разделена Польша, не удалось. В Пруссии оно было преждевременно раскрыто и дало повод к процессу Мерославского и товарищей в 1847 году; в Царстве Польском, сдавленном системою российского белого террора, оно совсем не проявилось, в Галиции выразилось в неглубоком волнении, а в свободной Краковской республике, последнем остатке бывшего польского государства, привело к кратковременному восстанию передовой части шляхты, выдвигавшей весьма прогрессивную и

демократическую программу, но не имевшей сил поддержать ее. Движение закончилось ужасною резнёю шляхты в Галиции, произведенною темным крестьянством по подстрекательству агентов австрийского правительства, занятием Кракова австрийскими и русскими войсками и уничтожением последней свободной польской территории, переданной Австрии. Вся европейская демократия сочувствовала про-грессивным полякам и клеймила их палачей. Злодеяния австрийского и российского правительств, противозаконное присоединение вольного Кракова к Австрии, процесс-монстр против поляков в Пруссии, радикальная программа, выставленная инициаторами движения — все это снова выдвинуло польский вопрос в порядок дня и повсюду усилило демократическое брожение. Германская демократия также сочувствовала полякам и в то время высказывалась даже за освобождение Познани и восстановление Польши, в которой вздвинул оплот против царизма. Неудивительно, что французская демократия, которая в то время стояла в первых рядах, особенно горячо отнеслась к судьбам польской нации.

Известие о краковской революции было получено в Париже 4 марта 1846 года и вызвало огромное возбуждение, ничуть не преувеличенное в рассказе Бакунина. Повсюду, в театрах, в салонах, в мастерских, на собраниях, говорили о польских делах. Вся французская печать за исключением реакционной "Франции" и продажной "Прессы" высказывалась в пользу Польши, и газеты открыли подписку в пользу поляков. В обеих палатах сделаны были сочувственные Польше выступления, причем в верхней палате произнесли речи католик Монталамбер и Виктор Гюго. Правящие французские группы были задеты присоединением Кракова к Австрии, против чего резко протестовал даже Гизо, но демократия протестовала во имя идейных мотивов и из классовой солидарности. Как известно, и коммунисты высказались в пользу польских демократов против их угнетателей, я в "Манифесте коммунистической партии" явно выражена симпатия авторов делу польского демократического возрождения.

64 Имеется в виду письмо в редакцию "Конституционалиста" о преследовании католицизма в Литве и в Белоруссии от 6 февраля 1846 года, напечатанное в томе III настоящего издания под N 486.

65 Это первое у Бакунина проявление идей революционного панславизма вообще не было чем-то неслыханным и абсолютно новым для польской эмиграции. Напротив подобные мысли давно уже зародились в польской демократической среде. Между прочим именно благодаря польскому влиянию панславистские идеи проникли в среду южно-русских революционеров, составлявших самое крайнее левое крыло декабристского движения и образовавших "Общество соединенных славян" (традиции которого вообще продолжал Бакунин в своем радикализме). В 30-х годах часть поляков продолжала мечтать о чем-то вроде польско-славянского мессианизма, направленного в их представлении против России. В начале мая 1837 года начал выходить в Париже журнал "Поляк", выражавший глубокоую веру в великое будущее славянских народов и указывавший Польше на ее славянское призвание. От Эльбы до Дона, писал журнал в N 2, от Невы до Адриатического моря живут многочисленные племена единого славянского корня. Эти славянские племена, полные братских чувств, смелости, юные, здоровые, проникнутые энергией, призваны к совершению великих дел: будущее принадлежит им. Они возродят Европу, как не раз уже восток возрождал эгоистичный, торгашеский запад. Славяне свяжут Европу с Азией. Но для

того, чтобы приобрести способность к таким великим деяниям, они должны объединиться, централизоваться. Польша, являющаяся передовым отрядом славянства, выполнит эту задачу. Она скажет своим славянским братьям демократическое слово, и, став в их главе, понесет Европе освобождение.

Вообще панславизм, в том числе и революционный, имеет западно-славянское, в частности польско-чешское происхождение, что впрочем вполне понятно, так как именно названные два славянские племени были наиболее развитыми в политическом, экономическом и умственном отношении и выдвинули свою дворянскую или буржуазную интеллигенцию, которая уже из-за одной борьбы своей с немецким мещанством естественно склонялась к идее славянской солидарности, означавшей в хозяйственном отношении создание свободного от немецкого засилья рынка, а в политическом отношении — сплочение разрозненных сил для сопротивления немецкому наступлению на славянский восток. Когда после закрытия университетов варшавского и виленского польско-литовская молодежь хлынула для продолжения своего образования в Германию, она начала создавать кружки в университетах берлинском и бреславском. В последнем поляки сближались с студентами, принадлежавшими к другим славянским племенам, и в 1843 году там возникло Литературное славянское общество, ведшее свои занятия на польском языке, но руководимое профессором-чехом Яном Пуркинье.

(Пуркинье, Ян Евангелист (1787—1869) — чешский ученый, физиолог, врач и писатель; с молодых лет интересовался чешской литературой и языком. С 1819 профессор анатомии и физиологии в Пражском университете, а с 1823 профессор физиологии в Бреславле; с 1848 снова в Праге, сначала по кафедре философии, а затем с 1849 по кафедре физиологии. С 1861 депутат чешского сейма. Принимал участие в чешской национальной пропаганде, в частности в Бреславле, где собрал вокруг себя кружок студентов, на которых старался влиять в панславистском духе. Ему принадлежит ряд трудов по физиологии и медицине. Перевел на чешский язык "Освобожденный Иерусалим." Т. Тассо и лирические произведения Шиллера.)

Позже носителями идеи панславизма сделались преимущественно чехи, но в основе своей мысль эта, особенно в ее революционной разновидности, была польского происхождения, и именно в противность идущему из казенных российских сфер реакционному панславизму, как орудию проникновения царизма в Европу, родилась среди поляков, особенно демократов, идея революционного панславизма — идеал будущей вольной славянской федерации освобожденных народов. Возможно, что у Бакунина эта идея сложилась именно под влиянием польской эмиграции (ведь и в Берлине, и в Дрездене, и в Брюсселе, и в Париже он встречался с поляками и жил в кругу их идей), но и среди русских революционеров эта идея имела некоторую традицию: ведь о своего рода революционном панславизме речь шла и у декабристов, которые также мечтали о будущей славянской вольной федерации и даже вели в таком духе переговоры с поляками.

66 Итак, несмотря на резкое выступление Бакунина в защиту поляков, угнетаемых царизмом, польские демократические эмигранты отнеслись к нему с недоверием. Но почему бы поляки могли не доверять Бакунину уже в 1846 году? Ясно: не потому, что это был Бакунин, вообще в то время мало кому известный кроме небольшой группы международных

де-мократов, а потому, что это был русский. В то время русский революционер, да еще открыто солидаризующийся с делом Польши, был такою редкостью, что невольно возбуждал подозрение в скрытых целях, в задних мыслях, просто-напросто в служении царизму, в провокаторстве. Бакунину могло повредить еще то обстоятельство, что он сам взял на себя инициативу сближения с польскими эмигрантами, вместо того чтобы обратиться к посредничеству других эмигрантов или французских демократов, находившихся в сношениях с поляками и пользовавшихся их доверием. Во всяком случае с этого именно момента начинаются те недоразумения, которые в течение многих лет преследовали Бакунина и порождали политические сплетни на его счет, причем совершенно ясно, что немецкие коммунисты не имели абсолютно никакого отношения к этому недоразумению и в то время о нем даже и не подозревали.

67 Речь Бакунина, произнесенная на польском собрании 17/29 ноября 1847 года, в русском переводе напечатана в томе III настоящего издания под N 492. Собственно Бакунин ее не произнес, а прочитал по писаному (как явствует из письма Г. Гервега к жене от 6 декабря 1847 г., напечатанного в книге "1848", стр. 325).

Председательствовал на собрании французский депутат Вавен; в бюро находился между прочим генерал Дворницкий.

Речь выдержана в духе революционного панславизма, в частности в духе солидарности интересов польской и русской революции. Кроме тех предшественников этой идеи, которых мы оказывали в комментарии 65 (см. выше), Бакунин в данном случае имел более близких и непосредственных предшественников, а именно деятелей "Кирилло-Мефодиевского общества" в Киеве, незадолго до того (в марте 1847 г.) разгромленных царскою жандармериею. В программе этого общества (а Бакунин, как мы знаем из тома III настоящего издания, был в курсе того, что делалось на родине) говорится о создании славянской федерации, в состав которой на началах равноправия должны были войти Россия, Украина, Польша, Чехия, Сербия, Болгария. Принадлежавший к этому обществу Тарас Шевченко, очутившись в ссылке вместе с ссыльными поляками, написал известное стихотворение, в котором вспоминал о прошлой совместной жизни Польши и Украины и обвинял панов и ксендзов в том, что они нарушили братское согласие народов. Кончалось стихотворение словами:

Поддай же руку козакови

И сердце широе поддай.

И именем христовым знову

Возобновим наш тихий рай.

68 Собрание, на котором выступал Бакунин, состоялось в Брюсселе 14 февраля 1848 года. Поляки хотели объединить в одном торжестве чествование памяти великого польского патриота Симона Конарского, казненного в Вильне 15/27 февраля 1839 года, и памяти павших русских революционеров. Главными ораторами на вечере были Бакунин и Лелевель. Обращаясь к Бакунину, Лелевель сказал: "Будущность наша темна и не-ясна во многих

отношениях. Оставим это грядущее, не станем заботиться о нем: не от нас зависит устранение преград к нему и решение судьбы народов. Прежде всего уничтожим угнетающего нас тирана, душащую нас тиранию, поставим вопрос о народе, поднимем его демократический дух, и все устроится и уладится согласно обоюдной воле добившихся народо-правства обеих наций... Да, не может быть разделения между теми поляками и русскими, которые любят свободу. Братья спешат на спасение братьев. Не оставляй, Бакунин, начатого тобой дела, доведи до конца, держись крепко против ожидающих тебя препятствий... Друг Бакунин, подай нам братскую руку и обнимемся сердечно!"

Речь Бакунина известна нам только по той ее сокращенной передаче, какая приводится в "Исповеди".

69 Инцидент с клеветой, пущенной Н. Д. Киселевым против Бакунина через услужливое посредство французских министров, освещен нами в комментарии к тому III настоящего издания, где мы говорили об обстоятельствах, сопровождавших высылку Бакунина из Франции, и напечатали открытое письмо его к графу Дюшателю от 7 февраля 1848 г., помещенное в "Реформе" от 10 февраля того же года. Во всяком случае ясно, что часть польской эмиграции поверила этой клевете на Бакунина. Но поверили не все. Это видно из встречи, оказанной Бакунину Лелевелем, и из его выступления на торжестве 14 февраля, т. е. за 10 дней до отъезда его из Бельгии обратно во Францию. Однако клевета исподволь делала свое дело. Она преследовала Бакунина по пятам и при удобном случае (как в июле 1848 года, в разгар его революционной работы в Германии) снова высунула свое ядовитое жало.

70 Среди стоящих в оппозиции к Марксу и Энгельсу членов немецкого Рабочего союза, существовавшего в Брюсселе, возникла в сентябре 1847 года мысль организовать нечто вроде интернационального союза, в который входили бы и местные бельгийские демократы, и эмигранты различных наций, наподобие существовавшего в Англии общества "Братских демократов", состоявшего из чартистов и политических эмигрантов разных национальностей. Окончательно организовалось это "Демократическое общество для объединения всех стран" в ноябре 1847 года, причем почетным его председателем состоял генерал Мелинэ, фактическим председателем бельгийский адвокат Жоттран, вице-председателями француз Эмбер и немец Карл Маркс (см. комментарий в томе III, стр. 491). Общество ставило себе задачей "единение и братство всех народов" и старалось завязать сношения с демократами различных стран. В одном из своих воззваний оно поздравляло швейцарский народ с победой над реакционными кантонами в 1847 г., обратилось с приветствием к родственному британскому обществу "Братских демократов" и отправило туда своего члена К. Маркса, после февральской революции обратилось с приветствием к Временному правительству и пр. В общем оно носило такой характер, что Бакунин должен был бы чувствовать себя в нем хорошо. Оно вовсе не было коммунистическим или даже определенно социалистическим, так что слова Бакунина о несимпатичных манерах и тоне членов общества, о предъявленных к нему нестерпимых требованиях и т. п. представляются совершенно непонятными, как непонятен и неожиданный переход к немецким коммунистам. Это тем более непонятно, что в письме к Гервегу от декабря 1847 года, напечатанном в томе III под N 494, прямо говорится, что из "Демократического общества" может получиться нечто действительно хорошее, и Гервегу рекомендуется познакомиться с

Жоттраном как человеком дельным, умным и практичным, причем обещается в дальнейшем много писать об этом Обществе, хотя и с оговоркою, что впечатления будут иногда противоречивы. О немецких же коммунистах здесь говорится в крайне отрицательных выражениях. Это наводит на мысль, что "Демократическое общество" и коммунистический ремесленный союз в уме Бакунина были как-то неразрывно связаны, и что, когда он писал свою "Исповедь", он ошибочно спутал обе эти организации: некогда симпатичное ему "Демократическое общество" (в котором он все же видимо редко бывал, предпочитая другое общество) и немецкий коммунистический союз, к которому он и тогда и позже относился отрицательно.

71 Выходит, что якобы члены "Демократического общества", а особенно немецкие коммунисты уже в конце 1847 и начале 1848 года кричали о "предательстве" Бакунина. В такой общей и безусловной форме это утверждение Бакунина является или ошибкою памяти (ибо известная заметка в "Новой Рейнской Газете" появилась только в июле 1848 года) или сознательно неясною формулировкой какого-то действительного факта. От кого же могло идти тогда заподозривание политической честности Бакунина? Из всего предыдущего содержания наших комментариев, основанных на собственных заявлениях Бакунина, видно, что подобные подозрения на его счет существовали лишь в среде польской эмиграции. В Брюсселе Бакунин встречался с польскими эмигрантами как консервативного, так и демократического направления (с одной стороны генерал Скржинецкий, В. Тышкевич и пр., а с другой—Лелевель, Люблинер и т. п.). Про одного из них он выражается в цитированном письме к Гервегу с особенною враждебностью, а именно про Люблинера. Правда в этом отрицательном отзыве о Люблинере (о нем см. том III, стр. 493) сильно звучит уже тогда присущая Бакунину антисемитская нотка, но кроме обвинения Люблинера в том, что он — "еврей, выдающий себя за поляка", имеется и характеристика его как самого несносного существа в мире. И вот у нас возникает предположение, что Люблинер мог быть одним из тех польских эмигрантов, которые в то время с подозрением посматривали на Бакунина

и на его сближение с поляками, причем не стеснялись при случае высказывать свои подозрения более или менее открыто. А так как упомянутый Люблинер стоял близко к Лелевелю и был активным деятелем "Демократического общества" (о чем Бакунин в письме ж Гервегу также упоминает), то не он ли был причиною того, что Бакунин, побывав раза два в симпатичном ему "Демократическом обществе", вскоре перестал туда ходить? Тогда легко объяснялась бы и его ненависть к Люблинеру.

72 О Я.С. Скржинецком см. там III, стр. 493.

73 Мерод, Филипп Феликс, граф (1791—1857)—бельгийский государственный деятель. Долго жил во Франции и примкнул к либеральным воззрениям своего дяди по свойству Лафайета. После бельгийской революции 1830 года, в которой он принимал активное участие, был членом временного правительства, а при короле Леопольде I, личным другом которого он был, занимал в начале 30-х годов ряд министерских постов; с 1839 года был недолго посланником во Франции.

74 Монталамбер, Шарль, граф (1810—1870) - французский писатель и политический деятель, вождь католической партии. Сначала был представителем "либерального католицизма" и сотрудником Ламеннэ, но затем покори́лся римской курии, вступил членом в верхнюю палату и вплоть до революции 1848 года защищал там доктрины ультрамонтанства про-тив галликанства и либерализма. Он выступал и в защиту угнетенных национальностей, но лишь в том случае, если они принадлежали к католицизму, а их владыки к другой религии (пример Польши и русского царя). В 1848 году подал католикам сигнал признать республику для того, что-бы тем вернее овладеть ею и заставить ее служить целям политической и духовной реакции. Будучи членом Учредительного и Законодательного собраний, провел в 1850 году закон о "свободе обучения", отдавший на десятки лет французскую народную школу в руки католического духовенства, и способствовал походу французской армии на Рим в защиту папы от республиканцев. После государственного переворота примкнул к правительству Бонапарта, но затем начал выступать против него, благодаря чему в 1857 году потерял свой парламентский мандат. Стоя на позиции либерального католицизма, выступил против провозглашения папской непогрешимости во время Ватиканского собора. Был членом французской Академии.

75 Это указание Бакунина заслуживает самого серьезного внимания. Следовало бы предупредить соответствующие поиски в газете "Constitutionnel" и выяснить, имеются ли там статьи Бакунина и какие именно.

76 Коссидьер, Марк (1808—1861)—французский политический деятель, республиканец, принимал участие в тайных обществах 30-х годов в 1834 г. участвовал в лионском восстании, за что приговорен к 20-лет-нему заключению. Выйдя из тюрьмы по амнистии 1837 г., продолжал работу в тайных обществах, стоял близко к бланкистам. Геркулесовское сложение и ораторский талант способствовали его популярности. Бакунин по-знакомился с ним до революции 1848 года. В последней Коссидьер принял активное участие, дрался на баррикадах, прямо с баррикад с ружьем в руках отправился в префектуру полиции, занял ее, объявил себя префек-том и с помощью бывших членов тайных обществ организовал новую де-мократическую полицию ("монтаньяров"). В одной из казарм этих монтаньяров и проживал Бакунин в феврале—марте 1848 г. в Париже. Во время демонстрации 15 мая занимал выжидательное положение. Обвинен-ный на другой день в Учредительном собрании в заигрывании с бунтом, подал в отставку. После июньских дней против него возбуждено было преследование за солидарность с инсургентами. Коссидьер бежал сначала в Англию, а затем в Америку, где снова занялся своим старым ремеслом (маклера по продаже вина). Амнистиею 1859 года он воспользовался не сразу и вернулся на родину накануне смерти. Ему приписывается извест-ное выражение о Бакунине: "В первый день революции это - неоценимый человек, а на второй его надобно расстрелять". Если Коссидьер и сказал что-либо подобное, то наверное в то время, когда был префектом полиции и по его словам "устанавливал порядок с помощью элементов бес-порядка", а Бакунин ночевал среди его монтаньяров и подстрекал их к участию в революционных демонстрациях.

77 И. Головин в своих записках рассказывает, что Бакунин предво-дительствовал большою манифестацией рабочих против национальной гвардии. Он имеет в виду манифестацию 17 марта 1848 года, которая со-стоялась на следующий день после манифестации

реакционных батальонов национальной гвардии ("медвежьих шапок") и которая вместо того, чтобы навязать правительству более революционную программу, привела лишь к его упрочению. Другие источники, повествующие об этом дне, не упоминают об участии в нем Бакунина. Таким образом приходится предположить, что если он и участвовал в указанной демонстрации, в которой выступало около 150 000 человек, то лишь в виде рядового манифестанта, но никак не в качестве предводителя. В книге "Революция 1848 г. во Франции" (Донесения Я. Толстого), изд. Центрархива, Москва 1926, стр. 17, рассказывается, что Бакунин вместе с тремя другими русскими (Н. Тургеневым, И. Головиным и бывшим священником при русском посольстве Лавровым) участвовал в польской делегации к Временному правительству, возглавляемой ген. Дворницким.

78 Тьер, Адольф (1797—1877)—французский писатель и политический деятель, идеолог крупной консервативной буржуазии. Уроженец юга, этот карьерист в 1821 году перебрался в Париж, примкнул здесь к умеренно-либеральной партии, сделался сотрудником "Конституционалиста", выпустил большую работу по истории французской революции;

вместе с Арманом Каррелем и Минье создал оппозиционную газету "Националь", в которой защищал принцип парламентарной монархии. Сыграл крупную роль во время революции 1830 года, помешав учреждению республики и обеспечив избрание Луи-Филиппа на престол. В 30-е и 40-е годы неоднократно был министром, все более правая и становясь все более агрессивным по отношению к рабочему классу, движения которого он подавлял с неслыханною жестокостью. В 40-х годах, движимый завистью к своему сопернику Гизо, был главою буржуазной оппозиции против правительства. После революции 1848 г. признал республику, по его мнению наиболее обеспечивающую власть буржуазии вообще. Во время Второй Империи не играл особенной политической роли, хотя стоял в оппозиции к крайнему бонапартизму и требовал либеральных мер. Снова выдвинулся на первый план во время франко-прусской войны, когда объезжал иностранные дворы, ища союзников для Франции. Буржуазия подняла своего старого слугу на щит. Национальное собрание избрало его главою исполнительной власти, в каковом качестве он кровавыми мерами усмирив им же спровоцированное восстание парижского пролетариата (Коммуну), после чего был избран в президенты Третьей Республики. В 1873 г. вышел в отставку, а затем выступал против нового президента Мак-Магона, подготавливавшего восстановление монархии. Кроме работы о революции ему принадлежит еще обширная "История консульства и империи".

79 Уже во время процесса Мерославского в конце 1847 года в Германии в либеральных и особенно демократических кругах раздавались голоса сочувствия польским патриотам. Указывалось, что восстание, задуманное польскою эмиграцией, направлялось главным острием против русского царизма, который является врагом всего прогрессивного и свободного в Европе и угрожает всем западным государствам. Существовали даже проекты (например Бюлова-Куммерова, опубликованный в 1845 г.) восстановления независимой Польши как ограды против варварской России. Известие о краковском восстании встречено было в разных местах Германии с энтузиазмом; в Рейнской области появились даже волонтеры, собиравшиеся вступить в польские войска. С своей стороны соединенный прусский ландтаг принял сочувственную полякам резолюцию и требовал амнистии для привлеченных по процессу Мерославского. В основе этой волны симпатий к Польше лежала мысль о том, что освобожденная Польша вступит в союз с Пруссией против России.

После мартовской революции симпатии немецкой демократии к полякам еще возросли. Дело в том, что в тот момент существовало опасение российской интервенции против свободы и в защиту поколебленных тронов (как известно, интервенция эта осуществилась только годом позже). Поляки же считались естественным союзником в борьбе против царизма. Интересы европейской демократии и освобождения Польши совпадали. Вот почему в первые дни после революции польские революционеры пользовались в Германии большой популярностью. Особая депутация потребовала от прусского короля освобождения заключенных поляков; последние встречены были овациями; их торжественно привели ко дворцу, и вышедший на балкон король принужден был кричать: "Да здравствует Польша!". Демократия гласно требовала объявления войны России как главному врагу германского единства. Король уже готов был открыто высказаться за объединение Германии и за войну с Россией. Манифест немецких демократов, проживавших в Париже, подписанный от их имени Г. Гервегом, подчеркивал, что объединение и свобода Германии немыслимы без восстановления сильной, свободной и демократической Польши, стоящей между немцами и восточным абсолютизмом: "ибо до тех пор, пока хотя единственная пядь польской земли останется прусскою, Пруссия останется московскою, а до тех пор, пока Пруссия не перестанет быть московскою, не будет единства и братства между северными и южными немцами". Эти мысли и даже выражения настолько напоминают мысли и слова Бакунина, высказанные в его писаниях 1848—1849 гг. (см. томы III и IV настоящего издания), что невольно на ум приходит предположение о том, что Бакунин принимал участие в составлении цитированного манифеста или по крайней мере тех его мест, которые касаются польского вопроса. Не забудем, что в этот момент Бакунин встречался с Гервегом в Париже, поддерживал его план вторжения в Германию во главе "демократического легиона" и наверно обсуждал с ним содержание манифеста.

В марте 1848 года вся Европа ожидала восстания Польши против царизма и сочувствовала полякам. Британскому "Таймсу" уже мерещились победные польские знамена на берегах Вислы, Немана, Двины и Днепра. Прусский посол в Лондоне Бунзен говорил об освобождении Польши как о вещи несомненной. В Берлине говорили о войне с Россией как о деле решенном. В Вене также поговаривали о войне с Россией. Эрцгерцог Иоанн, позже блюститель империи, принимая 2 апреля польскую депутацию, признал раздел Польши историческим преступлением и выразил уверенность в неминуемом восстановлении независимой Польши тем или иным способом. А 6 апреля правительственная "Венская Газета" прямо писала: "свободная Австрия принесет свободу Польше, а сильная союзом с Польшей и симпатиею Европы, не отступит для такой великой цели от борьбы с Россией". Наконец собравшийся во Франкфурте предварительный парламент в начале апреля объявил раздел Польши позорным беззаконием, признал священной обязанностью немецкого народа содействие восстановлению Польши и требовал от немецких правительств оказания помощи возвращающимся без оружия полякам. Немало повредило польскому делу молчание Царства Польского.

Мы видим таким образом, что слова Бакунина об угрожавшей России войне—только не "о немецившихся поляков", как он говорит, а поляков в союзе с немцами—не являются плодом разгоряченной фантазии, а основаны на действительном положении вещей в первые недели после февральской революции.

80 Совершенно очевидно, что здесь Бакунин приступает к ответу на за-данный ему вопрос (см. выше прим. I к "Исповеди).

81 Ледрю-Ролен, Александр Август (1807—1874)—французский политический деятель. Адвокат по профессии, он примкнул к республикан-скому движению, в котором занял выдающееся место. И в палате, куда он избран был в 1841 г., и в журналистике, особенно в радикальной "Рефор-ме", он проводил демократические взгляды, выражавшие настроение левой мелкой буржуазии. Он играл крупную роль во время банкетной кампании и борьбы за расширение избирательного права, и после революции 1848 года сделался влиятельным членом Временного Правительства. В течение всей революции обнаружил бесхарактерность и колебания, свойственные представляемому им классу, занимая подобно последнему промежуточную и колеблющуюся позицию между крупным капиталом и пролетариатом. Будучи министром внутренних дел, разослал по стране своих комиссаров, ко-торые должны были бороться с элементами реакции и способствовать по-беде республики; но и эти комиссары действовали так же нерешительно, как и их шеф, фактически сдававший все позиции умеренным республикан-цам и скрытым монархистам. Но в те времена и он считался в консерватив-ных кругах страшным революционером и потрясателем основ, так что об-винение в принадлежности к "агентам Ледрю-Ролена", особенно в устах николаевских жандармов, было далеко не шуточным. Позже Ледрю-Ролен был избран в исполнительную комиссию, заменившую Временное Прави-тельство. Во время революционной манифестации 15 мая выступал против демонстрантов и способствовал провалу выступления. Будучи членом Учре-дительного собрания, не нашел своего места в июньские дни 1848 г. и не выступал против диктатуры Кавеньяка. Выставленный кандидатом в президенты от партии мелкобуржуазной демократии, собрал всего 400.000 голосов. В Законодательном собрании был руководителем мелкобуржуазной Горы. Поняв, что поражение пролетариата угрожает самому существова-нию республики, способствовал тому соглашению между социалистами и радикалами, которое получило тогда название "социал-демократической партии". Но было уже поздно. Выступление 13 июня 1849 года, предпри-нятое Горою для защиты основ республиканской конституции, нагло попи-раемой восторжествовавшей реакцией, закончилось поражением, и Ледрю-Ролена пришлось бежать в Англию, где он прожил до 1870 года. Вернув-шись во Францию, он дважды избирался в Национальное собрание и в палату депутатов, но уже не играл заметной политической роли. Вместе с своею социальной группой он не находил себе прочного места в совре-менном обществе, раздираемом борьбою классов на два стана, не допу-скающих примирения, а если и находил временами, то в лагере врагов пролетариата.

82 Альбер, настоящая фамилия Мартэн, Александр (1815—1895)— французский политический деятель. Рабочий металлист, он принимал дея-тельное участие в тайных обществах во время Июльской монархии, участво-вал в лионском восстании 1834 года; в 1840 г. способствовал основанию рабочего журнала "Мастерская". После февральской революции 1848 года был избран сначала секретарем, а затем членом Временного правительства, в составе которого не сумел проводить пролетарской линии. Попав под влияние Луи Блана, был вице-председателем Люксембургской комиссии. Избранный в Учредительное собрание, выказал сочувствие демонстрации 15 мая и был внесен демонстрантами в список нового революционного пра-вительства; за это был арестован и в 1849 г. приговорен военным судом в Бурже к ссылке. Просидев 10 лет в различных тюрьмах,

был освобожден по амнистии 1859 г., но крупной политической роли уже не играл, хотя не раз выставлялся кандидатом на выборах. Служил в газовом обществе.

83 "Централизация" — выборный руководящий центр, Центральный Ко-митет "Польского Демократического Товарищества", самой крупной и вли-ательной организации среди польской эмиграции 30—40-х годов XIX века, объединявшей левую демократическую часть дворянской и буржуазной ин-теллигенции, бежавшей из Польши от преследований правительств после революции 1831 г. и последовавших за нею заговоров и восстаний. Поль-ское Демократическое Товарищество было основано в 1832 г. во Фран-ции, Централизация же создана была в 1835 году. К этому времени ТОВА-рищество насчитывало около 1500 членов, а к концу 40-х годов около 2000. Товарищество издавало "Польский Демократ" (см. том III, стр. 537) и "Журнал П. Д. Т-ва". Именно оно подготовило восстание 1846 года, ко-торое по замыслу инициаторов должно было охватить все три польские "забора", но ограничилось выступлением в Кракове, закончившимся Тарновскою резнёю. Однако влияние Товарищества от этой неудачи не осла-бело. Сначала Централизация находилась в Пуатье, затем перебралась в Версаль (именно сюда, как мы знаем, Бакунин ездил столь неуспешно в 1846 году для установления связи с нею), а в 1848 г. переехала в Париж. Члены ее сыграли крупную роль в революционных событиях 1848—1849 гг. в раз-ных странах. После июньского поражения парижского пролетариата и нача-ла реакции во Франции Централизация принуждена была переехать в Лон-дон. В 50-х годах влияние Дем. Т-ва сильно упало, и к началу 60-х годов она прекратила свое самостоятельное существование, подчинившись варшав-скому подпольному национальному правительству.

84 На это указание Бакунина также следует обратить серьезное вни-мание. Правда Бакунин прямо не говорит, что он написал какие-либо кор-респонденции в "Реформу", но его слова не исключают я такого допу-щения.

В своем показании перед саксонской следственной комиссией 14 мая 1849 г. Бакунин говорит, что писал корреспонденции в "Реформу" и "На-сиональ", и что в связи с этим посещал французского посла в Берлине Э. Араго ("Дело" дрезденского архива, 1285а, том Ia). В Москве мы не могли найти ни "Реформы", за 1849 г., ни "Националя" вообще, а потому не могли проверить указания Бакунина. Но в "Реформе" 1848 года кроме перепечатанной оттуда статьи Бакунина о февральской революции (см. том III, N 497) мы никаких следов его сотрудничества не нашли.

85 Эти слова Бакунина весьма характерны. Итак уже в то время он в области тактики держался тех принципов, какие впоследствии применил в своей тайной анархистской организации "Альянс социальных революционе-ров". В 30-е и 40-е годы XIX века, эпоху тайных обществ и заговоров, такие организационные принципы, почерпнутые из практики карбонарских вен-т, были впрочем естественны и понятны. Но они уже начали становиться неприменимыми в (конце 40-х годов, когда на сцену выступили массы, и стали еще более устарелыми в 60-х и 70-х годах XIX века, в эпоху появ-ления широкого рабочего движения во время I Интернационала. Принцип же этот: "толпа шумит, а невидимо ведут ее немногие предприимчивые лю-ди, намечающие пути и цели в тайных заседаниях", встретится нам в пи-саниях и делах Бакунина в его анархистский период.

86 Общество Чарторижского это — правая часть польской эмиграции, аристократическая; общество демократов это—"Польское Демократическое Общество (или Товарищество)", о котором мы говорим в комментарии 83.

87 Речь идет о вторжении "демократического легиона" во главе с Гервегом в Германию из Франции, закончившемся самым плачевным образом (см. об этом том III, стр. 499). Бакунин сочувствовал попытке Гервега и на этой почве несколько позже повздорил с Марксом, который считал авантюру Гервега пагубною для дела.

88 И здесь мы усматриваем явный ответ Бакунина на поставленный ему вопрос.

89 Об И. Г. Головине см. том III, стр. 470.

О Н. И. Сазонове см. том III, стр. 480.

О Н. И. Тургеневе см. том III, стр. 552.

90 Герцен, Александр Иванович, псевдоним Искандер (1812—1870)— русский писатель и политический деятель, с 1847 г. эмигрант, основатель и издатель (вместе с Н. П. Огаревым) "Колокола" и "Полярной Звезды", первых довольно широко распространенных органов подпольной печати, один из основателей мирного народничества, один из самых блестящих русских литераторов. С Бакуниным знаком с конца 1839 года. Сначала полемизировал с ним, будучи в России левее его, но в эмигрантскую пору занял гораздо более правую позицию. Утратив после разгрома революции 1848—49 гг. веру в революционные пути, выражал в литературе взгляды прогрессивного умеренно-реформаторского либерального дворянства, все более расходясь с Бакуниным, по мере того как последний все определеннее становился на позицию крестьянского социализма, а затем и революционно-го анархизма. Даже в то время, когда их пути как будто скрестились, в начале 60-х годов, в эпоху либеральной агитации (см. том V настоящего издания), они в сущности расходились и в целях, и в путях, и в средствах.

91 В письме к Ф. Отто от 17 марта 1850 г. (см. выше, N 541) Бакунин также решительно отвергает это обвинение.

92 Бакунин никогда не был сторонником индивидуального террора, и даже а террористических брошюрах нечаевской поры он имеет в виду мас-совый красный террор революционеров против партии контр-революции. Но как революционер он не мог разумеется усматривать в террористических посягательствах на тиранов "злодейство и подлость". Такие термины он употребил здесь для своего коронованного духовника. В действительности же он думал на этот счет несколько иначе, и когда Герцен назвал Березовского, стрелявшего в Париже в Александра II, фанатиком, Бакунин от-вечал ему: "Березовский—мститель и самый законный мститель за все преступления, муки и кровавые оскорбления, вынесенные Польшею и поля-ками. Неужели ты этого не понимаешь? Да ведь если бы не было таких взрывов негодования, можно бы было отчаяться в людях" (Письмо от 23 июня 1867 года).

93 Б р у т, Марк Юний (85—42 до Р. Х.) — римский республиканец, участник заговора, который закончился убийством Цезаря, стремившегося к престолу. Классический образец тираноубийцы.

Алибо, Луи (1810—1836)—бывший конторщик, служил в армии, вышел в отставку с чином каптенармуса; решительный республиканец, при-был в Париж с целью убить короля за зверскую расправу с рабочими;

25 июня 1835 года произвел из обреза выстрел в Луи-Филиппа, но про-махнулся. Подвергнут квалифицированной казни отцеубийц 11 июля.

Равальяк, Франсуа (1579—1610) — католический фанатик, убив-ший 14 мая 1610 года французского короля Генриха IV. Казнен после му-чительных пыток.

94 Холера охватила в 1831 году значительную часть России и вызвала народные волнения в разных местах страны, в том числе в столицах. Су-ществует даже легенда об усмирении холерного бунта в Петербурге пос-редством появления самого царя на Сенной площади, где увидевшие его бунтовщики сразу усмирились и пали на колени. "Грусть" Николая I объяс-няется его страхом перед народными волнениями.

95 Второй паспорт был на имя Леонарда Неглинского. Он был отобран у Бакунина в Берлине, но возвращен ему.

96 Ясно, что речь идет о басне "Лягушка и вол".

97 "Предварительный парламент" открылся во Франкфурте-на-Майне 31 марта 1848 г. и продолжался до 3 апреля. В нем участвовало 511 пред-ставителей от разных германских государств. И уже в нем сказалось бес-силие немецкого либерализма. Слова Бакунина о том, что он застал еще во Франкфурте заседания предварительного парламента, доказывают, что он действительно приехал туда в начале апреля.

98 О Минутоли см. том III, стр. 502.

Сколько времени этот "либерал-полицейскант" продержал Бакунина в по-лицейском участке, трудно установить с точностью. В "Исповеди" Баку-нин говорит, что его выпустили на другой день, т. е. продержали в полиции целые сутки, ибо арестован он был в полдень 21 апреля. В полицейском протоколе сказано, что он был освобожден 21-го вечером,

т. е. все же просидел несколько часов. Согласно же показанию, данному Бакуниным в Праге 15 июня 1850 года, он был задержан лишь на час. Последнее впро-чем сомнительно. Если допрос, снятый с него 22 апреля и напечатанный в томе III под N 499, был учинен ему до освобождения, то и выйдет, что он просидел в участке сутки. Но, кажется, допрос происходил после осво-бождения его из полиции. См. статью проф. Пфицнера — "Бакунин в Пруссии в 1848 голу", напечатанную в немецком "Ежегоднике культуры и истории славян" 1931, том VII, выпуск III, стр. 241.

99 О польском съезде или точнее конференции в Бреславле известно очень немного; немногочисленная литература о нем указана в статье Пфиц-нера о пребывании Бакунина в Пруссии (стр. 247). Ввиду того, что разыгрывавшиеся в Европе события требовали внесения единства в польские ряды находившийся в эмиграции польский генерал Дембинский по соглашению с несколькими видными польскими деятелями Познани и Галиции задумал созвать нечто вроде совещания влиятельных представителей польской общности Пруссии и Австрии (участие представителей из Царства Польского вследствие строгой охраны российских границ с самого начала считалось исключенным) для выработки общей программы действий и избрания какого-либо центрального руководящего органа или временного правительства. Характерно, что на эту конференцию приглашены были преимущественно мирные местные люди, почвенники, а эмигранты, более революционно и демократически настроенные, приглашения на съезд не получили. Приглашено было 80 человек, а прибыло около 60-ти. Несмотря на небольшое число собравшихся и на принадлежность большинства их в общем к одному политическому направлению (умеренного постепенства), сговориться им не удалось, и ни к каким существенным практическим постановлениям они не пришли. В этом отношении Бакунин совершенно прав в своей характеристике бреславльского съезда, состоявшегося между 5 и 7 мая 1848 года на квартире ген. Дембинского. Съезд выпустил велеречивый манифест, в котором говорилось о праве наций на самоопределение, о федерации народов и о всеобщем разоружения Европы, а также обратился к полякам с призывом принять по возможности более широкое участие в подготавливавшемся славянском конгрессе в Праге.

В Бреславле Бакунин расширил свои знакомства среди поляков. Кроме местных поляков сюда наехало много эмигрантов, высланных из Кракова, а также множество беглецов из русской Польши, спасавшихся от белого террора царского сатрапа Паскевича. В частности он познакомился здесь с графом Александром Велепольским, незадолго до того выпустившим "Открытое письмо польского дворянина к князю Меттерниху", в котором проповедывал примирение поляков с царизмом, — позиция, которую Бакунин решительно отвергал. Здесь же он познакомился с графом Илиодором Скуржевским и его братом Арно. Разумеется, не отказываясь от знакомства с представителями аристократии, он завел еще больше знакомств среди демократов, но последнему мешали позорящие его слухи, распространившиеся среди части польской демократической эмиграции.

Цибульский, приезжавший на бреславльскую конференцию, познакомил Бакунина с Челякозским, который дал Бакунину рекомендательное письмо к своему зятю Сташеку в Прагу; это должно было облегчить задачу Бакунина, собиравшегося на славянский конгресс, в котором он рассчитывал найти опору для своих революционных предприятий.

100 Это место также заслуживает особенного внимания. Здесь Бакунин в который уже раз снова устанавливает источник порочащих слухов, распространявшихся на его счет: они шли из кругов польской эмиграции и в частности из ее демократического крыла. Почему демократического, это ясно само собой; демократы были более активны, имели больше связей в Царстве Польском, затевали разные революционные дела в границах царской империи, сильнее рисковали и потому особенно осторожно относились ко всем лицам, способным возбудить малейшее подозрение в политическом отношении. Почему дурные слухи о Бакунине в рассматриваемое время усилились? Опять-таки понятно: Бакунин

очутился в Бреславле, ближе к российской границе, здесь происходил созванный на 5 мая 1848 года польский съезд, вероятно велись разного рода опасные разговоры, замышлялись выступления; между тем Бакунин естественно встречался с поляками, выражал интерес к их делам, при всей своей осторожности на-верно расспрашивал про польские замыслы и людей и т. п. Неудивительно, что в такой напряженной атмосфере и в такой накаленной обстановке чувства были более обостренными, чем обычно, подозрительность сильнее, чем в обыкновенное время, присутствие русского Бакунина могло многим казаться странным, во всяком случае оно было необычным, ибо русский революционер в те времена вообще был белою вороною, а еще интересующийся польскими делами и выражающий солидарность с поляками против своего правительства был чем-то совсем непонятным и чудным. Немудрено, что слухи о Бакунине в это время еще усилились. Но повторяем, немечские коммунисты были здесь ровно ни при чем. Они тогда вероятно даже не знали, где находится Бакунин, и не думали о нем.

101 Ледуховский, Ян, граф (1791—1864)—польский политический деятель, националист и консерватор, противник освобождения крестьян. Вступив в войска княжества Варшавского, был адъютантом кн. Понятовского, был ранен и взят в плен австрийцами. По освобождении принял участие в походе Наполеона 1812 года. Был депутатом в сеймах 1825, 1830 и революционном 1830—1831 гг. Активно участвовал в революции как в области политической, так и военной. За границу принимал деятельное участие в делах польской демократической эмиграции, которой помогал и материально. Был членом "Польского национального комитета" под председательством ген. Дворницкого. Высланный из Франции, уехал в Англию. По возвращении в Париж принадлежал к "Демократическому Товариществу" и в качестве последнего председателя распустил его в 1862 году незадолго до начала восстания. Поддерживал делом и деньгами польскую военную школу в Батиньоле (под Парижем), первый пожертвовав на нее 30000 франков.

102 Это место надо считать преувеличением со стороны Бакунина. Правда высылка его из Парижа в 1847 году окружила его имя известным ореолом. С другой стороны, как правильно указывает Пфицнер, перед бреславльскими провинциалами он выступал в виде мирового демократа, явившегося из Парижа и запросто знакомого с самыми знаменитыми французскими революционерами. Однако в то время он был еще слишком мало известен немцам за исключением узкого круга старых знакомых по Берлину и Дрездену 1840—1842 годов. Да и те вряд ли смотрели на него как на "оракула", особенно в немецких делах, в которых он плохо разбирался. Позже, после его выступлений на пражском съезде и выхода его "Воззвания к славянам" популярность его возросла, но и тогда, как видно по воспоминаниям современников, даже такие приятели его, как А. Реккель, Р. Вагнер, и пр., при всем обаянии его личности, вовсе не смотрели на него как на оракула, хотя любили и уважали его и во многом прислушивались к его словам, далеко однако не принимая их без критики.

Что его влияние на бреславльских демократов было впрочем немалым, видно из того, что ему удалось убедить их выставить вместо намеченного во Франкфуртский сейм Энгельмана кандидатуру саксонца А. Руге. Несмотря на то, что против кандидатуры Руге высказывались как умеренные либералы, так и коммунисты, он был избран в депутаты. Об этом говорит один бреславльский демократ, цитируемый Пфицнером: "И так могло слу-

читься, что благодаря вмешательству русского Бакунина, инкогнито прожи-вавшего в Бреславле, Руге был тогда выставлен кандидатом во Франк-фуртский сейм" (стр. 252). Сам Руге пытался впоследствии и своих вос-поминаниях замазать этот факт.

Замечательно, что с коммунистами, которыми в Бреславле руководил тогда Вильгельм Вольф ("верный защитник пролетариев", которому посвящен первый том "Капитала"), Бакунин и здесь не сошелся.

103 Расхождение интересов живших в Познанском герцогстве поляков и немцев довело национальные страсти в этой области до белого каления. Когда прусское правительство 22 апреля 1848 г. постановило разделить герцогство на две части, из которых большую включило в состав Герман-ского Союза, поляки начали восстание. Польские волонтерские отряды, со-ставленные в большинстве из крестьян и батраков, проявили чудеса мужества, вооруженные косами, нанесли несколько поражений прекрасно вооруженным и обученным прусским войскам, как например 30 апреля при Милославле, где Мерославский разбил генерала фон Блюмена. Но в конце концов повстанцы были разбиты, и к середине мая восстание закончилось.

104 После подавления генералом Кастильоне восстания в Кракове, выз-ванного его провокационным приказом от 19 апреля не пропускать через границу польских эмигрантов, городом после бомбардировки 25 апреля подписана была 27 апреля капитуляция, в силу которой все эмигранты вы-сылались из австрийских пределов. Позже аналогичная мера была приня-та и прусским правительством.

105 Восстание баденских республиканцев под предводительством Ф. К. Геккера и Густава Струве началось 13 апреля 1848 г. Позже на помощь к ним поспешил "демократический легион" под предводительством Г. Гервега. К 25 апреля восстание, не поддержанное массами, было подавлено с невероятной жестокостью. В сущности этот разгром можно рассматривать как начало поражения германской революции.

106 Речь идет о демонстрации 15 мая, затеянной левыми клубами в целях разгона реакционного Учредительного собрания и установления нового Временного правительства, проводящего действительно революционную про-грамму. Движение закончилось полной неудачей и только усилило реак-ционную партию, которая с этого дня перешла в открытое наступление на пролетариат и спровоцировала июньское восстание, приведшее к окончатель-ному разгрому авангарда рабочего класса.

107 По мысли своих инициаторов славянский съезд также входил в об-щий план заговора реакции против революции. Еще в начале апреля хор-ватский ,бан Елачич, бывший тогда одним из самых активных деятелей авст-рийской контр-революции, виделся в Вене с Шафариком и другими пред-ставителями славянского движения. На этих совещаниях сложилась та мысль, что немецкому парламенту во Франкфурте и венгерскому сейму не-обходимо противопоставить славянский съезд в Праге. Таким образом нацио-нальные стремления славян, естественно пробужденные революцией, исполь-зовались как орудие борьбы с этой революцией. Так как инициаторы этой идеи все стояли на почве сохранения Австрийской империи (Елачич, Шафарик, Палацкий, И. М. Тун и пр.), то весьма вероятно, что

у колыбели этой идеи стояло само австрийское императорское правительство (быть может, в лице того же Елачича). Славяне, руководимые своим дворянством и реакционной буржуазией, должны были составить базу сплочения всех охранительных сил против революционных выступлений немцев, сепаратизма мадьяр и стремления итальянских провинций Австрии к отделению от нее.

Вслед за этим предварительным совещанием хорватский патриот и писатель И. Кукулевич выступил в газете "Славянский Юг" с призывом созвать славянский съезд, с призывом, который был быстро подхвачен всеми другими славянскими органами. В конце апреля в Вене образовался комитет из представителей всех живущих в Австрии славян, а 1 мая появилось извещение, что славянский съезд созывается на 31 мая в Праге. Призыв обращен был только к славянам Австрийской империи, причем заявлялось, что славяне из других стран будут с радостью приняты на конгрессе как гости. Съезд по мысли своих инициаторов должен был отстоять целостность Австрийской империи, дать отпор революционным и сепаратистским стремлениям других народностей империи и этим доставить славянам, в частности чехам (т. е. их господствующим классам), преобладающее место в восстановленной монархии.

108 Как указывает В. Чейхан (цит. соч., стр. 15 сл.), если Бакунин до 1848 года не знал чехов, то это не значит, что чехи не знали его. В немецкой газете "Богемия" 25 апреля 1848 года появилась заметка такого содержания: "Бакунин, Головин и Тургенев, известные своею судьбою и писаниями, выехали из Берлина в Краков". Разумеется само по себе содержание заметки неверно: Бакунин не ездил в Краков, а Головин и Тургенев (Возможно впрочем, что здесь речь идет не о Н. И. Тургеневе (и тем более не о И. С. Тургеневе), а о А. И. Тургеневе, брате Николая Ивановиче, разъезжавшем по Европе) в тот момент сидели в Париже и из него никуда не выезжали, но она показывает, что во всяком случае о существовании Бакунина кое-кто в Чехии знал. Как видно из переписки Ф. Л. Челяковского, тогда профессора славяноведения в Бреславльском университете, Бакунин до своей поездки в Прагу познакомился там с этим представителем чешской интеллигенции (Челяковский также присутствовал на пражском съезде). Последний передал заботы о нем своему зятю Вацлаву Станеку, прося его познакомить Бакунина с другими чехами. О предстоящем участии Бакунина в славянском съезде известно стало уже 19 мая, когда в газете "Narodni Noviny" ("Национальные Известия") появилось следующее сообщение: "Профессор славяноведения в Берлине Цыбульский привезет с собою русского эмигранта Бакунина". А во время пребывания Бакунина в Праге, куда он приехал 29 мая, местные газеты писали о нем как о знаменитости. Так упомянутая "Богемия" говорила 1 июня 1848 г.: "Одним из светил славянского конгресса является русский М. Бакунин". В тот же день "Пražский вечерний Листок" писал: "Бакунин, прославившийся своею судьбою русский писатель, находится здесь".

Станек, Вацлав (1804—1871)—чешский врач и писатель; изучал в Пражском университете филологию и медицину. Занимался врачебною практикою. В 1848 году принял деятельное участие в общественном движении, был депутатом в чешском и обще-австрийском сеймах. С начала 50-х годов отдался филологическим изысканиям и участию в Чешской Матце. Был в приятельских отношениях с И. Фричем, Ф. Л. Челяковским и другими, с которыми у него были литературные связи и которые вовлекли его в чешское национальное движение.

О Челяковском, Ф. Л. см. том III, стр. 502.

О Цыбульском, Адальберте см. том III, стр. 502.

Как видим, Бакунин сумел быстро завязать нужные знакомства в Берлине и Бреславле. Возможно, что адреса некоторых своих новых знакомых он получил от парижских поляков.

109 Робер, Киприан (Cyprien Robert)—французский писатель; родился в 1807 г., изучал языки и литературы различных народов, в частности славянских. В 1842 г. вошел в редакцию журнала "Revue des deux Mondes" и сделался одним из самых активных его сотрудников. С 1845 по 1852 гг. занимал кафедру славянских языков и литератур в Collège de France после оставления этой кафедры А. Мицкевичем. Написал несколько работ по славяноведению.

110 Бакунин имеет в виду сцены, происходившие при открытии съезда. Как передают современники, съезд открылся чрезвычайно торжественно. Говорили Палацкий, Шафарик, затем последовали речи на всех славянских наречиях, причем ораторы выступали в национальных костюмах. Юго-славяне, готовившиеся к войне с венграми, гремели саблями, все под наплывом горячего чувства бросались друг другу в объятия, вообще произошла одна из редких сцен одушевления и энтузиазма.

111 Собственно говоря, мысль чешских патриотов о превращении Австрийской империи из немецкой в славянскую нашла немало сторонников и среди польских патриотов, особенно в консервативном лагере. Во главе этого охранительно-славянского направления, которое можно назвать австрийским панславизмом, стали такие видные польские деятели, как Адам Потоцкий, Юрий Любомирский (позже член пражского съезда), Здзислав Замойский и пр. Они стояли на той точке зрения, что если немецкая централистическая и бюрократическая Австрия была вредна для польского дела, то славянско-федеративная могла бы быть для него полезна. В этом пункте они сходились с многочисленными сторонниками славянского единения в Галиции. Франтишек Смолка развивал ту мысль, что Австрия может иметь будущее только как федеративное государство, построенное на полной самостоятельности населяющих ее народов. С своей стороны познанские поляки, задетые разделом герцогства Познанского в пользу немцев, готовы были искать в славянском единстве орудия борьбы с немецким засильем. Андрей Морачевский первый подал мысль о славянском съезде.

В пражском съезде, созванном чешскими националистами, поляки приняли довольно деятельное участие. Польских делегатов было несколько десятков. Среди них назовем А. Морачевского, К. Либельта, Адальберта Цыбульского, прибывших из Познани, Юрия Любомирского и Леслава Лукашевича из Кракова; далее Лукиана Семенского и Константина Залеского присутствовал также А. Велепольский, впоследствии сыгравший такую пагубную роль в начале 60-х годов, а тогда уже довольно известный благодаря своему открытому письму к Меттерниху, написанному в дружелюбном царизму духе (см. выше, стр. 409). Поляк Юрий Любомирский был избран в товарищи председателя съезда.

Отмеченное Бакуниным ироническое отношение польских делегатов объяснялось как их сравнительно более высоким политическим развитием, чем у остальных делегатов, так и их несочувствием тем по существу реакционным целям, которые более или менее сознательно ставили себе инициаторы и вдохновители съезда.

112 В "Воззвании к славянам" Бакунин, еще веривший в возможность нового революционного взрыва и в частности в близкое восстание Богемии, выражается о пражском съезде несколько иначе; там он называет этот съезд "полным жизни", утверждает, что он провозгласил эру славянской свободы и братства, а про себя говорит, что свое участие в этом съезде "считает за величайшую честь в своей жизни".

113 Славянский съезд в Праге явился результатом стремлений чешской буржуазии вытеснить и заменить буржуазию немецкую, составлявшую меньшинство в Австрийской империи, но тем не менее занимавшую главенствующее положение как в экономической, так и в политической и культурной области. Будучи наиболее развитой частью славянских национальностей, составлявших большинство в империи, чехи, в случае, если бы им удалось объединить и возглавить движение славян, могли рассчитывать занять преобладающее положение в австрийском государстве, а опираясь на обширный рынок, представляемый славянским населением Австрии, дать материальное удовлетворение чешской промышленной, торговой и интеллигентской буржуазии. Среди славянских народов Австрии, в подавляющем большинстве крестьянских, чехи единственные имели сравнительно развитое мещанство и сумели выработать собственную интеллигенцию, не бывшую в состоянии найти полное применение своим силам в результате неравноправия славян. Отсюда ее панславистские стремления, являвшиеся естественным выражением ее социального положения.

Революция 1848 года, развязавшая все до того подавленные порывы угнетенных народов и национальностей, выдвинула на первый план все политические, экономические и национальные стремления, до тех пор насильственно загоняемые внутрь. И сами события этого бурного времени, в течение которого наряду с громкими фразами о всеобщей свободе и равенстве проявились недвусмысленные классовые вожелания, дали добавочный толчок ранее тлевшему в порах общества панславизму. Стремясь к осуществлению своих политических программ, немецкая буржуазия и венгерская аристократия попутно лишней раз задела самолюбие и интересы славянства, что сейчас же использовано было славянским и особенно чешским мещанством для своих целей. Три события в особенности толкнули славян к сопротивлению: это — 1) попытка германской буржуазии инкорпорировать в будущую единую Германию чисто славянские земли, выразившаяся в стремлении заставить эти славянские области Пруссии и Австрии посылать своих депутатов в общегерманское национальное собрание во Франкфурте и в присоединении большей части Познанского герцогства к Германскому Союзу по приказу прусского короля; 2) систематическое нарушение интересов и самолюбия славянских народов правительствами и господствующими классами после революции; 3) попытки венгерского после-революционного правительства продолжать старую политику денационализации и подавления входивших в состав венгерского королевства славянских народов. Этими действиями славяне толкались в лагерь контр-революции, которая сумела хорошо использовать создавшееся положение.

Когда австрийский министр Пиллерсдорф приказал произвести выборы в Франкфуртское национальное собрание от всех земель Австрийской империи, в том числе от Чехии, Моравии и Силезии, чешский национальный комитет (составившийся после мартовской революции преимущественно из представителей буржуазии) решительно отказался от выборов во Франк-фурт, усматривая в этом проявление германизации. По этому поводу П. Ровинский замечает: "В этом эпизоде со всею яркостью выразился ха-рактер чешского движения, в котором самый строгий судья не мог бы отыскать революционных элементов. Напротив движение чехов было чисто консервативное. Только один какой-нибудь момент было неопределенное волнение, в котором было что-то похожее на социально-политическое на-правление; но вскоре обозначился чисто консервативный характер, и он определился еще яснее с того времени, как Прагу посетили франкфурт-ские депутаты. С этого момента чехи становятся в совершенно иные от-ношения к Вене (революционной. —Ю. С.). Они видят в ней элемент, разрушающий единство империи, и всеми силами противодействуют всем ее действиям, чтоб только спасти целость и независимость Австрии" ("Чехи в 1848 и 1849 годах". "Вестник Европы" 1870, N 1, стр. 100).

"Четвертый раздел Польши", произведенный прусским правительством, присоединившим большую часть герцогства Познанского, в том числе и польские местности к Германскому Союзу, заставил многих поля-ков, которые до того косо посматривали на всякие панславистские пополз-новения, усматривая в них руку Москвы, на этот раз прислушаться к при-зывам об объединении славянских народов для сопротивления попыткам их денационализации и порабощения. Вот почему поляки и особенно познанские приняли в пражском съезде довольно видное участие.

Что касается венгерских славян, то они первые подняли оружие про-тив мадьяр. Объективные основания для этого конечно были, и всесторон-няя эксплуатация, которой венгерские магнаты веками подвергали сло-венцев, словаков, хорватов, сербов и пр., населявших области Венгрии, была разумеется основною причиною ненависти этих по преимуществу крестьянских народов к мадьярам, в коих они видели своих политических, экономических и идейных поработителей. Но здесь дело не обошлось и без провокации со стороны австрийской камарильи, которая в этом деле натравливания одного народа на другой обладала старым и огромным опы-том. Будучи бессильна против мадьяр и принужденная уступать их до-могательствам, в частности требованию отдельного самостоятельного ми-нистерства, австрийская камарилья рекомендовала населению Славонии и Кроации не повиноваться распоряжениям венгерского правительства, обещая им за это в будущем богатые милости и открыто подкупая та-ких авантюристических представителей южного славянства, как Елачич. Но выставляя перед этими темными славянскими народами венгерцев в виде бунтовщиков против престола, камарилья одновременно советовала венгерскому министерству примерно расправиться с славянскими бунтов-щиками. Венгерские правители не нуждались в таких советах, и по воле австрийского реакционного правительства скоро повсюду вспыхнуло вос-стание славян против венгров, но восстание это носило характер не рево-люционный, а реакционный и лило воду на мельницу контр-революции.

В такой обстановке появилась мысль о славянском съезде и велась

его подготовка. Первым высказал мысль о славянском съезде хорватский писатель Иван Кукулевич в заграничных "Иллирийских Новинах". Местом

съезда единогласно избрана была Прага как центральный пункт для всех славян. 30 апреля состоялось первое собрание инициаторов, главным образом чехов и поляков, избран был организационный комитет под председательством графа И. М. Туна, а 1 мая появилось на нескольких славянских языках первое воззвание о съезде (оно напечатано по-чешски полностью в "Справке о славянском съезде", помещенной во втором томе "Casopis Českého Museum" за 1848 год и вышедшей тогда же отдельной брошюрой, стр. 17—18, а оттуда перепечатано в брошюре "Славянский съезд в Праге в 1848 году" М. И. К—ина, С.-Петербург 1860, стр. 24—25, и в статье А. Р., т. е. А. Пыпина, "Два месяца в Праге", помещенной в "Современнике" 1859, том LXXIV, стр. 324—325). Указывая на то, что революция толкает народы, в частности немецкий, к объединению, воззвание призывало и славян "сговориться и слиться мыслью воедино", а потому приглашало "всех мужей, пользующихся доверием славянских народов Австрийской империи", собраться к 31 мая в Праге для общего обсуждения выгодной для австрийских славян программы и тактики (причем авторы обращения заранее высказывались против нарушения австрийского единства). "А если,—прибавляло в конце воззвание,—захотят и прочие славяне, живущие вне пределов нашего государства, почтить нас своим присутствием, они будут нашими гостями; мы будем им душевно рады". 5 мая появилось обращение к неславянским народам Австрийской империи, которое должно было их успокоить насчет намерений инициаторов славянского съезда, возбуждавшего различные опасения. Здесь подчеркивались мирные цели съезда и выставлялся на вид лоялизм его инициаторов, "объявлявших гласно и подтверждавших клятвою ненарушимо и верно хранить к царствующему над нами на конституционных началах наследственному дому габсбургско-лотарингскому нашу старую верность и всеми нам доступными средствами охранять целостность и самостоятельность австрийской империи".

Таким образом цели инициаторов съезда, по крайней мере чешских, бывших действительными его хозяевами, ясны: в них не было ничего крамольного, и только революционный романтизм Бакунина мог приписывать этому съезду какие-то революционные задачи. Каких "гостей" из среды славянства других государств ждали к себе чешские заправилы съезда, видно из тех приглашений, какие они послали в николаевскую Россию. Два из них опубликованы в заметке В.А. Францева "Приглашение русских на славянский съезд в Праге в 1848 г.", напечатанной в "Голосе Минувшего" 1914, N 5, стр. 238 сл.

Это—два письма В. Ганки своим приятелям генералу А. Стороженко (он же тайный советник и сенатор в Варшаве) и д-ру Федору Цыцуру, профессору Киевского университета, позже президенту Медико-хирургической академии в Варшаве. Оба адреса Ганки поспешили представить полученные ими письма по начальству; а тогдашнее российское начальство вроде кн. Паскевича смотрело и на верноподданных чехов как на "бунтовщиков" против своего монарха. Переписка по этому вопросу восходила до самого Николая I, который приказал не отвечать Ганке. Такие же приглашения получили и другие лица в России: вероятно они принадлежали к тому же чиновному и сановному кругу. Никто из них разумеется в Прагу не поехал. Россия была представлена на пражском съезде двумя делегатами, приезда которых Ганка и Шафарик наверное не ожидали, а именно М. Бакуниным и

раскольничьим попом А. Милорадовым.

114 О Палацком см. том III, стр. 541.

Шафарик, Павел Иосиф (1795—1861)—известный славист, родом словак, писавший по-чешски и по-немецки, один из основателей славяно-ведения. Был учителем гимназии в Сербии, с 1833 г. переселился в Чехию; благодаря ему Прага сделалась центром славяноведения, куда приезжали учиться ученые из разных стран, в том числе и из России; автор множества трудов, из которых главный — "Славянские древности". В политической области примыкал к тому консервативному течению в чешском мещанстве, которое делало чешскую буржуазию орудием дворянства австрийского двора, на пражском съезде играл такую же роль, как и Палацкий, причем оказались вместе с массой чешской и славянской интеллигенции пособниками реакции против революции, но вместо ожидаемой от австрийской камарильи благодарности получили в результате лишь усиление немецкой централизации.

Тун, Иосиф Матвей, граф (1794—1868)—австрийский и чешский общественный деятель из известного аристократического чешского рода, богатый помещик; участвовал в войне 1813—1815 гг, после чего оставил военную службу и отдался управлению своими имениями, одновременно интересуясь научными делами. Был членом чешского научного общества, приятелем Палацкого и Шафарика; изучал чешскую филологию и литературу, перевел на немецкий язык много чешских произведений, в том числе "Краледворскую рукопись". Выступал с брошюрами в защиту славянства и его прав на самостоятельность. Хотя и умеренный либерал, он был в богемском сейме одним из вождей оппозиции против власти. После революции 1848 г. был членом чешского национального комитета. Вначале был председателем организационного комитета по созыву славянского съезда, но вскоре сложил с себя это звание вследствие болезни, которая заставила его вовсе отойти от общественной жизни.

Ганка, Вацлав (1791—1861)—чешский поэт и ученый, выдающийся деятель чешского национального возрождения. Написал и перевел с других языков много славянских песен, издал ряд древних памятников чешского и других славянских языков, в том числе сомнительную по подлинности "Краледворскую рукопись", автор ряда историко-политических сочинений, написанных в панславистском и даже русофильском духе. Был профессором чешского языка и литературы в Пражском университете. Типичный представитель правого, реакционного панславизма, используемого российским царизмом в своих целях.

Коллар, Ян (1793—1852)—чешский писатель, родом словак, деятель славянского возрождения. С 1819 года священник евангелической церкви. Коллар вернулся из Венгрии на родину и к негоднованию венгерских националистов горячо принялся за пробуждение национального сознания среди словаков. В 1848 году активно выступал как панславист, был членом пражского съезда; в том же году назначен профессором Венского университета. Представитель правого, реакционного панславизма.

Урбан (Hurban), иначе Гурбан, Иосиф Милослав (1817—1888)— выдающийся словацкий писатель и общественный деятель. С 1830 года учился в Пресбурге, где Людвиг Штур пробудил в нем национальное чувство. С 1842 г. был капелланом, а с 1843 г. до смерти приходским свя-щенником в Глубоком. До 1848 года писал по беллетристике, критике и богословию, основал несколько периодических изданий для насаждения просвещения среди словаков. В 1848—1849 гг. поднял деятельное уча-стие в политическом и военном движении, направленном против венгров, и был одним из вождей восстания словаков, имевшего целью поддержать войска австрийского императора, боровшиеся против революционной мадь-ярской армии. Таким образом подобно другим славянским деятелям того времени сыграл в высшей степени пагубную роль орудия и агента реак-ции против революции. После разгрома революции вернулся к литератур-ной работе

О. Л. Штуре см. том III, стр. 517.

115 Три правительства, о которых говорит Бакунин, были следую-щие:

1) первое ответственное министерство Австрии, образовавшееся после

мартовской революции, под председательством графа Коловрата, заменен-ного затем Фикельмоном (русским агентом), но фактически находившееся под руководством министра внутренних дел Пиллерсдорфа, старого "ли-берального" бюрократа. Это официальное правительство, в действитель-ности не имевшее власти, создано было только для обмана общественного мнения: оно должно было служить прикрытием для камарильи, собиравшей в тиши силы для подавления революции;

2) тайное правительство, камарилья, державшая в руках императора, а главное армию, предоставлявшая венским министрам говорить либераль-ные речи, а сама готовившая силы, ведшая войну с революционными эле-ментами во всех частях империи, громившая итальянцев, чехов, венгров. поляков, бомбардировавшая города и т. п. Ввиду усиленного брожения в Вене, где учащаяся молодежь вместе с мелкобуржуазными демократами и рабочими все усиливала свой напор на министерство, камарилья решила вывезти императора из бунтовской столицы, и 17 мая 1848 г. император, даже не предупредив свое министерство, удрал из Вены в Тироль, насе-ленный диким и реакционным крестьянством, и основался в Инсбруке, где вокруг него составилось второе неофициальное правительство из самых отъявленных реакционеров, не желавших делать никаких уступок революции и стремившихся к полному восстановлению дореволюционных поряд-ков. С этим именно незаконным, но фактически располагавшим властью правительством и вступили в сношения чешские заправилы помимо вен-ских министров;

3) первое венгерское конституционное министерство во главе с Ба-тиани, в котором руководящую роль уже начинал играть министр финансов Кошут, будущий диктатор.

116 В. Чейхан (цит. соч., стр. 18 и 74), указывает, что Бакунин ошибается, приписывая инициативу пражского съезда Палацкому, Шафарику и И. М. Туну; при этом Чейхан объясняет эту ошибку тем, что Баку-нин делал свой вывод на основании той роли, какую названные лица игра-ли на съезде; Палацкий был его старостой, т. е. председателем,

Шафарик председателем важнейшей секции съезда—чешско-словакской, а гр. Иосиф Матвей Тун был председателем подготовительного (организационного) ко-митета. Бакунин, по словам Чейхана, не знал, что Палацкий, Шафарик и Тун склонились к мысли, о созыве съезда только после того, как уже сорганизовался комитет по его подготовке.

По мнению Чейхана вообще трудно установить, кому принадлежит здесь приоритет. Тоболка в своей книге "Slovansky sjezd v Praze Г. 1848" ("Славянский съезд в Праге 1848 года"), Прага 1901, стр. 47 сл., признает этот приоритет за Ив. Кукулевичем, т. е. за хорватом; чехи же явились только исполнителями этой мысли. Иосиф Шкультетый в рецензии на книгу Тоболки (в "Slovenske Pohledy" 1901) считает отцом этой мысли Людвига Штура, тоже словака (впоследствии приятеля Бакунина, о котором см. в томе III, стр. 517). П. Ровински и в своей работе "Чехи в 1848 и 1849 годах" ("Вестник Европы" 1870, NN 1 и 2) приписывает эту инициативу южным славянам. Выше мы видели, что по-добная мысль бродила и в некоторых польских головах, в частности в Познани, как показывает пример историка А. Морачевского. Но многие историки приписывают мысль о славянском съезде чехам.

Кукулевич, Иван (1816—1889) — хорватский историк, опубликовавший множество источников и документов по хорватской истории и литературе. Принимал участие в движении славянского возрождения в 30-х и 40-х годах. Согласно некоторым указаниям первый подал в 1848 году мысль о желательности созыва общеславянского съезда для борьбы с нем-цами и венграми, стремившимися удержать славян в подчиненном положении.

117 Назначенный взамен гр. Стадиона наместником Чехии чешский аристократ и реакционер гр. Лео Тун (1811—1888) стремился использовать националистические тенденции чешского мещанства для борьбы с венскими революционерами. С этой целью он вступил в соглашение с чешским национальным комитетом и предложил ему выделить делегацию, которая составляла бы при нем нечто вроде совещательного комитета. Этот совет, состоявший из 7 человек (Палацкий, Ригер, Боррош, гр. Альберт Ностиц, Браунер, гр. Вильгельм Вурмбранд, Штробах), образовал нечто вроде временного правительства, которое постановило помимо венского министерства войти в непосредственные сношения с императорским двором, бежавшим от революции в Инспрук. С этой целью в Инспрук посланы были Ригер и Ностиц, весьма милостиво принятые императором. Решено было назначить Франца-Иосифа наместником Чехии, созвать чешский сейм и т. п. Так состоялся заговор чешской буржуазии с австрийской камарильей против революции.

118 В. Чейхан (стр. 74) не знает, о какой брошюре Палацкого Бакунин в данном случае говорит, и даже высказывает предположение, что Бакунин ошибается в имени автора. Нам тоже не удалось найти среди статей Палацкого, относящихся к рассматриваемому времени, приведенной Бакуниным фразы, но все же мы не решаемся утверждать, что он в данном случае ошибся.

119 Тот же Чейхан (стр. 20 и 74) отказывается вслед за Бакуниным приписывать тогдашней политике чешских руководящих деятелей "им-периалистические", как он выражается, цели. Обвинение в стремлении к превращению Австрийской империи из немецкой в славянскую с преобладанием чехов, говорит Чейхан, выдвигалось с немецкой стороны, возмущенной

отказом чехов от участия в выборах в Франкфуртский сейм и испуганной созывом пражского съезда (кстати несомненную связь обоих этих моментов, вытекающую даже из тогдашних славянских источников В. Чейхан тоже готов объявить выдумкою немцев). Но Бакунин в данном случае совершенно прав. Сама логика положения толкала тогдашних славян Австрии и в первую голову руководивших ими чехов в сторону использования своего большинства для превращения империи в славянскую (ина-че какой смысл имело охранять ее от немцев, якобы желавших растворить ее в Германии, и от венгров, стремившихся к ее раздроблению?). А чтобы добиться этого, необходимо было создать крепкий и обширный центр славянского сплочения на месте разрозненных племен, бессильных против более сплоченных и культурных немцев и венгров. Кто же кроме чехов мог создать в Австрии такой центр? Естественно, что и с этой обще-славянской точки зрения чешская буржуазия должна была стремиться к инкорпорированию моравов, шлензаков, словаков и пр. Вспомним, с ка-кою опаскою, чтобы не сказать враждою, относились лидеры чешского национального движения к попыткам моравов и словаков создать собственную литературу и выработать свой литературный язык: на этой почве они готовы были даже таких заслуженных панславистов, как Л. Штур и Урбан, предать анафеме.

120 Поляки естественно сочувствовали венгерцам, а не их врагам— австрийской камарилье и союзным с нею славянским аристократам и ме-щанам. Они прекрасно понимали, что победа венгров нанесет удар не только австрийскому, но и российскому абсолютизму. В венгерских вой-сках было много поляков, в том числе на самых высоких постах; с расширением военных действий участие поляков в венгерской армии все усиливалось. С своей стороны венгры понимали солидарность своих интересов с интере-сами Польши и обещали в случае успеха обратить свое оружие против царизма в целях восстановления польской независимости. Неудивительно, что поляки, особенно польские демократы, стояли в то время примерно на той точке зрения, на которую стал позже Бакунин в своем "Воззвании к славянам", т. е. считали необходимым в интересах борьбы за освобождение угнетенных народов как-нибудь столкнуться с венгерскими рево-люционерами и выступить с ними общим фронтом против сторонников дореволюционного режима. Польские демократы стояли тогда на той пра-вильной позиции, что главным врагом мировой свободы являются россий-ский царизм и его пособники, и что против них должны быть в первую очередь направлены усилия партизанов освобождения. Понятно, что они не могли симпатизировать ни позиции южных славян, с оружием в руках выступивших против венгров и служивших в тот момент вольно или не-вольно прямым орудием реакции, ни позиции чехов, считавших первой своей задачей охрану австрийской монархии и выступавших враждебно против немецкой демократии и венгерских революционеров.

121 На съезд собралось 340 человек (в списке, приложенном к исто-рической справке о пражском съезде, стр. 57—66, перечислено 328 делега-тов). 31 мая члены съезда записывались в него и в секции, на которые он по уставу разделялся. Этих секций было три: 1) словенцев, хорватов, сербов и далматинцев; 2) чехов, моравов, шлензаков и словаков; 3) поля-ков и русин. Сюда присоединялись и шлензаки, говорящие по-польски. Первая секция избрала своим председателем священника Павла Стаматовича; вторая—П. И. Шафарика; третья—Карла Либельта; каж-дая секция избрала также свое бюро (все эти бюро вместе составляли бюро съезда — "великий выбор"). Секции в полном составе собрались 1 июня в Чешском Музее и заняли отведенные им места. В тот же день бюро съезда в полном составе

отправилось к наместнику графу Лео Туну и командиру городской стражи Праги кн. Иосифу Лобковичу, чтобы объявить им о предстоящем через день открытии съезда. Затем бюро избрало председателем (старостой) съезда Палацкого, а подстаростами, т. е. товарищами председателя, Станко-Враза от юго-славянской секции и кн. Юрия Любомирского от польско-русинской.

3 июня после церковного богослужения состоялось торжественное открытие съезда и его первое публичное заседание на Софийском острове. В зале заседаний посреди гербов и знамен всех славянских народов Австрийской империи гордо развевалось черножелтое императорское знамя. На первом собрании после речи Палацкого, содержавшей общие места, оглашен был список членов съезда, причем оказалось, что в юго-славянской секции их было 42, в польско-русинской — 61, а в чешско-словацкой—237, всего 340.

Первоначальный порядок дня съезда, состоявший из 5 пунктов, был по предложению Либельта заменен более коротким из трех пунктов:

1) манифест к европейским народам с разъяснением целей съезда; 2) адрес или петиция императору Фердинанду с изложением пожеланий славянских народов Австрии; 3) образование славянской федерации, установление ее цели и определение средств к ее сохранению. Выработка манифеста поручена была "дипломатической комиссии", избранной еще до того для составления необходимых документов от имени съезда. Петиция императору составлена была только в проекте, которого съезд не успел утвердить. По третьему пункту программы мнения особенно разошлись. Заправила съезда хотели составить проект объединения славянских народов одной Австрии (на эту тему представлено было несколько проектов). Но другие члены съезда, смотревшие более широко, мечтали о федерации всех славянских народов, в каковом духе и представлен был проект Либельтом (возможно, что в выработке его принимал участие и Бакунин, особенно горячо носившийся с этою мыслью, стоявший тогда близко к Либельту, редактировавший вместе с ним проект манифеста к европейским народам и набросавший "Основы новой славянской политики", прямо относившиеся к третьему пункту порядка дня съезда, предложенному Либельтом).

Протоколов съезда в собственном смысле не велось. Отдельные члены брали на себя задачи вести протокол заседаний, хода съезда и его комиссий и пр. На основе этого первоначального материала особая комиссия должна была составлять протокольные отчеты. События 12 июня помешали довести это дело до конца.

122 Как ни старались руководители съезда, но полностью уберечь его от проникновения революционных элементов им не удалось. На съезд собрался "цвет" австро-славянской буржуазной интеллигенции. "Но, — как замечает с прискорбием Иосиф Иречек в своей биографии Шафарика, — одновременно с этими отборными людьми австрийского славянства прибыла многочисленная стая тех буревестников, которые всегда предвещают близость сильной грозы. Это были гладенькие с виду люди, которые держались как вообще поляки и, придравшись к добавлению в конце воззвания (т. е. к пункту о "гостях".—Ю. М.) явились на славянский конгресс, несмотря на то что их никто не знал и не мог указать, какое собственно призвание они могут здесь выполнить. Русский Бакунин и познанский поляк Карл Либельт были их вожаками".

Присутствие этих посторонних "гостей", не посвященных в тайные замыслы инициаторов съезда, беспокоило не только последних, но и высшую администрацию. Так, когда руководящий комитет съезда представлялся 1 июня наместнику Л. Туну, последний, приветствуя комитет, сделал ему серьезное предостережение насчет этих посторонних гостей. По той же причине, как говорили, еще до того гр. Иосиф Матвей Тун сложил с себя звание председателя комитета по созыву конгресса, хотя отказ мотивировался его болезнью (он действительно был болен).

Когда именно состоялось формальное постановление съезда об уравнивании действительных членов и гостей, мы не знаем, равно как не знаем, было ли вообще вынесено такое постановление. Во всяком случае очевидно, что фактически сложилось сразу именно такое положение, о котором говорит Бакунин. По крайней мере в цитированной "Исторической справке", принадлежащей кажется Томеку или кому-либо другому из сторонников Палацкого и напечатанной в "Часопису (Временнике) Чешского Музея", т. е. в источнике сугубо официозном, чтобы не сказать официальном, никакого разделения на действительных членов и гостей не видно, все означаются как члены съезда и вперемешку разнесены по секциям, комиссиям и пр. И если позже Палацкий, задетый брошюрой Бакунина, пытался отрицать за своим оппонентом право на звание члена славянского съезда на том основании, что он не был австрийцем, то это только свидетельствовало об озлоблении разоблаченного политического лицедея и об отсутствии у него более серьезных аргументов (см. ниже).

123 Отчет о съезде составил не Шафарик, как думал Бакунин, а Томек. Это — та "Историческая справка", которую мы не раз цитировали и которая появилась в печати, сначала во "Временнике Чешского Музея", а затем отдельной брошюрой, когда Бакунин находился еще на свободе в

1848 году.

Томек, Вацлав Владивой (1818—1905)—чешский историк; изучал в Праге философию, затем право и историю, которой и посвятил свои силы. Написал ряд исторических сочинений, в том числе историю Праги, Яна Жижки и пр. Ему принадлежит также "Историческая справка о славянском съезде", напечатанная в "Временнике Чешского Музея" и тогда же (1848) изданная отдельно, которую мы использовали в комментарии к томам III и IV. и в приложении к которой даны официальные акты пражского конгресса. В 1848—49 был членом австрийского рейхстага, с 1861 до 1895 членом чешского ландтага, а с 1885 назначен пожизненным членом палаты господ.

124 Милорадов, Алимпий—поп из Белой Криницы, в Буковине, где находилась митрополичья кафедра раскольников-архиерея, поставлявшего священников для поповского согласия в Россию. Эта раскольничья иерархия создана была крупной русской буржуазией, державшейся, "старой веры", в 40-х годах XIX века после разорения Николаем I иргиз-

ских старообрядческих монастырей и запрещения староверам принимать "перемазанных" беглых попов. С разрешения австрийского правительства эта раскольничья иерархия была водворена в Белой Кринице, где давно уже существовала российская эмигрантская колония

из беглых старообрядцев. Эта колония поддерживала постоянные сношения с единомышленниками в России. Но ничего революционного в этих колонистах и их по-пах, равно как в поддерживавшей их богатой купеческой буржуазии, не было. Не было его и в Алимпии Милорадове, на которого Бакунин в силу присущего прежним русским революционерам неправильного воззрения на раскол напрасно возлагал некоторые надежды не только в 1848 г., но и в 1862 г., когда снова встретился с ним в Лондоне.

125 Так как Бакунин и Милорадов были единственными русскими представителями, то им ничего другого не оставалось как вступить в одну из трех существовавших секций, и естественно, что они избрали польско-русинскую, к которой только и могли примкнуть. В списке чешской "Справки" Михаил Бакунин указан как депутат от польско-русинской секции в юго-славянскую секцию (разумеется в русской брошюре М. И. К.— на, представляющей в большей своей части просто перевод с чешского оригинала, имя Бакунина всюду выпущено: ведь в это время он находился в сибирской ссылке, и имя его было опальным). Милорадов же указан там как член "великого выбора" (общего собрания делегатов от секций) от польской секции. О том и другом упоминает и Бакунин.

126 Через полгода после пражского съезда Палацкий пытался утверждать, что Бакунин действительным членом его не был и выступал на нем не в таком духе, в каком говорил в своем воззвании к славянам конца 1848 года.

Брошюра Бакунина "Воззвание к славянам" сильно задела Палацкого

как своим революционным направлением, которому он не сочувствовал, так и резкими нападками на него и подобных ему чешских деятелей, служивших австрийской монархии. Она задевала его еще и с другой стороны:

немецкие реакционеры использовали временное сотрудничество Палацкого с Бакуниным на пражском славянском съезде для того, чтобы выставить "самого Палацкого в виде скрытого бунтовщика, подготовлявшего подрыв всех основ дунайской монархии. В таком духе и написана была статья, появившаяся в официальной немецкой газете "Prager Zeitung" от 19 января 1849. Такое обвинение было для Палацкого еще более неприятным, чем все остальные. И он счел себя вынужденным нарушить молчание и отозваться на брошюру Бакунина главным образом для того, чтобы снять с себя тяжелое обвинение в революционности и в нелояльности по отношению к австрийскому правительству. Это он и сделал в статье "Вынужденное объяснение", напечатанной в приложении к названной "Пражской Газете" от 26 января 1849 года и впоследствии перепечатанной в сборнике его мелких статей и речей на немецком и чешском языках.

Брошюру Бакунина Палацкий прочел вскоре после ее выхода, на рождество 1848 года. По его словам он не боялся ее пагубного влияния на чешский народ, на который подобная "политическая галиматья" никак не могла де подействовать. В доказательство нелепости бакунинской брошюры Палацкий приводит призывы Бакунина к чехам объединиться с немцами и мадьярами, которых сам же он дескать называет заклятыми врагами славянства, и способствовать разрушению австрийской монархии. "Я спрашиваю, — победоносно заключает этот жалкий мещанин, — что это: политическая мудрость или

глупость?"

Указывая на то, что Бакунин подписывает свою брошюру "член славянского конгресса" и участие в нем считает за величайшую честь в своей жизни, Палацкий ехидно бросает замечание, что "членом съезда он в собственном смысле не был". Формально Палацкий пожалуй прав, ибо по-уставу съезда членами его могли быть только австрийские славяне, другие же—только гостями. Но фактически съезд не считался с подобными замыслами его инициаторов, желавших быть и остаться лояльными подданными австрийского императора. Гораздо важнее другое указание Палацкого:

он утверждает, что Бакунин пражского съезда и Бакунин брошюры — политически не одно и то же лицо, что в Праге он выступал далеко не в том духе, в каком высказывается в воззвании к славянам.

"Я знал Бакунина во время славянского конгресса в Праге как гуманного и свободомыслящего человека. Однако содержание упомянутой брошюры убеждает меня в том, что он или не высказал тогда полностью свой образ мыслей, или с тех пор изменил его. Тогда казалось, что он думает лишь о любви к людям и о человеческом счастье, о свободе и о праве; теперь он думает только о революции и притом только ради революции, а не ради свободы. Понимание последней он по-видимому утратил совершенно, так как сам отрицает ее возможность на том основании, что мы, австрийские славяне, по его мысли не имеем якобы иного выбора как быть или угнетателями, или угнетенными".

Палацкий решительно выступает против основной мысли Бакунина о необходимости разрушения Австрийской империи в интересах освобождения поработенных ею народов, мысли, которую Бакунин к негодованию Палацкого связывает с пражским съездом. Палацкий утверждает, что Бакунин совершенно не понял цели и смысла этого съезда, который (Палацкий хочет сказать: инициаторы которого) ставил себе вовсе не те цели, какие вычитывал в нем и приписывал ему Бакунин. И нам кажется, что здесь Палацкий прав, ибо идеализм и абстрактный революционный энтузиазм Бакунина действительно заставляли его зачастую закрывать глаза на реальные отношения и смотреть на них сквозь призму своих индивидуальных стремлений и оценок. Пражский славянский съезд по словам Палацкого (а он был одним из его инициаторов и руководителей и знал его закулисную историю, которая для Бакунина оставалась книгой за семью печатями), "как известно, не имел более важной и настоятельной задачи, чем предотвращение угрожавшей тогда преимущественно вследствие франк-фуртско-мадьярских происков гибели Австрии путем объединения всех славянских племен империи. История этого съезда пока еще окутана отчасти густым туманом, развеять который сможет только будущее; однако его

цели и стремления с самого начала не были тайною ни для кого, а все его дебаты и решения становились общеизвестными через прессу. И кто следил за событиями 1848 года внимательно и с пониманием, от того не укроется, насколько мысли, вкорененные в умах славянских народов этим конгрессом, способствовали в критические моменты последнего года сохранению Австрии как великой державы. Конечно члены славянского конгресса уже тогда, как и теперь, имели в виду новую, справедливую, неискusstвенную Австрию, союз свободных и равноправных народов под властью наследственного сильного императора, а

не очаг старого абсолютизма, гнездо реакции, рай для бюрократии. Что г. Бакунин на съезде ни разу не выступал с возражениями против подобных стремлений, может быть в случае надобности доказано документально и даже его собственными сохранившимися записками. Если бы он в то время выражался так, как ныне, то я могу удостоверить, что он у всех членов съезда, не исключая поляков (?), пожал бы только возмущение"

(Palacky—"Spisy drobnI", Прага, 1898, том I, стр. 90—92; по-немецки в "Gedenkblätter", Прага,, 1874, стр. 181—183).

Статья в "Prager Zeitung", пытавшаяся на основании брошюры Ба-кунина скомпрометировать все чешские партии, в том числе и благонаме-ренные, дала толчок к полемике, охватившей все чешские газеты, а также вовлекшей в спор выходившие в Праге немецкие газеты, венскую, юго-сла-вянскую и германско-немецкую прессу. Перечисление газет, принявших участие в этой схватке, можно найти у Пфицнера, в цит. книге, стр. 85. Чешскими буржуазными депутатами был даже внесен запрос в рейхстаг по поводу вновь возбужденного Бакуниным вопроса о пражском славян-ском съезде.

127 Первые русские революционеры и Бакунин в том числе думали найти в раскольниках, а особенно среди сектантов, удобную почву для про-паганды революционных и даже социалистических идей. Как мы знаем, мысли в таком духе Бакунин высказывал в своих первых же литературных работах, в частности в брошюре "Русские дела" (см. том III). Практическую попытку применения этих идей он сделал в начале

60-х годов, когда пос-ле бегства из Сибири одно время стоял довольно близко к кружку Гер-цена. Об этом см. во втором томе нашей работы

"М. А. Бакунин. Его жизнь и деятельность".

128 Снова отмечаем, что Бакунин всегда протестовал против казенно-государственных форм панславизма, выгодного тому или иному захватни-ческому правительству и им пропагандируемого, в частности против авст-рийского панславизма, выразителями которого были чешские заправилы пражского съезда, и против российского панславизма, проповедуемого сла-вянофилами всяких оттенков и лившего воду на мельницу царизма. Сам же он сочувствовал в то время и позже так называемому революци-онному панславизму, бывшему одним из проявлений его кре-стьянского социализма. То, что в определенной исторической обстановке и революционный панславизм мог играть реакционную роль, это — другой вопрос, который был уже отмечен в статье Энгельса против Бакунина в "Новой Рейнской Газете" от 15 и 16 февраля 1849 года (см. "Демокра-тический панславизм" в собрании сочинений Маркса и Энгельса, том VII,, стр. 203—220, и первый том моей книги о Бакунине, стр. 325 ел.).

129 Речь идет об "Основах новой славянской политики", напечатанных в томе III настоящего издания, стр. 300—305. Подчеркиваем, что по словам-Бакунина это — только отрывок, что впрочем сразу бросается в глаза при ознакомлении с этим документом. К сожалению в более полном виде он нам не известен. В документе этом развивается план крестьянской утопии, рисуется проект федерации с неограниченным земельным фондом, из ко-торого

каждый член федерации, каждый славянин может свободно получать надел для самостоятельного хозяйства, откуда исключены классовые деления и противоречия и т. п., тогда как заправилы съезда рисовали себе желательную им федерацию или в виде реформированной австрийской монархии или в лучшем случае в виде славянского буржуазного государства с несколько более расширенной основой. С этой точки зрения Чейхан пожалуй прав, когда говорит, что Бакунин не понял ни программы, ни целей пражского съезда. Он подошел к съезду с точки зрения революционного романтизма и крестьянского социализма, тогда как действительные руководители и вдохновители съезда преследовали определенные практические задачи, охарактеризованные нами в предыдущих комментариях.

130 Т. е. румынам, населявшим Трансильванию, входившую тогда в состав Венгрии. По поводу взглядов Бакунина на этот вопрос см. его отрывок "Восстание валахов и русская интервенция" (том III, N 526).

131 Здесь мы опять-таки имеем дело с явным ответом на поставленный Бакунину вопрос, и притом вопрос, наиболее интересовавший российских жандармов: естественно, что Бакунин, прекрасно понимавший это, был в ответах на этот вопрос особенно сдержан и осторожен. Впрочем все, что он говорит об отсутствии у него революционных связей и сношений с Россией, представляет совершенную правду. Для революционных конспираций в России до 1848 года не было подходящих элементов, во всяком случае в той среде, с которой тогда общался Бакунин.

Варнгаген фон Энзе, любовно собиравший всякие слухи о Бакунине во время сидения его в тюрьмах, сообщает в своих дневниках (том VIII, стр. 385, запись от 19 октября 1851 г.), будто в русской армии существовал союз "Друзей Бакунина". На чем основано это утверждение, решительно неизвестно. Это — один из многочисленных неосновательных слухов, возникавших вокруг имени Бакунина, но не имевших под собою фактической почвы.

132 И здесь Бакунин довольно точен: с начала 1843 года и до его ареста он написал родным в Россию всего 12 писем (по крайней мере больше в Прямухинском архиве не сохранилось, а там они подобраны довольно тщательно), причем из Парижа не более трех. Сколько писем получил из России Бакунин, мы с точностью не можем установить, но, судя по его жалобам на молчание и трусость родных (а от других вряд ли он мог получать тогда письма), он получил их меньше, чем послал сам.

133 Во всеподданнейшем отчете шефа жандармов за 1848 год указывается, что из 70 случаев неповиновения крестьян по всей Империи за этот год 5 произошло в "малороссийских" и 35 в западных губерниях и преимущественно в Киевской. Вызваны были эти случаи главным образом введением "инвентарных правил", подававших повод к недоразумениям. Конкретно названо только одно волнение в Чигиринском уезде Киевской губернии в имении пом. Трипольского, закончившееся преданием крестьян по приказу царя военному суду, прогнанием зачинщиков сквозь строй и ссылкой их в каторжные работы ("Крестьянское движение 1837— 1869 годов". Изд. Центрархива. Москва 1931, выпуск I, стр. 85).

134 Здесь мы имеем дело с одной из тех выходов Бакунина по адресу царизма в "Исповеди", которые он позволял себе после вынужденных "покаянных" заявлений. Поговорив о "безнравственности" и "бессовестности" своих революционных замыслов, он тут же отводит душу уколom врагу, ибо трудно яснее выразиться насчет того, что самодержавное правительство не допускает ознакомления других с действительным положением народа, и что оно само тоже не имеет понятия об этом действительном положении.

135 Весь контекст этого абзаца показывает, что и в данном случае Бакунин отвечает на вопрос или точнее вопросы, определенно ему поставленные. Судя по точности и порядку расположения вопросов, можно думать, что они были зафиксированы в письменной форме, и что бумажка с ними лежала перед Бакуниным, когда он писал свою "Исповедь". Вопросы — типично жандармские, причем последний особенно интересовал следователей.

Отвечая на эти вопросы, Бакунин никакого материала, нужного сыщикам, не дал, но зато представил такую критику самодержавных порядков, какой Николай I вероятно не слышал никогда в жизни, особенно от "арестанта", обвиняемого в "тягчайших преступлениях" и якобы полностью в них "раскаившегося".

136 Это место почти буквально повторяет то, что сказано у Бакунина в главе IV брошюры "Русские дела", напечатанной в томе III настоящего издания (стр. 399—426)

137 Здесь Бакунин совершенно правильно подчеркивает свой крестьянский демократизм, свой "крестьянский социализм". Впрочем в эпоху, когда крестьянство являлось главным производительным классом в России, когда вопрос об его раскрепощении составлял основной вопрос русской жизни и необходимое условие ее движения вперед, развития ее производительных сил, подъема ее культурного уровня и т. д., всякий последовательный демократизм неизбежно превращался в крестьянский демократизм, который в свою очередь при данной исторической обстановке превращался в крестьянский социализм (и представляющий особую форму крестьянского демократизма). Во всяком случае подчеркиваем крестьянско-демократический характер выставленной им здесь программы: дать народу свободу, -собственность и грамотность (на самом деле Бакунин, как мы знаем, шел гораздо дальше).

138 Последние два абзаца представляют явную насмешку над царем, лицемерно пожелавшим сделаться исповедником своего узника. Чего стоит один намек в начале первого абзаца, что царь в тысячу раз лучше его, Бакунина, знает про все безобразия и подлости, чинимые в самодержавном государстве, где все делается шито-крыто при полном отсутствии гласности, в условиях убиения гражданского чувства и т. д ! Или мнимое покаяние в том, что он, Бакунин, разоблачая злодеяния царизма перед общественным мнением Западной Европы, повинен лишь в том, что нарушал мудрое правило "не выносить сора из избы". Или то место, где он якобы смиренно подписывается под основным лозунгом самодержавия, что не дело подданных - рассуждать о политических предметах. Николай I несомненно почувствовал насмешку во всей этой части "Исповеди": во всяком случае в этих местах его цензорский карандаш остался без употребления, и ни одной "высочайшей" пометки в этих местах бакунинской рукописи не имеется.

139 Для узника, сидевшего в Петропавловской крепости во власти беспощадного тирана, безжалостно расправлявшегося со своими жертвами, ответ положительно недурной, решительно противоречивший маске смирения и раскаяния, напряженной на себя автором "Исповеди", но временами им озорнически с себя срываемой.

И здесь невидимому Бакунин отвечает на поставленный ему вопрос. Это был в известном смысле центральный в его положении вопрос: раскаивается ли он в своих заблуждениях и отказывается ли от них? Поставленный вплотную перед этим вопросом, Бакунин иногда отвечал на него положительно, но нередко (как например в данном случае) в нем заговорила революционная гордость, и он давал на него ответ настолько неопределенный, двусмысленный, что он мог почитаться и прямо отрицательным. Таких мест в "Исповеди" немало, и это делает ее зачастую мало похожей на подлинные "покаянные" документы из области тюремной литературы.

140 И здесь мы усматриваем явную насмешку узника над коронованным палачом.

141 Уже и в то время Бакунин высказывался против политики завоеваний, территориальных захватов и национального угнетения и признавал право наций на полное самоопределение. Впоследствии, в 60-х годах, он отчетливо сформулировал свою национальную программу в своих речах на Бернском конгрессе Лиги мира и свободы (1868 г.).

142 Здесь прямо устанавливается, что Бакунин должен был ответить на данный вопрос, а это лишний раз подтверждает наше предположение, что ему поставлены были определенные вопросы, и может быть даже в письменной форме, причем список этих вопросов лежал перед ним во время писания "Исповеди".

143 Здесь Бакунин отвергает буржуазный парламентаризм и политику либерализма с точки зрения крестьянского революционера. Но делает ли он это во имя анархизма? Как видим, в данном месте нет: он предлагает вместо буржуазного либерализма с его разделением властей, обессиливающим и обезоруживающим революцию, не анархизм, как он это делал в письмах к Г. Гервегу от августа и декабря 1848 года (см. том III. NN 507 и 521), а революционную диктатуру, программу которой он подробно развивает ниже, когда рассказывает о задуманном им восстании в Чехии весной 1849 года. Но здесь нет противоречия по существу: мелкобуржуазный, в частности крестьянский демократизм в своем логическом развитии может в зависимости от конкретных исторических условий облекаться в форму то анархизма (вспомним мечты Бакунина об анархической крестьянской революции в Германии, о которой он говорит в декабрьском письме к Гервегу 1848 года), то революционной диктатуры для политической и экономической экспроприации помещиков, а отчасти и финансистов, ростовщиков и спекулянтов, таких же врагов крестьянства и городского мещанства, и для отпора контр-революции в случае ее сопротивления (как он это предполагал в своем плане радикальной революции в Чехии 1849 года и как фактически делали французские якобинцы в 1793—1794 годах).

Это кстати показывает, что несмотря на попадающиеся в то время у Бакунина отдельные анархистские декларации, он в общем еще не стоял тогда твердо и определенно на анархистской точке зрения, а напротив склонялся к предпочтению революционной

диктатуры для осуществления глубокого разрыва с старым полуфеодалным обществом и монархическим режимом. Заявлений в пользу диктатуры у него встречается в данный период больше, чем в пользу анархии, и сверх того у него имелся целый довольно разработанный план диктатуры, проводящей радикальную программу преобразований политического и социального характера.

144 Конечно и это место "Исповеди" нельзя принимать всерьез: Бакунин в своих планах именно себе отводил роль главного диктатора. Уже в относящемся к ноябрю 1842 года письме брату Павлу и И. С. Тургеневу (том III, стр. 163) он говорил: "я чувствую и беспрестанно более и более убежден, что здесь мое место, что здесь я яснее всех вижу, чувствую и знаю что нужно". Относительно плана чешской революции

1849 года он прямо говорит, что строил всю организацию так, чтобы "все главные нити движения сосредоточились в его руках" (см. подробно ниже). И хотя в центральном комитете, который должен был объединять три задуманные им общества и руководить всем движением, он отводил себе скромно второе место, на первое же ставил Арнольда, но совершенно очевидно, что действительно первое место он предназначал себе. Да иначе и быть не могло, ибо в его окружении не было равного ему человека.

145 Все это место конечно ничего общего с действительностью и с подлинными чувствами Бакунина не имело и было написано специально для Николая I.

146 Явный ответ на вопрос, ему поставленный (об этом мы уже говорили выше).

147 И. Фрич в журнале "Чех" также упоминает об этом обществе, причем называет его "Братством славянской будущности". Кто участвовал в этом "Братстве", трудно установить, но можно предполагать, что в него кроме И. Фрича входил вероятно Л. Штур, может быть Урбан, Янечек, Блудек и т. п. Судя по письму Л. Штура Бакунину от 12. IX 1848 г. и письму Бакунина к неизвестному от 2/X того же года (см. том III, стр. 516 и 324), в этом "Братстве" во время пражского съезда говорилось о выступлении против венгров. И если верно, что, как предполагает В. Чейхан (op. cit., стр. 35) на основании названных двух документов, что это "Братство" послужило одним из исходных пунктов юго-славянского выступления против венгров, сыгравшего столь печальную роль в судьбах революции 1848—1849 годов и оказавшего столь существенную помощь мировой реакции, то это лишний раз показывает, какие неожиданные для их инициаторов последствия могут иметь иногда действия исторических деятелей" направленные к одной цели, но нередко приводящие к прямо противоположным результатам, а особенно такие двусмысленные действия, как насаждение и пропаганда панславизма, т. е. течения, таящего в себе самые неожиданные выводы и следствия. Бакунин очутился в положении курицы, высижившей утят, когда близкие ему славянские деятели взялись за оружие якобы во имя национального освобождения, а на деле оказались орудиями в руках злейшего врага всякой национальной свободы, а именно австрийской камарильи.

148 Действительно вопреки замыслу своих инициаторов и надеждам инспрукского правительства пражский съезд начал постепенно принимать Другой характер. Это выразилось в принятии съездом порядка дня, предложенного К. Либельтом, в выработке

манифеста съезда к европейским народам (куда Либельт и Бакунин включили революционные абзацы), в уравнивании гостей с делегатами от австрийских славян и т. п. Съезд таким образом начал приобретать либеральный, подчас даже радикальный характер, он становился всеславянским, поляки начинали играть на нем все более видную роль, оттесняя на задний план чешских лакеев австрийской кама-рильи. Он таким образом переставал служить специальным видам австрийского двора и угрожал из орудия контрреволюции превратиться в орудие революции. Разумеется камарилья не могла этого стерпеть, и ее агент Виндишгрец, этот австрийский Паскевич, решил положить ему конец.

В "Исповеди" Бакунин ни словом не упоминает о своем участии в составлении съездовского "Манифеста". Между тем это участие несомненно и подтверждается рядом источников. В "Исторической справке", стр. 11, сказано: "Манифест к европейским народам был выработан после ряда совещаний дипломатическою комиссиею и именно Палацким на основе проектов, представленных Цахом, Либельтом и Бакуниным" (само собою разумеется, что в русском переводе этого места в брошюре М. И. К—ина, стр. 19, имя Бакунина выпущено). А. Р., т. е. А. Пыпин, в своей цитированной нами статье (стр. 326), перечисляя названных лиц, обозначает Бакунина буквою Б. Наконец сам Бакунин в показании перед саксонскою следственною комиссиею выражается на этот счет довольно определенно:

"Прошлогодний славянский съезд в Праге решил опубликовать к Европе манифест, составление которого было поручено Палацкому, членам же конгресса предложено было принять участие в его составлении. Составленный мною на французском языке проект был использован, и весь манифест был напечатан в одной неизвестной мне пражской газете" ("Пролетарская революция" 1926, N 7, стр. 207; "Материалы для биографии М. А. Бакунина", том II, стр. 142). Бакунин только ошибается насчет газеты: манифест был напечатан в числе приложений к цитированной нами "Исторической справке", помещенной в "Временнике Чешского Музея" за 1848 год и в отдельном оттиске из него.

Сам Палацкий, перепечатывая частично этот манифест в третьем томе сборника своих статей под заглавием "Radhost", стр. 34—37, сопровождал его примечанием, в котором говорит, что приводит только те места, которые вышли из-под его пера и соответствуют его мыслям, дабы не быть обвиненным в присвоении чужих мыслей (вернее, что сей хитроумный дипломат просто хотел лишний раз проявить свою австрийскую лояльность). М. Драгоманов, напечатавший в приложении к изданной им переписке Бакунина русский перевод манифеста (и весьма неудачный, прибавим мы), не успел закончить перевода и дал его без конца, причем места, сознательно опущенные Палацким и им, Драгомановым, восстановленные, заключил в прямые скобки.

М. И. К—ин также дал в приложении к своей брошюре русский перевод манифеста, но в первых и его перевод далеко не точен и не полон, а во вторых он не делает и того различия отдельных частей текста, которое вслед за Палацким делает Драгоманов, по той причине, что он взял манифест не из книги Палацкого, а из чешской "Исторической справки", которая опубликовала манифест как единый документ, каким он и вышел из обсуждений съезда (он был принят съездом на утреннем заседании 12 июня). Таким образом полного и точного русского перевода этого важного исторического документа, в составлении которого несомненно принимал участие Бакунин (по его словам один из

проектов даже принадлежал ему), не существует, а поэтому мы даем его здесь. Вот этот манифест (места, от которых Палацкий отрекся, но которые он в свое время все-же подписал, мы приводим в прямых скобках) :

"Славянский съезд в Праге есть явление новое как для Европы, так и для самих славян. Впервые с тех пор, как о нас упоминает история, сошлись мы, разрозненные члены великого племени, в большем числе из далеких краев, дабы, сознав в себе братьев, мирно обсудить свои общие дела. И мы поняли друг друга не только нашим прекрасным языком, на котором говорят восемьдесят миллионов, но и созвучным биением сердец наших и сходством наших душевных стремлений. Правда и прямота, руководившие всеми нашими действиями, побудили нас высказать перед богом и перед людьми то, чего мы хотели и какими принципами руководствовались в наших действиях.

"Народы романские и германские, некогда прославившиеся в Европе как могучие завоеватели, тысячу лет тому назад силою меча не только добились своей политической независимости, но и сумели всемерно обеспечить свое господство. Их государственное искусство, основывавшееся преимущественно на праве сильного, предоставляло свободу только высшим сословиям, управляло посредством привилегий, народу же оставляло одни лишь обязанности. Только в новейшее время силе общественного мнения, носящегося подобно духу Божию над всеми землями, удалось разорвать все оковы феодализма и снова вернуть людям неотъемлемые права человека и гражданина. Напротив среди славян, у которых любовь к свободе искони была тем горячее, чем слабее проявлялась у них охота к господству и завоеваниям, у которых тяга к независимости всегда препятствовала образованию высшей центральной власти, одно племя за другим с течением времени попадало в состояние зависимости. С помощью политики, давно уже осужденной по заслугам в глазах всего света, напоследок лишен был и героический польский народ, наши благородные братья, своего государственного существования. Казалось, что весь великий славянский мир всюду очутился в порабощении, добровольные холопы которого не преминули отрицать за ним даже способность к свободе. Однако эта нелепая выдумка в конечном счете исчезает перед словом Божиим, говорящим сердцу каждого из нас в глубоких переворотах нашего времени. Дух наконец добился победы; чары старого заклания разрушены; тысячелетнее здание, установленное и поддерживаемое грубою силою в союзе с хитростью и коварством, рассыпается в прах на наших глазах; свежий дух жизни, веющий по широким нивам, творит новый мир; свободное слово и свободное дело стали наконец реально-стью. Теперь поднял голову и долго притеснявшийся славянин, он сбрасывает с себя иго насилия и мощным голосом требует своего старого достоинства—свободы. Сильный численностью, еще более сильный своею волею и ново обретенным братским единомыслием своих племен, он тем не менее остается верен своим прирожденным свойствам и заветам своих отцов, он не ищет ни господства ни захватов, но требует свободы как для себя, так и для каждого, требует, чтобы она была повсюду без изъятия признана священнейшим правом человека. Поэтому мы, славяне, отвергаем и ненавидим всякое господство грубой силы нарушающей законы; отвергаем всякие привилегии и преимущества, а также политические разделения сословий; желаем безусловного равенства перед законом и равной меры прав и обязанности для каждого: там, где между миллионами рождается хоть один порабощенный, действительная свобода еще не существует. Итак свобода, равенство и братство всех граждан государства остается как тысячу лет назад, так

и теперь нашим девизом.

"Однако мы возвышаем свой голос и выставляем свои требования не только в пользу отдельных личностей в государстве. Не в меньшей степени, чем человек с его прирожденным правом, священна для нас нация (narod) с совокупностью ее духовных потребностей и достижений. Жизнь и история судили некоторым народам более совершенное человеческое развитие сравнительно с другими, но вместе с тем они свидетельствуют о том, что способность этих последних народов к развитию ни в каком случае не может почитаться более ограниченной. Природа, сама по себе не зная благородных и неблагородных народов, не призвала ни одного из них к господству над другими и не предназначила никакой народ к тому, чтобы служить другому средством к достижению собственных целей этого последнего. Равное право всех на благороднейшую человечность есть закон божий, преступить который ни один из них не смеет безнаказанно. К сожалению и в наши дни этот закон повидимому еще не признан и не соблюдается, как должно, даже у наиболее цивилизованных народов. То, от чего они уже добровольно отказались по отношению к отдельным личностям, а именно владычество и опекуновство, они еще повсюду присваивают себе по отношению к отдельным народам: присваивают себе господство во имя свободы, как бы не умея отделять ее от себя. Так свободный британец отказывается признать ирландца вполне равным себе; так немец угрожает насилием многим племенам славянским, если они не пожелают способствовать созданию политического величия Германии; так мадьяр не стесняется присваивать себе одному право национальности в Венгрии. Мы, славяне, решительно клеймим все подобные притязания и отвергаем их тем энергичнее, чем неправильные они прикрываются именем свободы. Однако, верные своим прирожденным склонностям и отстраняя от себя чувство мести за былую кривду, мы протягиваем братскую руку всем соседним народам, готовым вместе с нами признать и на деле отстаивать полную равноправность всех народностей независимо от их политического могущества и величины.

["Равным образом мы отвергаем и клеймим ту политику, которая позволяет себе обращаться с территориями и народами как с вещью, подчиненною государственной власти, брать, менять и делить их по усмотрению и по произволу, не считаясь с племенной принадлежностью, языком, нравами и наклонностями народов, не обращая внимания на их естественную связь, на их права на самостоятельность. Суровая сила меча одна решала участь побежденных народов, часто не успевавших даже вступить в бой; от них обычно и не требовали ничего другого кроме солдат и денег для увековечения насильнической власти и выражения внешнего угодничества перед насильниками.]

"Основываясь на убеждении, что могучее духовное движение настоящего времени требует нового политического творчества, и что государство должно перестроиться если не в новых границах, то во всяком случае на новых основах, мы представили австрийскому императору, под конституционную власть которого мы в большинстве живем, проект преобразования его империи в союз равноправных народов, отдельным потребностям которых должно уделяться не меньше внимания, чем единству государства. В таком союзе мы усматриваем спасение не только для нас самих, но и для свободы, просвещения и вообще гражданственности и верим в готовность образованной Европы придти нам на помощь в деле его осуществления. Во всяком случае мы решились добиваться в Австрии всеми

доступными нам способами полного признания за нашими народностями таких же прав в государстве, какими уже пользуются нация немецкая и мадьярская, полагаясь при этом на мощную поддержку, которая найдется для правого дела в каждом истинно-свободном сердце.

["Врагам нашей народности удалось напугать Европу страшилищем политического панславизма, угрожающим якобы гибелью всем достижениям свободы, просвещения и гражданственности. Но мы знаем одно волшебное слово, которого одного достаточно для того, чтобы заклясть это пугало, и мы в интересах свободы, просвещения и гражданственности не хотим утаить его от народов, и без того встревоженных угрызениями собственной совести: это слово—справедливость, справедливость и к славянской народности вообще и к угнетенным ее ветвям в частности. Немец хвалится, что он преимущественно пред другими нациями способен и склонен уважать и правильно оценивать все своеобразные особенности иных народов.

Допустим и пожелаем лишь, чтобы слухи о положении славян не доказали лживости этого утверждения. Возвысим решительно голоса наши за несчастных братьев наших поляков, которые низким насилием лишены своей самостоятельности; взываем к правительствам, чтобы они наконец смыли этот старый грех, это наследственно тяготеющее проклятие кабинетской их политики; мы полагаемся в том на сочувствие целой Европы. Протестуем также против произвольного отторжения земель, подобного тому, какое в настоящее время замышляется в Познани; ожидаем от правительств прусского и саксонского, что они наконец откажутся от систематической денационализации славян в Лужицах, Познани, Восточной и Западной Пруссии. Требуем от венгерского министерства, чтобы оно безотлагательно перестало прибегать к тем бесчеловечным, насильственным средствам, которые оно употребляет против славянских народов в Венгрии, против сербов, хорватов, словаков и русин, и чтобы как можно скорее вполне обеспечены были принадлежащие им национальные права. Надеемся наконец, что бесчувственная политика недолго будет препятствовать нашим славянским братьям в Турции полностью отстаивать свою национальность и попутно развивать свои природные дарования. Заявляя здесь решительный протест против столь недостойных поступков, мы делаем это как раз из уверенности в благодетельном действии свободы. Свобода внушит больше справедливости народам, которые до сих пор были господствующими, и заставит их понять, что неправда и своеволие приносят стыд не тому, кто принужден их терпеть, а тому, кто их применяет.

"Выступая снова на политическое поприще Европы как самые младшие, но отнюдь не слабейшие, мы тут же выдвигаем проект созыва всеобщего европейского конгресса народов для разрешения всех международных вопросов, и мы глубоко убеждены в том, что свободные народы легче столкуются, чем состоящие на жаловании дипломаты. О если бы этот проект привлек к себе внимание прежде, чем реакционная политика отдельных дворов снова приведет к тому, что охваченные злобою и ненавистью народы сами начнут губить друг друга.]

"Во имя свободы, равенства и братства всех народов.

Франтишек Палацкий,

староста славянского съезда".

Как видим, наиболее боевые и демократические места манифеста, кое-где проникнутые даже интернационалистским духом, принадлежат не Палацкому. Они вышли из-под пера Либельта и Бакунина, а может быть и одного Бакунина, соответствующие писания которого той поры они живо напоми-нают.

Либельт. Карл (1807—1875) — польский писатель и полити-ческий деятель, родился в Познани; с отличием участвовал в революции 1831 г. и получил при этом чин поручика; в молодости готовился к научной карьере, но увлекся политической борьбой, за участие .в которой сидел не-которое время в тюрьме. В середине 40-х годов принял участие в нацио-налистическом заговоре и был намечен членом будущего революционного правительства в Кракове. 2 февраля 1846 г. был арестован и по процессу 1847г. приговорен к смертной казни, замененной ему 20-летним заключени-ем в крепости. Освобожденный мартовской революцией, стал во главе польского комитета в Берлине, избранного для руководства предстоявшими событиями. Вскоре вызван был в Познань, где вошел в Национальный ко-митет; здесь старался завязать связи с немецкими демократами, за соли-дарные действия с которыми стоял; был участником военных действий про-тив пруссаков. Участвовал в польской конференции с галичанами, в поль-ском съезде в Бреславле 5 мая 1848 г. и в пражском славянском съезде, везде занимая демократическую позицию. Стоя в этом отношении близко к взглядам Бакунина, участвовал вместе с ним в дополнении составленного Палацким проекта манифеста к народам Европы. Выступал в защиту поль-ского национального дела в Берлине и во Франкфурте на Майне. Вернув-шись в Познань, основал в июне 1849 г. демократический "Dziennik Polski", запрещенный в 1850 году. Был депутатом прусского ландтага и председа-телем польского Коло. Его 20-летний сын погиб во время польского восста-ния 1863 года.

149 В среде самой чешской нации естественно не было солидарности. и действовали классовые противоречия. Несмотря на национальную борьбу между богемскими немцами и чехами, умеренные элементы обеих наций бы-ли согласны в сочувствии консервативной партии и во вражде к демокра-тии. Напротив чешские радикалы сочувствовали немецким прогрессистам, особенно венским революционерам. Вот как выражается П. Ровинский (цит. ст., стр. 113) относительно тогдашних настроений в Праге: "Реакционную партию составляло дворянство; но здесь оно имело больше значения и боль-ше успеха. Оно с самого начала успело завладеть народной гвардиею, в ко-торой дворянством была занята большая часть офицерских постов. Дворянство здесь втерлось и в народный (т. е. национальный.—Ю. С.) комитет и произвело там раздвоение сил. Оно привлекло на свою сторону главных деятелей из мещанства и, что всего важнее, успело отделить от народа тех людей, на которых он рассчитывал как на своих предводителей. Самая юная молодежь, студенты, молодые литераторы, мелкие мещане и разного рода ра-бочие — вот что составляло в Праге партию движения. Видя, что народный комитет действует в духе исключительно дворянских интересов, партия эта отделилась и составила свой отдельный комитет, который держал совещания в Каролиуме (так называется одно из университетских зданий). В этих совещаниях участвовали также польские эмигранты, Бакунин и представите-ли Вены, с которою с этого времени партия эта вступила в самые тесные от-ношения. С этого времени собственно настает в Праге революционное бро-жение".

В то время как национальный комитет, в котором господствовали представители дворянства и реакционной буржуазии во главе с Ф. Палацким, послал императору адрес с выпадами против демократической Вены, студенчество после майских событий отправило венцам адрес с выражением революционной солидарности. Часть пражского мещанства, не попавшая под влияние реакционеров, также выражала свою солидарность с студентами. Несмотря на наступление каникулярного времени, часть студенчества не разъезжалась из Праги в ожидании событий. Население было раздражено вызывающим поведением солдатчины, особенно усилившимся с назначением Виндишгреца главнокомандующим. Убранные по требованию народа с площадей пушки были поставлены на Вышеграде, угрожая городу. Студенты и мещане отправили к Виндишгрецу депутацию с требованием снять с Вышеграда пушки и выдать им то оружие, которое они могли получить согласно министерскому распоряжению. Но Виндишгрец отверг все их требования, прибавив, что он подчиняется распоряжениям не министерства, а императора, с которым непосредственно сносятся.

Это и послужило поводом к столкновению, которого сознательно искали камарилья и реакционеры. После неожиданного нападения гренадеров на манифестантов, проходивших мимо дворца главнокомандующего, начались 12 июня в Духов день уличные столкновения. На баррикадах сражались против войск студенты, рабочие, и подскарпы (ремесленное население предместья Подскалье). Правительственные войска особенно старательно стреляли картечью по музею, где в тот момент находились не успевшие разъехаться члены славянского конгресса. Кое-где сельское население, прослышав про бомбардировку Праги войсками, двинулось было на помощь городу но не успело дойти до него, как восстание было разбито. Мещанство и гвардия разных городов, спешившие на помощь пражанам, были остановлены войсками, причем кое-где дело дошло до кровавых столкновений.

В письме к наместнику Богемии графу Лео Туну от начала июля 1848 года Палацкий приписывает июньские волнения влиянию таинственных венских радикальных агитаторов, стремившихся дескать сорвать консервативный и дружественный монархии славянский съезд. "Лично я,— пишет он, — склоняюсь к тому взгляду, что остающиеся еще пока неизвестными (венские) зачинщики этих достойных сожаления беспорядков по существу стремились также к насильственному роспуску конгресса, хотя я наперед должен сознаться, что в подтверждение этого взгляда я могу сослаться только на моральное убеждение, но не могу привести никаких положительных фактов" (F. Palacky—"Gedenkbilder". Прага 1874, стр. 168).

Наряду с инсинуациями о венских "зачинщиках" и "агитаторах", исходившими из консервативных славянских кругов Ю. Палацкий, пользовался распространением в известных бюрократических и консервативно-немецких кругах разговоры о широко разветвленном "славянском заговоре". Так от имени военного суда, наряженного кн. Виндишгрецом в Градчине, какой-то старший аудитор Эрнст выпустил брошюру "Die Prager Juni-Ereignisse in der Pfingstwoche des Jahres 1848, nach den Ergebnissen der hieherübergeflogenen Untersuchung" ("Пражские июньские события в Троицыны дни 1848 года по данным произведенного по этому поводу расследования"), 2-е издание. Вена 1849, в которой на основании "чистосердечных показаний" некоего М. Т. сообщаются

невероятнейшие небылицы на этот счет. Но означенный М. Т. был не кто иной как шпион и провокатор Марцел Туранский, словак по происхождению, подосланный венграми специально для компрометации славянского съезда и записавшийся в его члены. С другой стороны какой-то венгерский корреспондент "Всеобщей Аугсбургской Газеты" поместил в N 181 от 29 июня 1848 сообщение, в котором говорил: "Все больше выясняется, что пражское возмущение было результатом — хотя, и слишком рано вспыхнувшего — панславистского заговора, нити которого далеко протянулись во все славянские страны. Палацкий, Либельт и Бакунин были заранее назначены членами директории, которая должна была руководить революцией в Богемии, Польше и Венгрии. Одновременно с чехами должны были восстать райцы в Венгрии и граничары в Кроации под начальством Елачича и Гая" (F. Palacky—"Radhost", Прага 1873, том III, стр. 284—285). Достаточно сопоставления этих трех имен (Палацкий, Либельт, Бакунин), чтобы понять нелепость этой версии (в основу коей мог лечь тот факт, что эти три лица столь различных воззрений и целеустремленности редактировали манифест славянского съезда). Но современникам да еще классово-заинтересованным, вдобавок не знавшим основных фактов, выяснившихся впоследствии, и подобные глупости могли казаться чем-то правдоподобным. О показаниях же М. Туранского, выставившего смиренномудрого пискаря Палацкого главою ужасного революционного заговора, вообще распространяться не приходится.

Палацкий приписывал восстание влиянию каких-то таинственных венских агитаторов, полицейские провокаторы приписывали его влиянию самого Палацкого; в действительности оно было повидимому вызвано, спровоцировано самою камарильею, ее пражскими представителями Виндишгрецом и Лео Туном, которых в этом деле поддерживали все реакционные элементы как среди чехов, так и среди немцев. Славянский съезд пошел или точнее обнаружил стремление пойти не по тому пути, по которому он должен был идти согласно видам австрийской камарильи; ее агенты в лице Палацкого, Шафарика и пр. не сумели держать его как следует в руках, и потому он подлежал роспуску. Средством для этого явилось спровоцированное восстание демократической молодежи. Таким образом камарилья сразу убивала двух зайцев: избавлялась от начавшего становиться неудобным съезда и вместе с тем разбивала центр демократического сплочения среди чехов, одновременно подготавливая психологическую почву для аналогичной расправы с демократическими элементами других национальностей.

150 Реакционные и немецко-патриотические элементы, объяснявшие пражское восстание обширным панславистским заговором, направленным к разрушению Австрийской империи, обыкновенно связывают это объяснение с приписыванием Бакунину руководящей роли как в мнимом славянском заговоре, так и в самом восстании. Впрочем такие нелепые слухи распространяли не только немцы, но и консервативные чехи. Так писатель и государственный деятель чех Иосиф Иречек (1825—1888) уверял, что "тайное правительство восстания заседало в Клементинуме: там сидел Бакунин со своей компанией около стола, на котором лежали планы Праги, и оттуда давал приказания о продолжении сопротивления" (сообщено у Yakub Malý—"Nase znovuzrození", II, стр. 81). Чейхан в примечании 115 своей книги сообщает, что в рукописном отделе библиотеки чешского Народного музея имеется письмо Константина Иречека, сына вышеназванного, датированное 27 января 1896 из Вены, и в этом письме передаются слова его отца о том, что тот однажды застал во время славянского съезда у швейцара Клементинума за большою картою Бакунина и Цаха

(Франьо, мораванин, тоже член съезда, из Сербии, впоследствии сербский генерал), причем оба они о чем-то горячо спорили (Цах, Франц (1807—188?)—сербский генерал; родом из Ольмюца (чех или мораванин), он изучал право в Брюнне и Вене, служил в суде. Желая принять участие в польской революции, он в 1832 перебрался через австрийскую границу в Краков, но опоздал; после того вернулся в Моравию; опасаясь отдачи под суд, бежал во Францию, где занимался военными вопросами. Был библиотекарем во дворце Фонтенебли, а затем был прикомандирован к французскому посольству в Константинополе, откуда в качестве драгомана перешел во вновь открытое французское консульство в Белграде. В 1848 участвовал в славянском конгрессе в Праге, где выступал активно. По возвращении в Белград был назначен директором вновь учрежденной сербской Академии и произведен в полковники сербской ар-мии, а позже в генералы. Избрав Сербию своею второю родиною, много работал над созданием сербской армии.)

Но если даже допустить (как предполагает Чейхан), что К. Иречек описался, и что нужно читать не "во время съезда", а "после съезда", то что же это доказывает? Вот на основании таких рассказов таких господ, как И. Иречек, и создавались ле-генды о панславистском заговоре и о руководящей роля Бакунина в вос-стании. На самом деле рассказу Бакунина о его скромном участии в вос-стании, которое явилось для него полною неожиданностью, можно вполне верить. Он был рядовым участником восстания, и только под конец подал инсургентам дельный совет относительно ареста соглашателей, парализовав-ших восстание своими переговорами с Виндишгрецом, и об установлении военно-революционного комитета с диктаторскою властью. Этому совету не последовали, возможно потому, что он, как говорит Бакунин, был подан очень поздно.

Между прочим в своих показаниях перед австрийскою следственною комиссиею Бакунин 15 июля 1849 года показал, что не принимал никакого участия в боевых действиях, если не считать того, что "невооруженный находился на баррикадах, присматриваясь к сражению" (Чейхан, цит. соч., стр. 30 и 77). В "Исповеди" же он говорит, что ходил с ружьем и даже несколько раз стрелял. Надо полагать, что последнее заявление вернее.

И. Фрич, который в июньские дни был комендантом Клементинума и который возможно тогда и познакомился с Бакуниным, в своих воспо-минаниях ("Pameti, т. 3, стр. 278 сл.) так рассказывает об участии Ба-кунина в этих событиях: Бакунин предложил повстанцам в Клементинуме свои услуги вместе с Блудеком, Штуром и Пахом (это происходило видимо 15 июня). Цах и Блудек преподали бойцам военные советы, Бакунин же обратился к выстроившимся в ряды бойцам с речью, в которой стремился поднять их дух и заставил их дать обещание, что они будут драться до последней капли крови, и что враги сумеют пройти только по их трупам- "Так, — прибавляет Фрич, — обстояло дело с грозной таинственной вла-стью", придуманной Я. Малым и Иречеком. Прибавим кстати, что по рас-сказу Фрича Карл Сабина 16 июня один стоял за решительное сопротив-ление, когда другие предлагали сложить оружие (стр. 286).

Так как капитуляция Праги произошла 17 июня, то выходит, что Бакунин выехал оттуда 18 июня, следовательно в Бреславль (вероятно через Дрезден) попал обратно 19 или 20 июня. Выехал он из Праги с проходным свидетельством от 16 июня, факсимиле которого напечатано у Керстена на стр. 50.

150а Бакунин имеет здесь в виду свое выступление 26 июня 1848 года

в бреславльском центральном демократическом клубе в защиту своего предложения об издании манифеста в пользу свободы и независимости славян Так как его речь затянулась, то ввиду позднего времени собравшиеся громко требовали отложить продолжение прений до следующего раза. Этот шум и крики по словам Пфицнера Бакунин и принял за нежелание дать ему договорить (цит. статья, стр. 266). Но Бакунин прав в том отношении, что настроение немецкой и в частности бреславльской демократии к славянскому вопросу и к нему как выразителю демократического панславизма в рассматриваемое время резко изменилось. И он не мог этого не почувствовать. Вероятно эта неудача была одной из причин его переезда в Берлин через несколько дней (см. комментарий 3 к N 528 в томе III настоящего издания).

Так как письмо его в редакцию "Всеобщей Одерской Газеты" (том III, N 501) датировано "9 июля 1848 г., Бреславль", то ясно, что в Берлин он уехал после этого числа. А так как 15 июля газеты отмечают его пребывание уже в Берлине, то очевидно, что он прибыл сюда между 11 и 14 числом этого месяца.

151 О руссофильских настроениях части поляков в 1848—1849 годах см. выше в комментарии 45 к N 542 (защитительной записке Бакунина).

152 Рассказ Бакунина об этом не посланном письме к царю производит впечатление выдумки. В то время он был еще полон революционных надежд и не дошел до такого упадка духа, при котором мыслима была бы подобная затея. Зачем же ему была нужна эта выдумка? Для того, что-бы внушить Николаю I ту мысль, что если бы он стал во главе славянского движения, то мог бы привлечь к себе даже симпатии революционеров. Думали таким образом Бакунин послужить общеславянскому делу или облегчить собственное положение? Мы думаем, что второе вернее.

153 Об этом обвинении мы говорили выше :в комментарии 5 к N 541 (письмо к адвокату Отто).

154 Подробно об этом инциденте см. в комментарии, 1—3 к N 500 в томе III.

155 В начале июля Бакунин находился еще в Бреславле, как видно из его письма в редакцию "Всеобщей Одерской Газеты", датированного 9 июля 1848 (напечатано в томе III, N 501). Следовательно он мог попасть в Берлин не раньше второй декады июля; во всяком случае 15 он там уже находился.

156 Как мы знаем, с Эманюэлем Араго Бакунин был знаком еще в Париже; в Берлине он встречался с ним между прочим у Беттины фон Арним (Варнгаген, т. V, стр. 120). Араго имел обширные знакомства среди польской демократической эмиграции и сочувствовал программе восстановления Польши. Демонстрация 15 мая, показавшая недовольство демократических масс политикой Ламартина и их симпатии к Польше, хотя в общем и закончилась неудачей, но произвела некоторое впечатление, по крайней мере со стороны своих внешнеполитических требований, ибо более энергичной внешней политики требовал не только пролетариат, но и значительная часть мелкой буржуазии. В циркуляре,

посланном французским послам в Берлине, Вене и Петербурге 23 мая 1848 г., Ламартин уже высказывался в пользу Польши и поручал своим представителям заявить на-званным дворам, что французское правительство желает мира с ними и будет стремиться мирно договориться с ними на основе применения принципа справедливости к слабым народам, но что первым условием этого мира и его прочности является то, "чтобы между вами и нами не стала Польша, подвергшаяся захвату, угнетению, преследуемая в национальном отношении, лишенная политической и религиозной самостоятельности". Замена прежнего посла Сиркура старым республиканцем Э. Араго также знаменовала уступку требованиям масс, хотя и формальную. Араго много сделал для освобождения арестованных поляков, в частности Мерославского. Позже, в июле, французское правительство протестовало в Берлине против раздела Познанского герцогства.

Симпатии Э. Араго делу демократической Польши также могли быть

одним из мотивов, сближавших его с Бакуниным, который стоял на той же позиции.

Сиркур, Адольф, граф (1801—1879) — французский журналист и политический деятель; легитимист, выступавший в печати в пользу старейшей линии Бурбонов. На государственную службу вступил в 1822 г., сначала в мин. внутренних дел, а затем в мин. иностранных дел. В 1830 г. после июльской революции, которую он в качестве убежденного монархиста считал бунтом, вышел в отставку. Женился на русской, Анастасии Хлюстиной, совершил путешествие по ряду стран, в том числе и России. Вернулся в Париж в 1837 г., здесь его жена открыла монархический салон, посещавшийся многими тогдашними знаменитостями политического и литературного мира, в том числе и Ламартином, с которым Сиркур сошелся. После февральской революции 1848 г. Ламартин не нашел ничего лучшего как послать этого убежденного реакционера представителем французской республики при берлинском дворе. Здесь этот "республиканец", сочувствовавший монархии вообще и царизму в частности, ненавидевший революцию, социализм и всякое проявление свободы (поляков, стремившихся к национальному освобождению, он называл "сектою"), пробыл до 5 июня, когда был заменен Араго. Его воспоминания о посольстве в Пруссии вышли в 1908—09 гг. в двух томах в Париже под заглавием Adolphe de Circourt—"Souvenirs d'une mission Ю Berlin en 1848". Через жену был хорошо знаком с Мейендорфом, российским послом в Берлине, и от него почерпнул сведения о Бакунине, которые отсылал в Париж. К Бакунину относился весьма враждебно. См. комментарий к N 499 в третьем томе настоящего издания.

157 Бакунин в Берлине встречался с рядом писателей, общественных деятелей и пр., немцами, поляками и т. д. Известно о встречах его с анархистом Максом Штирнером (которого он впрочем мог знать еще по прежнему проживанию в Берлине, в 1841 г.), с старым знакомым по Швейцарии Юлием Фребелем, с А. Руге, с Оппенгеймом, Якоби, Дестером, Гек-замером, Рейхенбахом, Ю. Штейном, Липским, С. Борном, с Варнгагеном фон Энзе, записавшим в своем дневнике (т. V, стр. 130) о своей встрече 22 июля с Бакуниным, которого он нашел веселым, бодрым, здоровым, полным мужества и радужных надежд, что несколько противоречит заявлениям Бакунина в "Исповеди". Возможно впрочем, что перед

посторонними Бакунин притворялся, не желая обнаружить перед ними свое действительное настроение. "Живет он здесь,—пишет Варнгаген,—под именем Жюля (воспоминание об эпохе Жюля Элизара.—Ю.С.), министры Кюль-веттер и Мильде об этом знают, граф Рейхенбах — его друг. Он работает над одним произведением (вероятно "Воззвание к славянам". — Ю. С.) и держится замкнуто. От меня он пошел к Араго, с которым хорошо знаком со времени своего пребывания в Париже". Только в словах о том что Бакунин держался замкнуто, можно усмотреть подтверждение рассказа Бакунина о его тогдашнем настроении в "Исповеди" (хотя сам Варнгаген повидимому связывает замкнутый образ жизни Бакунина с его работой над своею брошюрою).

Встретился там Бакунин и с К. Марксом, причем по его словам друзья заставили их обняться после объяснения, в котором Маркс представил резоны, побудившие его опубликовать известную заметку в "Новой Рейнской Газете"; Бакунин в рукописи "Мои личные отношения с К.Марксом", которая будет опубликована в одном из последующих томов настоящего издания, сообщает, что после этого объяснения они помирились и даже расцеловались. Встречался он и с радикальным кружком Г. Мюллера-Стрюбинга, которого хорошо знал еще с 1840 г. и у которого теперь проживал. Наконец особенно часто встречался он с членами прусского национального собрания, особенно с поляками, как К. Либельт, А. Пешковский, Лукашевич (Лукашевич, Леслав (1811—1855)—польский литератор и политический деятель, уроженец Галиции. Принадлежал к "Stowarzyszenie Ludu Polskiego" в Кракове, был в 1845 г. по процессу о заговоре приговорен к смертной казни, но подобно другим сопроцессникам выпущен на свободу с зачетом предварительного заключения. Был активным участником краковских событий в 1848 году. Принимал участие в пражском славянском съезде, где сошелся с Бакуниным, к направлению которого стоял близко Арестованный в 1850 г., он умер в крепости. Подобно своему брату, тоже журналисту и демократу, очень хорошо относился к Бакунину и помогал ему по мере сил.) и пр., преимущественно конечно с демократами, но иногда и с либералами и даже консерваторами. Следом и свидетельством этих встреч является тот листок из дневника Бакунина от 11 сентября 1848 года, который был отобран у него при обыске и напечатан в томе III настоящего издания (N 508).

В это время берлинские демократические лидеры, видевшие наступление реакции и готовые бороться с нею активными средствами, почти беспрерывно заседали в отеле Милиуса, обсуждая между прочим и планы вооруженных выступлений как в самом Берлине, так и в провинции. Бакунин участвовал в этих заседаниях и был во многое посвящен. При этом он естественно остерегался выдвигаться на первый план, хотя никаких следов недоверия к нему как со стороны немецких демократов, так и польских в то время не было заметно. Впоследствии, когда Бакунин уже сидел в Дрездене, берлинский следователь счел возможным на основании полицейских донесений выдвинуть против него следующее обвинение: "Во время своего пребывания в Берлине в 1848 году Бакунин находился в интимнейшем общении с Дестером, Рейхенбахом, Шраммом(1), Иоганном Якоби, Вальдеком(2) и привлекался к самым секретным совещаниям крайних левых, очень часто встречался с известным Липским, помогал при организации Центрального комитета демократической партии и вообще был душою революционных стремлений, назревавших тогда в Берлине" (см. цит. статью Пфицнера, стр. 280—281).

Конечно здесь много преувеличений (Вальдек в частности позже отрекался от близости к Бакунину и был прав), но что Бакунин среди немецких и польских демократов в Берлине занимал видное место как человек дела, видно не только из донесений Мейендорфа, сообщавших, что берлинская полиция считает Бакунина кандидатом на роль предводителя эвентуального вооруженного выступления, но и из того факта, что когда в ноябре в Берлине начали поговаривать о необходимости вооруженного отпора наглюющей реакции, то при намерении кандидатов на место командира революционных сил наряду с именем Мерославского упоминали и имя Бакунина, а так как их обоих в тот момент в Берлине не было, то с предложением занять этот пост обратились к его приятелю, польскому демократу В. Липскому (цит. воспоминания Г. Шумана, стр. 177). Конечно "душою" всех берлинских революционных предприятий он не был и не мог быть, но участником совещаний и вероятно советником по некоторым вопросам он наверное был.

Но нигде мы не встретили указаний на то, чтобы заметка в "Новой Рейнской Газете" оказала какое-либо влияние на отношение к Бакунину его старых или новых знакомых. Напротив, судя по разнообразию тех кругов, в которых вращался тогда Бакунин, можно сделать заключение, что никакого особого вреда заметка Бакунину не причинила. Более того, когда в сентябре 1848 г. "Реформа" Руге была официально признана органом демократической партии (и "левой Национального Собрания"), а среди редакторов газеты оказался ряд приятелей Бакунина, начиная с Якоби и кончая Зигмундом, то в список сотрудников газеты наряду с Рейхенбахом, Ю. Фребелем, Гервегом, Фрейлигратом, Либельтом и... словом Шафариком попал и Бакунин. Это несомненно было для него моральной реабилитацией. Это впрочем не мешало тому, чтобы сам Бакунин чувствовал себя в то время прескверно и чтобы в нем развилась естественная подозрительность, как у всякого человека, против которого выдвинуто столь тяжкое порочащее обвинение.

В Берлине Бакунин встретился тогда между прочим с Тучковыми.

Когда Тучковы, отец и дочь (Алексей Алексеевич и Наталья Алексеевна, позже жена Н. П. Огарева, а еще позже А. И. Герцена), проезжали в конце лета 1848 года из Парижа через Берлин в Россию, Бакунин пришел к ним познакомиться. Он много расспрашивал их о парижских друзьях (особенно о Герценах) и, прощаясь, крепко жал им руки, говоря: "До свидания в славянской республике". "Все,—спешит прибавить в своих "Воспоминаниях" Тучкова-Огарева,—смеялись его выходке" (изд. 1903, стр. 57; изд. 1929, стр. 93—94).

(1) Здесь очевидно имеется в виду не умеренный демократ Рудольф Шрамм (1813—1882), бывший в 1848 году председателем демократического клуба в Берлине и членом прусского национального собрания, а "демагог" Карл Шрамм.

Шрамм, Карл (1810—1888)—немецкий поэт и политический деятель демократического направления, уроженец Рейнской провинции, сын врача. С 1828 г. изучал богословие и философию в Галле и Иене, с 1830—1831 г. в Бреславле, где проживали тогда его родители, а затем сносил в Иене; здесь примкнул к студенческому союзу "Германия". По окончании учения сделался викарным священником, но осенью 1833 года был арестован за демагогические происки, приговорен к смертной казни путем отсечения головы, замененной 30-летним заключением в крепости. Сидел до 1840 года сначала в Грауденце, а

затем в Зильберберге в Силезии. По освобождении занялся педагогической деятельностью. Революционному движению 1848 года отдался всей душой; избранный членом прусского национального собрания, а затем в 1849 году членом второй палаты, он занял место на крайней левой; позже принимал участие в южно-германском революционном восстании; после его подавления бежал в Швейцарию, а оттуда в Соединенные Штаты, где был проповедником в свободных протестантских общинах, по временам редактируя республиканские газеты. В 1879 г. вернулся в Европу, но уже не принимал участия в общественной жизни.

(2) Вальдек, Бенедикт (1802—1870)—прусский юрист и государственный деятель либерального направления, сын профессора; учился в Геттингенском университете, служил по судебному ведомству, с 1846 года был членом верховного суда. Принял участие в революции 1848 года; был членом прусского национального собрания от Берлина; будучи сторонником однопалатной системы, вместе с тем развивал программу "демократической монархии". В национальном собрании был вождем левой, был председателем конституционной комиссии и отстаивал конституционные принципы против правительства и контр-революционеров. 26 октября был избран в вице-президенты палаты; требовал выступления в защиту революционной Вены. Когда с переходом реакции в наступление национальное собрание было разогнано, Вальдек решительно высказывался за последовательное проведение тактики пассивного сопротивления, в частности отказа от платежа налогов. Избранный в новый ландтаг в 1849 г., Вальдек провел там резолюцию о незаконности осадного положения, что вызвало роспуск ландтага. Арестованный по ложному обвинению в заговоре, он был оправдан присяжными. После опубликования октроированной конституции с трехчленной системой выборов демократическая партия решила не участвовать в выборах, и Вальдек на несколько лет сошел с политической сцены. В 1860 г. он был снова избран в прусский ландтаг, примкнул там к прогрессистской партии и боролся против Бисмарка.

158 Восстание рабочих национальных мастерских в июне 1848 года, к которым присоединились другие рабочие Парижа. Было подавлено после трехдневного сражения на баррикадах что послужило сигналом к общеевропейской реакции.

159 О Елациче см. том III, стр. 536. О Кошуте см. том III, стр. 536.

160 Это письмо Л Штура и ответ на него Бакунина напечатаны у нас в т. III, стр. 156 и 324.

161 Бакунин был арестован и выслан из Берлина в конце сентября и. ст., о чем сообщает в своей депеше от 17/29 сентября российский посол при прусском дворе Мейендорф: "Бакунин,- пробывший около двух недель (на самом деле свыше двух месяцев.— Ю. С.) в Берлине, на днях

выехал обратно в Бреславль. Арест, которому он подвергся, не имел другой цели как ознакомление с его бумагами, рассмотрение коих не указало никаких следов его связей с Россией, но показало очень тесные его сношения как с польской эмиграцией, так и с республиканцами этой страны (т. е. Германии.— Ю. С.) Полагают, что Бакунин как человек действия принял бы командование над баррикадами в случае конфликта, и его считают

более опасным для спокойствия Германии, чем России. Поэтому он безотлагательно будет выслан из Пруссии, а Австрии доставлены будут необходимые сведения, дабы он не мог долго оставаться в ней. Если бы здесь произошли народные движения, он одним из первых был бы арестован и заключен в крепость". На этой депеше Дубельт сделал следующую надпись: "Если бы прусское правительство действовало твердо, то оно выдало бы нам этого мошенника" ("Дело" о М. Бакуnine).

Как мы видим, предположение Бакунина, что высылка его произведена по проискам русского правительства (кстати это же заявление Бакунин повторил на допросе в австрийской комиссии), до известной степени подтверждается. Во всяком случае ясно, что прусская полиция действовала по соглашению с российским послом, а может быть и по его инициативе: ведь он сам признает, что прусская полиция искала в бумагах Бакунина доказательств его связей с Россией и вероятно сообщала взятые у него бумаги Мейендорфу. Из депеши также вытекает, что все три монархические полиции, российская, прусская и австрийская, работали в полном согласии и оказывали друг другу посильную помощь, осведомляя одна другую об опасных личностях, к каковым уже тогда отнесен был Бакунин.

В своем показании перед саксонской следственной комиссией от 19 сентября 1849 года Бакунин сообщает, что этот приказ, содержавший угрозу о выдаче его России в случае возвращения в прусские пределы, был подписан фон Путкамером (1800—1874), берлинским полицей-президентом, занимавшим в 1848 г. пост директора министерства внутренних дел ("Красный Архив", том 27, стр. 172; "Материалы для биографии", т. II. стр. 51).

Кстати, чешские демократы интересовались тогда судьбою Бакунина. В газете "Ceská Vse1a" от 27 сентября 1848 года появилась такая заметка: "Известный русский писатель Бакунин, проживавший в качестве эмигранта в чужих странах, был недавно арестован в Берлине. Неужели прусское вероломство отправит его в Петербург?" (Чейхан, прим. 133).

162 Ангальт-Кэтен, б. самостоятельная часть герцогства Ангальт до 1863 года, когда она слилась с другою его частью, Ангальт-Бернбургом. Герцогство Ангальт расположено посреди прусских владений и со всех сторон окружено прусскими провинциями — саксонской, бранденбургской и брауншвейгской. Вся поверхность герцогства Ангальт около 2 300 кв. км., а населения было в 1848 г. около 100000 чел.

Ангальт-кэтанские демократы издавна поддерживали сношения с берлинскими радикалами. Берлинские "свободные" неоднократно приглашались в Ангальт-Кэтен, в котором существовал кружок свободомыслящих людей, оказавших Бакунину дружеский прием во время его пребывания в этой стране.

В политическом отношении Ангальт в 1848 году представлял исключение среди соседних провинций. Здесь царили демократические нравы, демократическое устройство и господствовала демократическая партия. Консерваторы были в загоне и начали поднимать голову лишь в 1849 году, когда торжество реакции в остальной Германии уже стало ясным. Во главе правительства стоял Габихт (Habicht), остававшийся министром с 1848 г. по июль 1849 г.; другим демократическим министром был Кеппе (Keppe), и оба они были в дружеских отношениях с Бакуниным, которому позже помогали, когда он сидел в

саксонских тюрьмах. В Кэтене у Бакунина имелись старые однокашники по Берлинскому университету, как напр. губернский стряпчий Бранигк. Проживая в июле—сентябре в Берлине, Бакунин среди других немецких демократов встречался там с Энмо Зандером, молодым радикальным депутатом дессауского ландтага (возможно, что он был с ним знаком уже в начале 40-х годов). Вероятно от Зандера он и получил те сведения о положении вещей в Ангальте, которые побудили его избрать этот уголок для временного отдыха вдали от прусской и саксонской полиции. В Берлине их сближению мешали слухи о Бакунине, повторенные "Новою Рейнскою Газетою", но в Кэтене они сошлись довольно близко. В общем они очень друг к другу подходили по своим нигилистическим приемам, богемным ухваткам и темпераменту. Среди местных провинциальных деятелей Бакунин естественно выделялся и скоро занял видное положение. Вокруг него собрался круг дружески к нему расположенных и демократически настроенных людей: сюда кроме выше названных вошел доктор Альфред Бер, которого Бакунин знал еще по предварительному парламенту в Франкфурте, и у которого он жил в Кэ-тене. Имел он также убежище в Дессау, а одно время, скрываясь от розысков прусской полиции, проживал в уединенном лесном домике вблизи Тринума. В Ангальте в приятельском кругу, в симпатичной ему атмосфере долгих бесед за стаканом вина, в покойной духовной обстановке, дававшей возможность сосредоточиться и работать, Бакунин прожил 2,5 месяца в плодотворной умственной работе, плодом которой между прочим явилось воззвание к славянам, сразу выдвинувшее его на политическую авансцену.

163 6 октября в Вене произошло выступление демократических элементов, сопровождавшееся убийством военного министра Латура, пославшего войска против Венгрии, и приведшее к переходу власти в руки революционеров. Против Вены были мобилизованы оставшиеся верными бежавшему в Ольмюц императору войска; в первую голову славянская армия Елачича, отступавшая перед венграми, а теперь спешившая разыграть роль спасительницы монархии и уже 7 октября двинувшаяся на Вену, а также стоявшие в Богемии войска под начальством Виндишгреца, которые получили приказ о выступлении 8 октября. 11 октября уже начались стычки под Веной, 24 октября Вена была совершенно окружена, а 31 -го взята разъяренной солдатчиной.

Бакунин действительно подумывал в то время о поездке в Прагу для объединения тамошних демократов и для отрыва их от партии соглашателей Палацкого и др. Но с одной стороны он не был уверен в характере ожидающего его там приема, а с другой кэтенские друзья решительно отсоветовали ему столь рискованный шаг. В частности Энмо Зандер писал ему на своем грубоватом языке из Берлина: "Милый, ты собираешься в Прагу? Не будь ослом! Что ты там теперь будешь делать? Дать себя арестовать или добиться провозглашения осадного положения? Оставайся в Кэтене, я приеду еще на этой неделе; ибо если и сейчас не дойдет до конфликта, то никогда не дойдет" (цит. книга Пфицнера, стр. 75).

164 Из брошюры "Воззвание к славянам" и из второй прокламации к славянам от марта 1849 года (обе напечатаны у нас в томе 3) мы знаем, как отрицательно относился Бакунин к партии Палацкого, этому сброду реакционных лакеев австрийской династии, этой представительнице казенного австрийского панславизма (который эта партия при нужде готова была сменить на казенный панславизм российский, как ни парадоксально это звучит

на первый взгляд). В ней он правильно усматривал одну из главных помех к революции и в частности к освобождению славянства. В показании перед саксонскою следственной комиссией) 11 октября 1849г. он между прочим заявил: "Я должен заметить, что ортодоксальная фракция славян на пражском конгрессе — назову здесь имена: Палацкий — проявляла больше симпатии к России, чем к Австрии, и с графом Туном во главе она стояла за славянскую Австрию с резиденцией императора в Праге, а потому она не столько стремилась войти в соглашение с австрийским правительством, сколько непосредственно с самим императором". И ниже он поясняет; "Я хотел сказать, что ортодоксальная, т. е. легальная партия главным образом преследовала интересы славянской Австрии, в том числе и Палацкий. Однако среди них были и такие члены партии, которые скорее склонялись на сторону России, чем Австрии, и готовы были симпатизировать интересам первой, но я не говорил, что Палацкий и Браунер преследовали русские интересы" ("Пролетарская революция" 1926, N 7, стр. 203; мы внесли сюда некоторые исправления, ибо у В. Полонского напечатано вместо "ортодоксальная" "православная" и вместо Браунер "Бруна", что впрочем является у него обычным; во 2-м томе "Материалов", стр. 138, православная исправлена на ортодоксальную, но Бруна остался).

Очень резкая характеристика Палацкого и Ригера дана Бакуниным в письме его к И. Фричу от 12 мая 1862 г. (будет напечатано у нас в следующем томе этого издания). Там он говорит о них как о людях, предавших по глупости славянское дело, как о политических интриганах, дурных пастырях, обманувших и сбивших с толку чешскую молодежь, и т. п.

165 На допросе в Австрии (Чейхан, прим. 136) Бакунин показал, что начал писать брошюру в то время, когда Елачич двигался на Вену, в октябре 1848 г., а закончил ее после взятия Вены, т. е. в ноябре, и напечатал ее в конце декабря 1848 г. Издал ее по немецки и по польски (в переводе Ю. Анджейковича) лейпцигский издатель Кейль ("Пролетарская Революция", цит. м., стр. 196—197); напечатал же ее типограф Александр Виде.

166 Судя по тому, что в "Исповеди" подобные заявления встречаются несколько раз, можно предполагать, что Бакунину предъявлялись и обвинительные документы, или что его тем или иным способом ставили о них в известность. Можно также допустить, что он знал о присылке их из Австрии вместе с ним, но и об этом он мог знать только от жандармов.

167 Прусское национальное собрание, которое Бакунин называет "конститутивным", повидимому имея в виду его учредительный характер, было 9 ноября 1848 г. по приказу короля переведено в городок Бранденбург, причем временно распущено до 27 ноября, а когда палата депутатов отказалась подчиниться этому произвольному распоряжению и начала собираться в разных местах Берлина, то ее собрание было 16 ноября разогнано воинским отрядом, а 5 декабря она была окончательно распущена уже после переезда в Бранденбург. После этого король октроировал конституцию совершенно олигархического типа, которая с небольшими изменениями просуществовала до революции 1918 года.

168 Гекзамер, Адольф — немецкий журналист и политический деятель демократического направления; принимал активное участие в революции 1848 года, был избран в Центральный комитет союза немецких демократических обществ на берлинском съезде этих обществ в октябре

1848 г. и был членом редакции органа, этих обществ. Был членом прусско-го национального собрания.

Дестер, Карл Людвиг Иоанн (1811—1859)—германский полити-ческий деятель, врач по профессии, кельнский демократ, затем коммунист, друг Маркса, член "Союза коммунистов", играл активную роль во время революции 1848 года; с февраля 1849 г. был членом прусского нацио-нального собрания, где сидел на левой; был членом Центрального комите-та немецких демократических обществ, избранного на октябрьском демокра-тическом съезде в Берлине, был редактором центральной демократической газеты, участвовал в демократическом восстании в южной Германии в 1849 г. После подавления революции принужден был эмигрировать в Швей-царию, где и умер. Бакунин познакомился с "им еще в 1847 году в Брюсселе.

168а Мы уже указывали, что с августа среди немецких и в частности берлинских демократов началось оживление. Они стали готовиться к воору-женному отпору наступавшей реакции. Избранный на съезде демократиче-ской партии Центральный комитет старался завязывать повсюду связи, на-лаживать организацию демократических сил в провинции, вести радикаль-ную агитацию и т. п. Дестер, Якоби и Штейн, три немецких радикала, на-ходившихся в хороших отношениях к Бакунину, должны были составить революционный комитет для руководства подготовлявшимся выступлением, привлечь на его сторону армию, припасти оружие и средства. Так как Силезия считалась наиболее передовую провинцией Пруссии, то предпола-галось именно ее избрать центром восстания, опорным пунктом которого должен был служить город Бреславль (где Бакунин, как мы знаем, имел довольно широкие связи). Совершенно очевидно, что Бакунин был посвя-щен в эти планы если не в деталях, добиваться которых он сам вероятно избегал, то в общих очертаниях: это между прочим видно и из его письма к неизвестному поляку от 2 октября 1848 года, напечатанного нами в томе III настоящего издания; и столь же очевидно, что в Кэтене, где он в ча-стности сблизился с Дестером, с которым в Берлине не был близок, и с Гекзамером, двумя членами ЦК демократической партии, он узнал еще больше о революционных приготовлениях немецких радикалов. Так же хо-рошо Бакунин был посвящен в революционные замыслы поляков, с своей стороны готовивших новое восстание в Познани, в Галиции и, если удастся, в Царстве Польском; но о польских делах он в исповеди перед Николаем разумеется избегал упоминать. Именно в связи с подготовлявшимся вы-ступлением немецких демократов в Пруссии поговаривали о Бакунине как об одном из кандидатов в военачальники наряду с Мерославским и Липским (см. выше комментарий 157).

О планах и настроениях прусских демократов Бакунин мог узнавать между прочим от Мюллера-Стрюбинга, который старался держать своего друга в курсе событий, и от Энно Зандера, связанного с берлинскими демократами и часто совершавшего поездки в Берлин. С Бреславлем он связан был между прочим через своего приятеля, демократического купца Штальшмидта, который наезжал в Кэтен и там встречался с Бакуниным (об этом свидетельствует записка Штальшмидта от 29 октября 1848 г. из Кэтена, найденная у Бакунина при аресте и напечатанная в цит. книге Пфицнера, стр. 75). Еще более интересна другая записка того же Штальшмидта из Бреславля от 15 декабря 1848 г., в которой он сообщает, что состоит членом комиссии безопасности, управляющей городом, что в Бреславле все готово к восстанию, которое вспыхнет на следующий день, если из Бер-лина

будет дан сигнал, и просит Бакунина постараться, чтобы Берлин поднялся (ib., стр. 77). Дестер и Гекзамер, перебравшиеся с середины января 1849 г. в Лейпциг, основали там "Центральный комитет для во-оруженной защиты немецкой народной свободы", который вероятно нахо-дился также в связи с Бакуниным, но о деятельности этой новой организации почти ничего не —> известно[Author:LDN] .

169 В Лейпциг Бакунин приехал 30 декабря 1848 года. Здесь он меж-ду прочим познакомился с прогрессивным издателем Эрнстом Кейлем, выпустившим в свет его воззвание к славянам. О впечатлении, произведен-ном Бакуниным на Кейля (а вероятно и на других лейпцигских демокра-тов), свидетельствуют следующие воспоминания Кейля, извлеченные из его статьи о пострадавших за революцию сотрудниках его журнала "Маяк", которая была помещена в сентябрьском номере журнала за 1849 год, т. е. когда Бакунин уже сидел в саксонской тюрьме. Итак вот что пишет Кейль.

"Это было в конце 1848 года, в воскресное утро. Снег ослепительно сверкал на полях, которые были видны из окна моей комнаты. Люди мо-лились. А я сидел за столом и работал. Вдруг мне сообщили, что пришел гость. Я знал имя этого человека, хотевшего со мной говорить; знал, что он сын богатых родителей, из преданности идее отказался от блестящей карьеры и совершенно без средств эмигрировал во Францию; я знал его знаменитую парижскую речь на польском банкете, которая в бесчислен-ных (?) переводах обошла всю Европу; знал также и его дальнейшую судь-бу, как Гизо в своем раболепии перед русским царем выслал его из Фран-ции, как бежал он в Брюссель, как еще недавно только чудом спасся от выдачи черно-красно-золотой Пруссией, и как, почти до смерти замучен-ный всеми этими преследованиями, он нашел наконец приют в маленьком Дессау. Этот человек, затравленный власть имущими, был безусловно хо-рошим человеком.

"Это был Бакунин.

"О чем мы с ним в то утро говорили, как я ловил каждое слово этого восторженного апостола свободы, как он рассказывал обо всех своих на-деждах, о своей любви к России, о ненависти к царю,—все это я не буду сейчас повторять. Во время нашей беседы я просил его написать несколь-ко статей, и он мне это обещал. Я предложил ему за них приличное воз-награждение. Но он сказал серьезно: "Милостивый государь",—его высо-кая, гордая фигура поднялась с дивана, — "за деньги я не пишу". И этот человек был в это время беден, так беден!

"С этого времени мы с ним часто встречались. Я видел, как он в пылу захватывающего вдохновения громовым голосом на ломаном немецком языке произносил свои воспевающие свободу речи. Все его могучее тело при этом дрожало от пламенного гнева и лихорадочного возбуждения. Битком набитые собрания, состоявшие преимущественно из видных людей, как бы охваченные священным порывом, не смели даже дышать, захва-ченные этим великаном духа. В этом бледном, черном (?) человеке все ды-шало силой, энергией и решимостью. Потом я видел его снова, как он, дитя с детьми, ласкал белокурую четырехлетнюю дочку одного друга и играл с ней, как он при этом рассказывал о своих братьях и сестрах в Рос-сии, о своей молодости. Слушатели были тронуты до слез. Как часто ухо-дил он из трактира голодный, потому что роздал на улице свои послед-ние деньги

нищим или купил цветы своей любимице! И вот этого чело-века, столь великого и решительного в своей восторженности, столь мяг-кого в своей любви, они осмеливались называть "подлой натурой".

"Сейчас не время говорить о политической деятельности Бакунина. Его "Воззвание к славянам", которое он опубликовал незадолго до приезда в Лейпциг, известно. Все, что сочиняют о нем в последнее время официальные лакейские газеты, будто он стоял во главе большого заговора, проект организации и планы которого найдены в его бумагах, все это ложь и клевета (?). Одно только верно, что он, случайно вовлеченный в дрезденскую революцию, вскоре стал во главе ее и честно и стойко бо-ролся там за свои идеалы. Какова будет его судьба—смерть ли, выдача ли России, или пожизненное тюремное заключение,—этого мы не знаем, и нам приходится больше бояться за него, чем на что-нибудь надеяться. Те-перь его судьба — каземат в Кенигштейне!"

(Б. Николаевский—"Бакунин эпохи его первой эмиграции в вос-поминаниях немцев-современников". "Каторга и Ссылка" 1930, N 8/9, стр. 111—112).

Содержащиеся в последнем абзаце слова Кейля относительно загово-ра следует понимать так, что Кейль имел в виду заговор, направленный к возбуждению революции в Германии: такого плана у Бакунина действи-тельно в бумагах найти не могли. Но поскольку речь шла о заговоре про-тив Австрии, то, как мы знаем, таковой был Бакуниным задуман.

Следивший за каждым шагом Бакунина русский посол в Пруссии Мейендорф в письме к Нессельроде от 3/15 января 1849 г. уверяет, что Ба-кунин является советчиком саксонских демократов и подает им мудрые со-веты: так он якобы убедил их выступать внешне умеренно, дабы таким путем увлечь за собою массы, и эта именно тактика помогла мол им получить чисто республиканскую палату (P. Meyendorff — "Politischer und privater Briefwechsel", том II, стр. 144). Враги явно преувеличивали зна-чение Бакунина, но они его боялись и тщательно за ним следили.

В Лейпциге, как сообщает Бакунин в показаниях на австрийском до-просе, он проживал без прописки в полиции, но с ведома какого-то члена правительства, имени которого он не называет, сначала в гостинице "Золо-той петух" (хозяином которой был демократ "папаша Вернер", у которого Бакунин одно время находил приют), а позднее для укрытия от глаз поли-ции он жил у своего знакомого книготорговца Шрека; одно же время жил вместе с братьями Страка, которые вскоре сделались его ярыми привер-женцами. С Густавом Страка Бакунин, как выясняется из его допроса в Саксонии, был знаком еще по Праге (поэтому показание Г. Страка, что он познакомился с Бакуниным 31 декабря 1848 г. в Лейпциге, приходится считать неверным); он встретил его в Лейпциге в гостинице "Золотой пе-тух", а затем познакомился и с его братом (Чейхан, стр. 39—40 и 80, а также "Прол. Рев.", цит. место, стр. 201 сл.). Возможно, что через них он проник в студенческие кружки в Лейпциге, состоявшие из славянской учащейся молодежи; в эти кружки начали захаживать и немецкие студен-ты. Здесь Бакунин, резко выступая против националистических предрас-судков, горячо развивал идеи своего "Воззвания к славянам", доказывая своим слушателям общность революционных интересов демократов славян-ских и немецких. Постепенно вокруг него образовался кружок преданных ему юношей, проникнутых энтузиазмом и

готовых по его указанию ринуться в самые рискованные предприятия. Из них братья Страка были особенно ему преданы.

170 О впечатлении, произведенном брошюрой Бакунина, см. в комментарии к N 520 в томе III, стр. 532 сл., а также в этом томе выше (стр. 472 сл., ответ Палацкого на брошюру).

171 О Карле Сабине и Эмануиле Арнольде см. том III, стр. 546—547. Газета, которую тогда редактировал Сабина, называлась "Известиями Славянской Липы", и была гораздо радикальнее, чем само общество, от имени которого она издавалась. В ней и появился в январе 1849 г. перевод части брошюры Бакунина, причем все нападки на императора Фердинанда были выброшены. Но ответа Бакунина на "Вынужденное объяснение" Палацкого Сабина уже не поместил.

Повидимому Бакунин просто воспользовался ответом Палацкого на "Воззвание к славянам" для того, чтобы завязать более тесные связи с обществом "Славянская Липа" и заставили говорить о себе более молодых и революционно настроенных его членов. По словам самого Бакунина он, посылая в конце января 1849 г. в Прагу Густава Страку, дал ему два поручения: пригласить к нему в Лейпциг для переговоров Э. Арнольда, а во-вторых поручил Страке вручить К. Сабине письмо для передачи "Славянской Липе", орган которой Сабина редактировал: его письмо, являясь дальнейшим развитием идеи, изложенной в кэтенской брошюре, содержало призыв к славянам объединиться с немецкими демократами и венгерскими повстанцами для совместной борьбы против реакции; оно должно было по расчетам Бакунина привлечь к нему симпатии левого крыла "Славянской Липы". От самого Сабины Бакунин не получил ответа на свое предложение, а от Страки узнал, что Сабина письмо принял, но заявил, что при господствующем настроении невозможно передать его "Славянской Липе". На допросе Сабина пояснил, что Г. Страка действительно привез ему пакет, состоявший из 8 листов, с надписью "Комитету Славянской Липы" и подписью "Бакунин, член славянского конгресса". Существо рукописи сводилось к тому, что славянство под влиянием ученых доктринеров пошло по неправильному пути. Ссылаясь на свое "Воззвание к славянам", Бакунин предлагал идти по пути, указанному в этой брошюре, т. е. по пути солидарного выступления славян с немецкими демократами, польскими и венгерскими революционерами в целях разрушения австрийской монархии и создания на ее развалинах вольной славянской федерации. По словам Сабины он не решился дать этому обращению дальнейшего хода и сжег рукопись.

172 Э. Арнольд, который был радикалом еще до революции 1848 г. и за свои резкие статьи сидел даже в тюрьме, начал издавать с конца 1848 г. демократический популярный журнал "Obcanskí Noviny" ("Гражданские Известия"), имевший целью пропаганду демократических идей в городе и деревне. Этим он естественно привлекал внимание Бакунина, который уже тогда задумывал демократическую революцию в Богемии и потому стремился сгруппировать вокруг себя влиятельные радикальные элементы чешского общества.

173 "Славянская Липа"— чешское политическое общество с разветвлениями по всем чешским землям, а затем и по всем славянским землям Австрийской империи, основанное 30 апреля 1848 года в Праге, называвшее себя демократическим, но в сущности бывшее вначале умеренно-либеральным, а подчас даже прямо реакционным и находившееся под

тлетворным влиянием партии Палацкого, проводившей и здесь ту же политику прислуживания австрийской монархии, что на пражском съезде. В своем цитированном выше ответе Бакунину Палацкий ("Gedenkbldtter", стр. 183—184) сам признает, что в "Славянской Липе" представлены были разнородные элементы: консервативные, которым он сочувствует, и радикальные, ему антипатичные. Он протестует против попытки характеризовать всю "Липу" на основании одного поведения редакторов ее органа и считает перепечатку (частичную) ими брошюры Бакунина "свидетельством не столько их извращенного мировоззрения, сколько их радикальной бестактности". Сам Бакунин в своих саксонских показаниях (стр. 183) говорит, что общество "сначала защищало славянские интересы от немцев, а впоследствии распалось на три фракции: на консервативную, во главе которой стоял Палацкий, на либеральную... и на демократическую, членом которой был Сабина". Целью общества объявлена была охрана основ конституции и их широчайшее распространение в Австрийской империи, полное равноправие чешского языка с немецким во всех областях государственной и общественной жизни, отстаивание самостоятельности чешской короны от всех покушений Германского Союза и Франкфуртского парламента. В первом комитете общества членами состояли граф И. М. Тун (председатель), Ганка, Иордан, Палацкий, Ригер, Миковец, (Миковец, Фердинанд Братислав (1826—1862) — чешский археолог, драматург и общественный деятель. Получил немецкое воспитание и только на 16-м году жизни начал под влиянием растущего чешского национализма учиться по-чешски. С 1842 переселился в Прагу и занялся литературой, причем сначала писал по-немецки, а с 1846 и по-чешски. Принял участие в событиях 1848 г.; в качестве офицера участвовал в боях сербов с венграми в Бандте. Вернувшись в 1851 на родину, он в целях борьбы с баховской реакцией, не пощадившей и чешских предателей революции, основал журнал "Люмир", вокруг которого группировалась чешская писательская молодежь. Собрал много материала по истории Чехии и в 1858—61 выпустил свою главную работу "Древности и памятники чешской земли" (по-чешски и немецки).

т. е. заведомо правые националисты, известные по своей роли на славянском съезде. Впрочем, когда задевались интересы националистов, общество пыталось обороняться. Так комитет протестовал против поведения властей во время июньских волнений и обратился в австрийский сейм с жалобой на насилия военщины. Надеясь на то, что волнения вызваны были провокацией властей, общество заявило: "До сих пор исследовали одну сторону дела: не было ли заговора против законного порядка? Теперь следует взять другую сторону: не было ли заговора против свободы?" Это не помешало обществу солидаризироваться с выступлениями южных славян против революционных венгров по наущению тех же властей и австрийской камарильи. 11 сентября 1848 года "Славянская Липа" выпустила воззвание к чешскому народу с приглашением оказывать движению южных славян материальную помощь и моральную поддержку. И даже во время наступления бана Елачича, этого наемного кондотьера австрийского абсолютизма, на революционную Вену, движения, возбуждавшего некоторые опасения даже среди умеренных либералов своим явным реакционным характером, "Славянская Липа" под действием националистического дурмана и под растлевающим влиянием таких политических вождей, как Палацкие, Ригеры и т. п., приветствовала армию абсолютизма, желая ей победы над революционной демократией.

Когда бан Елачич, объявленный революционной Веною бунтовщиком и изменником, был камарильею назначен главнокомандующим венгерскими войсками, "Славянская Липа"

приняла сторону реакции и писала: "Наконец атмосфера начинает проясняться. Правительство наше, до сих пор не решавшееся, к какой стороне примкнуть, втайне строившее нам (т. е. славянам. — Ю. С.) разные козни, силою обстоятельств вынужденное принять определенное направление, стало во главе славянского движения". Когда во время наступления Елачича и Виндишгреца на Вену в октябре 1848 года общество "Славянской Липы" совещалось о том, какую занять в данном случае позицию, большинство отвергло предложение К. Гавличка, вице-президента общества и яркого немцеда, о нейтралитете и высказалось за правительство против революции. Ригер выразил настроение этого большинства в следующих словах, в которых он старался выставить камарилью сторонницею равноправия наций, а венских революционеров—его против-никами: "Мы убеждены в том, что это - бой народный из-за равноправности всех народностей, и потому бой этот должен быть доведен до конца. Та сторона, которая вызвала на бой, должна быть сломлена; в противном случае мы очутимся в том же загоне, в каком были до этого. Войско должно победить, чтобы обезоружить не студенческие легионы, а толпы бунтовщиков, состоящие из рабочих, которых должно выгнать из Вены. Наше спасение связано с выгодами династии, и потому мы не станем протестовать против того, что она употребляет войско для достижения своих целей... Наконец мы видим склонность династии к дарованию свободы; по край-ней мере без этого она не в состоянии удержать власть".

Когда Вена была осаждена, а императорский двор переехал в богем-ский городок Ольмюц (Оломоуц), чешская буржуазия торжествовала, думая, что пришел ее час. "Славянская Липа" призывала ту счастливую минуту, когда "королевская Прага дождетя той славы и радости, чтобы действительно иметь в лоне своем короля и конечно с целым рыцарством". Дальше выражалась надежда, что не двор онемечит Прагу, а скорее она ославянит его, "так как наконец славянство добилось признания своих прав, хотя бы это было вследствие того только, что по недостаточной неразвитости славян на них лучше можно опереться". Дальше с удовлетворением предсказывается, что славянские войска покорят "дикого мадьяра", в Вене мещанство и пролетариат перебьют друг друга, а студенты будут разоружены, Пешт будет обращен в пепел, — и все это в интересах славянской свободы: "Мы желаем успеха войску против Венгрии, желаем нравственного покорения Вены, потому что тогда только возможно свободное славянство". Такова была тогда позиция Палацких, Ригеров и подобных, в которой не знаешь чего больше — глупости или растления.

22 октября 1848 года бан Елачич писал из своего лагеря "Славному обществу Славянской Липы в золотой Праге" следующее: "Моя победа в Пеште была бы неполна, и положение врагов наших в Вене было бы еще-прочнее, если бы я не подступил с войском к самой Вене, чтобы смирить врага славянства в столице Австрии. Поэтому не могу выразить мою радость, когда я узнал, что братья-чехи по одинаковому с нами побуждению, что доказывает отозвание чешских депутатов из венского сейма, развернули свои победоносные знамена перед Веной, подавая мне и войску моему братскую руку с геройскою решимостью победить или пасть со славой. Идя против Вены, я воодушевлен одною мыслью, что иду против врага славянства, и утешаюсь надеждою, что вы мои действия не только оцените, но и поддержите".

В ответ на эту лицемерную выходку наемного кондотьера австрийской реакции "Славянская Липа" выразила ему свое полное доверие и симпатию, благодарила его за то, что он

соблаговолил объяснить ей цель своих действий, и соглашалась с мыслью, что "если бы не было Австрии, то славяне должны были бы создать ее". Но она не сочла нужным указать на то, что герои-чехи, развернувшие свои знамена перед Веной, были просто запросто мобилизованные солдаты, дравшиеся по приказу начальства и -толь же охотно усмирявшие бунтовщиков в Вене, как и в Праге.

Когда после октябрьских событий в Вене и роспуска австрийского сейма создавалась удушливая политическая атмосфера, комитет "Славянской Липы" созвал 26 октября народное собрание, в котором решено было подать австрийскому императору петицию с требованием выдачи оружия, пушек и снарядов. При этом высказывались такие соображения, что вооружение это необходимо чехам для того, чтобы не сделаться добычей военного деспотизма в случае удачного похода его на Вену (ясно, что эту мысль выражали не те элементы "Славянской Липы", которые приветствовали поход Елачича на Вену). Открыты были даже сборы денег на оружие. На 28 декабря созван был в Праге съезд всех отделов "Славянской Липы", который постановил объединить все общества и созывать ежегодные съезды. С октября начала выходить газета "Славянская Липа" под редакцией) доктора Подлипского

(Подлипский, Иосиф (1816—1867)—чешский общественный деятель, врач по профессии. Учился в Праге, рано примкнул к патриотическому движению и сблизился с Колларом. В Вене организовывал кружки среди интеллигенции и состоял под полицейским надзором. В 1845 вернулся в Прагу. Был членом славянского съезда в 1848, а с октября по декабрь был вместе с Ваврой редактором "Известий Славянской Липы". В 1861 г. был избран депутатом в чешский сейм.)

и В. Вавры, а с начала 1849 года она приняла название "Известий Славянской Липы" и стала выходить под редакцией В. Вавры и К. Сабины. Газета приняла радикальное направление, несимпатичное законам общества, и К. Гавличек резко выступил против нее в "Национальных Известиях" ("Narodni Noviny"). Проникая в демократические круги, общество постепенно левело, радикальное крыло его начало даже сотрудничать с "Немецким союзом" в Праге, но наступившая реакция не позволила развиваться этой тенденции, и скоро положила конец "Славянской Липе". Управляющим делами "Славянской Липы" был демократически настроенный Вильгельм Гауч, впоследствии прикосновенный к бакунинскому заговору.

Это именно общество и задумал завоевать Бакунин, рассчитывая сделать его одним из рычагов замышляемой революции.

174 Здесь Бакунину явно изменила память, ибо не можем же мы предположить, чтобы он стал скрывать от Николая I то, что не побоялся сказать на допросах за границей. С Сабиной Бакунин познакомился еще на славянском съезде в Праге в 1848 г., после того с ним переписывался, послал ему свое "Воззвание к славянам", которое Сабина перепечатал почти полностью в редактируемой им газете, и пр. Вот что он показал 3 августа 1849 г. в Саксонии: "Я познакомился с Сабиной только мимоходом на прошлогоднем конгрессе в Праге; я как-то обменялся несколькими письмами с Сабиной, но ознакомился с ним более по его газете "Славянская Липа", чем из устного обмена мнений. Однако Сабина знает меня по

моей обще-известной деятельности в пользу славянского дела и даже напечатал часть моего появившегося в Кэтене воззвания к славянам в своей газете... В январе этого года я послал почтой из Лейпцига (на самом деле через Г. Страку - Ю. С.) обращение к "Славянской Липе" в Праге, которое со-держало защиту моей кэтенской брошюры от открытого нападения на нее со стороны пражца Палацкого в издаваемой [К.] Гавличком газете "Народни Новины". Однако я ни ответа от Сабины не получил, ни вообще не узнал ничего о судьбе этого обращения, которое я сначала хотел напе-чатать, но затем оставил эту мысль. Я никогда не получал газеты Сабины. Сабина, которого я знал из его писаний за человека свободомыслящего, внушал мне доверие, и на этом основании я и послал ему упомянутое выше обращение, а также написал Сабине то рекомендательное письмо, которое Реккель просил для Праги". И дальше: "Кроме упомянутого выше, предна-значавшегося для общества "Славянская Липа" обращения, я не приходил ни в какое соприкосновение с этим обществом и кроме Сабины не знаком ни с кем из членов "Славянской Липы"" ("Прол. Рев.", цит. м., стр. 173 — 174; "Материалы для биографии М. А. Бакунина", т. II, стр. 114). Согласно показанию в Австрии, где Бакунин уже не мог отрицать посреднической роли Г. Стража, он от последнего по его возвращении в Лейпциге узнал, что Сабина принял возражение Бакунина, но при этом заметил, что при дан-ной ситуации напечатать его невозможно.

Гавличек, Карл (1821—1856)—чешский публицист и политиче-ский деятель консервативного направления. Учился в пражской семинарии;

уехал в Москву, где был несколько лет гувернером в доме С. Шевырева. В 1845 г. вернулся в Прагу под сильным влиянием славянофильства и пи-сал о России в славянофильском духе, но руссофилом не был. В 1846 г. редактировал "Пражские Новины" и выходившую при них "Пчелу". Принял деятельное участие в событиях 1848—1849 гг., был членом чешского на-ционального комитета, участвовал в "Сворности" (чешская национальная гвардия в Праге), был членом славянского съезда, австрийского сейма в Вене и Кремзире, вице-президентом "Славянской Липы". Был одним из виднейших представителей чешского национально-консервативного движения, вступившего в сделку с австрийской монархией против немецкой демокра-тии (партия Палацкого). Вскоре после мартовской революции начал изда-вать "Народные Новины", получившие огромное влияние на консерватив-ные круги чешского общества. Увидев, что вся политика его партии привела лишь к восстановлению старого режима и обману чешских националистов, перешел в оппозицию, правда очень робкую. За критику октябрьской конституции был предан суду, но оправдан присяжными. За нападки на реакцию подвергался преследованиям, газета его закрывалась, а в январе 1850 г. была окончательно запрещена, после чего он начал издавать жур-нал "Слова". В марте 1851 г. ему был запрещен въезд в Прагу; через некоторое время журнал его также был закрыт, а сам он сослан в Тироль, после чего вскоре умер.

Его не следует смешивать с Францем Гавличком, демократом.

175 В показаниях перед австрийской комиссией Бакунин говорит по это-му поводу: "Что между ними существовало какое-то соперничество,... я за-метил из нескольких обстоятельств, в частности из того, что когда я все же добивался приезда Сабины ко мне в Дрезден (обмолвка вместо "Лейп-циг".—Ю. С.). Арнольд, насколько я припоминаю, тому воспротивился" (Чейхан, прим. 157).

176 Как показывал впоследствии Бакунин на допросах в Австрии, он вызывал Сабину и Арнольда в Лейпциг для того, чтобы показать немецким демократам, что не все чехи настроены консервативно и лакейски, и что среди них есть радикальные элементы, свободные от национальной ограниченности и готовые выступить солидарно с немецкою демократией), а с другой стороны показать Сабине и Арнольду, что не все немцы готовы пожрать славян, что немецкие демократы готовы признать национальные права славянства и вместе с славянами бороться против контр-революции, словом с целью ускорить соглашение чешской и немецкой демократий для общей борьбы с наступлением реакции. Надо полагать, что вызывал он их не только для этого, а что он хотел с их помощью связаться с радикальными чешскими элементами для подготовки демократического переворота в Босемии.

177 Здесь Бакунин несколько путает даты. Венгры очутились в явном восстании против императора еще осенью 1848 года: 11 сентября Кошут был избран диктатором, 27-го генерал Ламберг был убит на улицах Пешта, а 3 октября 1848 г. Венгрия была объявлена на военном положении, и главнокомандующим венгерских войск, а также наместником императора был назначен Елачич. Это был формальный разрыв, который был вскоре завершен лишением Габсбургов венгерской короны по постановлению венгерского сейма. Что же касается германских демократов, то они замыслили вооруженное восстание гораздо позже, а именно после того как ряд немецких монархов отказался признать имперскую конституцию, выработанную Франкфуртским парламентом. Это случилось только в апреле 1849 года, а восстания вспыхнули в мае, в том числе и дрезденское, в котором Бакунину пришлось принять личное участие.

178 Здесь лишний раз сказывается "крестьянский социализм" Бакунина, которому движения революционного крестьянства были понятнее, ближе и симпатичнее, чем движения городской демократии и особенно рабочего класса.

179 Перед тем как перейти к обсуждению изложенного Бакуниным плана, необходимо отметить, что мы не знаем, насколько точно он излагает этот план в "Исповеди". В других местах он не выражен, и, как ниже говорит сам Бакунин, "никому не был известен или известен только весьма малыми, самыми невинными отрывками; существовал же только в его повинной голове". Приходится предположить, что он изложен в "Исповеди" точно.

Объясняя на допросе в Австрии, как он пришел к своему плану богемской революции, Бакунин говорил, что при составлении "Воззвания к славянам" в Кэтене он рассуждал теоретически, не помышляя еще о практическом осуществлении высказанных там мыслей. Только после переезда из Кэтена в Лейпциг у него возникла мысль о возможности вызвать восстание в Богемии, и эта мысль постепенно стала облекаться в конкретные формы. На Богемию он обратил внимание потому, что из всех славянских стран она казалась ему тогда единственною кроме Галиции славянскою страной, в которой благодаря ее политическому положению можно было рассчитывать на активное выступление.

Нужно признать, что сравнительно с другими демократическо-революционными планами того времени он является действительно решительным и радикальным. В этом отношении он уступает только плану, развитому в "Манифесте Коммунистической партии", который

идет еще дальше его, по-скольку, не ограничиваясь радикально-демократическими мероприятиями, . намечает и ряд мер, залегающих основы коммунистического строя, как отмена права наследования (которую по иронии судьбы Бакунин в 60-х и 70-х годах стал выдвигать против коммунистов), централизация кредита и транспорта в руках государства (против чего Бакунин тогда впрочем не стал бы возражать и что вполне, согласимо с его планом), соединение зем-леделия с промышленностью, индустриализация страны, введение плана в сельское хозяйство, создание промышленных армий для земледелия, что предполагает коллективное крупное сельское хозяйство, и пр. В других, чи-сто демократических, как политических, так и социальных, мероприятиях обе программы в общем совпадают, причем в смысле резкости формулировок бакунинская ничуть не уступает другой. Сюда относится конфискация всех помещичьих имений, раздел, части этой земли между неимущими крестья-нами, дабы привязать их к революции, и обращение другой части в источник финансовых средств для государства по образцу Великой французской революции конца XVIII века (ср. пункт 1 коммунистической программы: "экспроприация земельной собственности и обращение земельной ренты на покрытие государственных расходов"); изгнание всех дворян, чиновников и духовенства (такого пункта нет в коммунистической программе, где в пункте 4 говорится только о конфискации имущества всех эмигрантов; и бунтовщиков) ; отмена всех долгов, не превышающих 2 000 гульденов,— мера, сильнее способная заинтересовать задолженных мелких буржуа города и деревни, чем пролетариев, которым никто таких сумм не доверяет (эта-мера в коммунистической программе прямо не выражена, хотя ее можно предполагать включенною в пункт 5, трактующий о централизации кредита в руках государства посредством монопольного национального банка); на-конец сожжение всех административных, судебных, нотариальных, государ-ственных и частных бумаг и документов, владенных грамот и т. п. — мера, излюбленная бунтующими крестьянами и входящая составною частью в кре-стьянские революции (естественно, что в коммунистическом манифесте, пред-полагающем заложение основ социалистического строя, такая мера не пред-лагается за ненадобностью). Бакунин был уверен, что таким путем старый порядок будет навеки уничтожен, но он не замечал, что крестьянская демо-кратия не гарантирует от восстановления крупной собственности и клас-сового угнетения.

Из последних строк кстати ясно, что Бакунин придавал задуманной им революции интернациональный, точнее среднеевропейский, а затем и обще-европейский характер, Он полагал (и быть может не без основания), что пример захвата и раздела помещичьих земель, уничтожение прав собственности и повинностей, отмена задолженности мелких владельцев и -т. п. увлекут за собою крестьян, повсюду и придадут городскому революцион-ному движению могучего сотрудника и пособника в лице взбунтовавшейся деревни.

180 Итак, несмотря на отдельные анархистские декларации (в письмах к Гервегу), Бакунин, как только дело дошло до выставления более или ме-нее конкретного и практического революционного плана, рекомендует в ин-тересах обеспечения революционных завоеваний и отражения контр-револю-ции не анархию, а революционную диктатуру. Совершенно оче-видно, что при выработке социальной стороны своего плана он имел в ви-ду пример якобинской революции 1793—1794 гг. Естественнo, что он за-имствовал из нее не только содержание некоторых своих экономических мероприятий (в частности и мысль о сожжении всех владенных грамот как средстве провести непроходимую грань между старым и новым

строем под-сказана ему тогдашними действиями французских крестьян), но и форму политического устройства, ту временную политическую форму, которая дает революции возможность сосредоточить свою энергию и обезоружить своих врагов, а именно революционную диктатуру. При этом он правильно, что делает честь его революционному инстинкту, предполагает полностью разрушить старый государственный аппарат и создать свой новый, приспособленный к целям и задачам революции. И он доходит даже до мысли об использовании специалистов, применения их навыков и знаний в интересах нового режима впредь до выработки нового аппарата из представителей пришедших к власти трудящихся масс. Для обороны революции он намечает формирование взамен старой разбитой армии новой армии, на вербованной из пролетарских и полупролетарских элементов и снабженной своим собственным командным составом. Как видим, Бакунин и здесь использует опыт французской революции, но в проведении революционно-демократических принципов идет гораздо дальше ее и обнаруживает больше последовательности. Из демократических программ того времени программа Бакунина была наиболее крайнею и по содержанию, и по целям, и по формам осуществления, и по методам проведения.

Кое-что из этого плана, например сожжение бумаг и владенных грамот как средство радикального разрыва с прошлым и препятствия к восстановлению прежних имущественных отношений, вошло впоследствии в его анархистскую программу, которая была новою формулировкой его крестьянского социализма.

181 Опять-таки явный ответ на заданный вопрос.

182 Это письмо до сих пор остается неизвестным: искать его надлежит во французских архивах.

183 Итак в Лейпциге Бакунин не знал об этих фактах (ср. комментарий к тому III, стр. 537). Но в Петропавловской крепости он уже знал о перепечатке своей брошюры как Флоконом, так и "Демократом Польским". Спрашивается: где и когда он об этом узнал? Мы думаем, что в Дрездене, и притом от Виттига; но он мог получить эти сведения и от знакомых поляков, особенно связанных с Парижем, а такими были Гельтман и Крыжановский, с которыми он встречался в Дрездене.

184 Итак Бакунин и здесь, в "Исповеди", как раньше в других документах, определенно признает польских эмигрантов, в частности демократов, "главными распространителями" позорящих слухов на его счет, причем о "немецких коммунистах" даже не упоминает (в отличие от того, что он говорил 70-х годах в разгар борьбы в Интернационале). Но кого же он имел в виду, отделяя польских эмигрантов от "первых изобретателей" клеветы? Может быть, он разумел под этими первыми изобретателями "немецких коммунистов"? Ясно, что нет. Бакунин говорит здесь о российских дипломатических агентах за границею вроде русского посланника в Париже Н. Киселева и французских государственных деятелей вроде графа Дюшателя, которые в качестве более или менее бескорыстных слуг царизма поспешили поддержать эту клевету и распространяли ее как с парламентской трибуны, так и в частных беседах, между прочим и с польскими эмигрантами, от них-то и получившими первые компрометирующие Бакунина сведения.

В свете уже известных нам фактов представляется чрезвычайно странным утверждение Бакунина (повторяющего здесь сообщение из письма А. Рейхеля) в "Исповеди", что французские демократы также усумнились в нем вследствие заметки в "Новой Рейнской Газете". Вряд-ли французские демократы (если даже допустить, что они вообще читали кельнскую газету, что само по себе сомнительно) нуждались в этой заметке, чтобы составить себе то или иное мнение о Бакунине: ведь как раз из Парижа и шли компрометирующие Бакунина слухи (Киселев, Дюшатель, Гизо, Ла-мартин, польские эмигранты), в том числе и инкриминируемая заметка "Новой Рейнской Газеты". Связи польской эмиграции с французскими демократами, в частности с Флоконом и другими членами Временного правительства, были так стары и тесны, что ее недоверчивое отношение к Бакунину естественно передавалось этим французам без всякого посредствующего влияния немецких газетных заметок, о которых они вероятно и не подозревали.

185 Опять-таки явный ответ на заданный вопрос.

186 В своих показаниях перед саксонской следственной комиссией Бакунин несколько раз повторяет то же самое. Отрицая свое участие в саксонских политических делах, он отмечает, что "не присоединился ни к какому политическому сообществу в качестве члена его и не посещал никаких обществ, в том числе и "Патриотического общества"... Я категорически отрицаю, что работал для водворения республиканского образа правления в Саксонии, а также, что знал о каком-либо заговоре для установления республики в Саксонии. Вся моя политическая деятельность посвящена была соглашению славянства с либералами Германии". И далее: "Я вообще не принадлежал ни к какому политическому клубу в Германии, потому что не интересовался частными делами Германии, а также потому, что в качестве русского я не мог бы пользоваться особым доверием, особенно с тех пор, как... "Новая Рейнская Газета" напечатала статью из Парижа, правда потом опровергнутую, согласно которой... Жорж Занд имела будто бы в своем распоряжении письмо, доказывающее, что я — шпион, купленный и оплачиваемый русским правительством". И наконец: "Я вообще отрицаю свою принадлежность к какой-нибудь дрезденской, саксонской или немецкой революционной или демократической радикальной фракции: как я уже сказал, я не занимался такими частными вопросами и все время имел перед собой лишь вышеописанный план" сближения славянства с немецкими демократами ("Красный Архив", том 27, стр. 163, 169, 171; "Материалы для биографии", том II, стр. 41, 47, 49).

То же самое Бакунин заявляет в письме к Ф. Отто и в "Исповеди". Для него германские дела сами по себе не представляли особого интереса: они связывались у него с задачей освобождения славянства и в частности русского народа.

187 Это конечно не совсем верно. Мы знаем, что и в Лейпциге, и в Берлине, и в Бреславле, и в Дрездене Бакунин посещал немецкие собрания, встречался с немецкими политическими деятелями, собирал некоторых из них у себя, даже выступал на немецких собраниях, как например летом 1848 г., когда он произнес на собрании демократической партии в Бреславле речь - (Это повидимому не та речь, о которой упоминает в своей "Истории Бреславля", стр. 213, Ю. Штейн, ибо там он говорит о выступлении в один вечер в

"Демократическом клубе" трех небреславльцев: Руге, Либельта и Бакунина. Надо полагать, что здесь говорится об избирательном собрании, на котором обсуждались демократические кандидатуры и в частности кан-дидатура Руге в Франкфуртский парламент, которую энергично поддержи-вал Бакунин. Отсюда следует, что Бакунин выступал в Бреславле не раз.)

"в целях защиты славянской расы и в особенности для опровержения ут-верждаемой писателем Бертольдом Ауэрбахом дилеммы между немцами и славянами, из которой вытекало, что между этими двумя расами возможна и полезна только борьба, а отнюдь не единение" ("Кр. Архив", 1. с., стр. 169). Но в основном он все же прав: немецкие партии и собрания интересовали его преимущественно в связи с его славянскими чаяниями и предприятиями.

188 В N 50 прудоновской газеты "Le Peuple" ("Народ") от 7 января 1850 г. напечатана была статья под заглавием "Панславизм", написанная как видно из текста, на основании письма Бакунина или под его влиянием. Приводим эту статью, характерную для тогдашних настроений, в переводе М. А. Брагинского.

ПАНСЛАВИЗМ.

События после февраля развиваются с стремительной быстротой, не да-вая публицисту времени собраться с мыслями. Народы, партии, доктрины сталкиваются между собою и то торжествуют, то терпят поражения; ка-жется, всякий провиденциальный смысл истории теряется в этом револю-ционном хаосе.

Потому-то мы так нерешительны в наших предположениях, высказы-ваемых нами ежедневно о событиях, происходящих вдали от нас. Люди так быстро истощаются, рассказы, доходящие до нас, написаны так при-страстно, что мы постоянно боимся впасть в ошибку, повинувшись своим сим-патиям и руководствуясь своим личным доверием.

Особенно трудно было следить за неясными волнениями и темными в своей сложности восстаниями в славянских землях, которые по языку, нравам к всем своим традициям стоят в стороне от европейского движения.

Однако мы должны поздравить себя с тем, что с первого же дня объ-яснили разницу в целях, преследуемых славянами-демократами и славянами-абсолютистами: первые опираются на Польшу, вторые же продались царю.

Письмо нашего друга Бакунина, русского дворянина (изгнанного и ог-рабленного указами Николая), подтверждает наше мнение о славянском конгрессе, созванном в Праге чешским дворянством в июне месяце, и об истинных интересах славянских наций. (Можно было бы подумать, что дальше идет письмо Бакунина, но все дальнейшее содержание статьи и стиль ее показывают, что это не так. Однако ясно, что автор статьи использует какое-то сообщение Бакунина или корреспонденцию его, посланную в газету Прудона.)

Агенты царя и австрийского императора пытались овладеть этим кон-грессом, состоявшим из русских, поляков, литовцев, словаков, чехов, кроатов и сербов—народов, по своему

происхождению принадлежащих к великой славянской семье.

Демократы разбили династические интриги; феодалы-дворяне и феодалы промышленности были заклеяны, осуждены конгрессом, предложившим свой союз мадьярам, немцам, итальянцам, если бы эти народы хотели с своей стороны помочь им в деле восстановления их национальной независимости.

Монархи не могли допустить этой братской пропаганды. Появился Виндишгрец. Прага подверглась бомбардировке и была покорена после пяти-дневной резни; члены конгресса были разогнаны, демократические ассоциации и студенческие легионы распущены. Богемия должна была подчиниться императору и потерять всякую надежду на восстановление своей независимости. Этот удар, нанесенный немцами независимости Богемии, восстановил всех славян против Германии и был на руку русским и австрийским агентам.

Кроаты, поднятые Елличем, боролись против мадьяр, несмотря на их братскую уступчивость. Агенты царя подняли придунайских сербов против Венгрии.

Австрийский император, желая порвать с Германией, тревожившей его своими демократическими тенденциями, стал вдруг заискивать перед пан-славизмом, незадолго до того раздавленным им в Праге. Правда, он опирался на славянскую аристократию, прекрасно служившую ему. Вся феодальная партия собралась под императорским знаменем. Германская Вена напрасно водрузила знамя независимости народов. Славяне ринулись на Вену, разграбили, обезлюдили ее; они идут теперь под начальством своего палача Виндишгреца против венгерских демократов. Русское золото и русские агенты разнуздали национальные страсти.

Славяне и императорская солдатчина объединились против Венгрии и Италии. Венгрия борется геройски. Он может сопротивляться долго. Но если она падет, то Россия не замедлит поглотить славян-победителей. И эти недалёковидные дипломаты, мечтающие об основании славянской империи в Австрии, несмотря на царящие там национальные раздоры, поймут, когда уже будет слишком поздно, что они работали для царя и открыли ему ворота Милана, где расположен его кроатский авангард.

Русский панславизм торжествует теперь на трупах славянских, немецких, венгерских и итальянских демократов.

Но славянские патриоты протестуют против этого фальшивого панславизма, и поляки, верные своему традиционному знамени, борются вместе с венгерцами за независимость народов. Здесь находятся все истинные друзья славян, здесь все наши симпатии.

Приветствуя успехи венгерцев, мы приветствуем усилия благородной нации освободить Варшаву, отомстить за Вену и Львов и спасти славян и всю Европу от вторжения казаков. Г. Ламартин сказал недавно одной мадьярской депутации: "у Венгрии и во Франции столько друзей, сколько имеется французских граждан". Г-н Ламартин хорошо бы сделал, если бы повторил с трибуны эти слова, произнесенные им в городской думе. Он доказал бы Польше и Италии, что обещания Франции забыты не всеми французами, а демократический пансла-

визм приветствовал бы конечно его заявление, потому что он выдвинул в нем принцип национальной независимости.

Вообще три большие партии стремятся овладеть славянскими народами:

русская держится как будто в стороне и покровительствует Елачичу: кроаты хотят превратить Австрийскую империю в славянскую империю, к которой присоединились бы некоторые дунайские провинции; польские де-мократы и их друзья надеются образовать славянскую конфедера-цию между Германией и Россией.

До сих пор торжествует австрийская партия, и царь этим доволен. Франция, традиционный союзник Польши, взирает равнодушно... P. S. — Мы только что узнали, что в Праге собирается новый конгресс, состоящий под австрийским влиянием. Однако прежде чем осудить его, мы подождем, чтобы его действия поставили его безвозвратно в разряд тех реакционных собраний, которые фальсифицируют революции в пользу ка-кой-либо касты или династии (Последнее сообщение неверно.)

189 Конечно национальные мотивы играли в событиях 1848 г. в Боге-мии колоссальную роль, однако не исключительную. Среди чехов также не было единодушного отношения к этим событиям, и в зависимости от классовых интересов отдельные группы чешского общества реагировали на них по разному. Если среди усмирителей чешской демократии Виндишгрец был немцем, то Лео Тун и подобные ему были чехами. А с другой стороны, если среди немцев имелось много противников июньских повстанцев (и их вероятно было относительно больше, чем среди чехов), то среди них имелись и активные их сторонники, и мы знаем, что на пражских баррикадах про-тив немецко-чешско-польско-венгерских войск австрийского императора сра-жались бок-о-бок чешские и немецкие рабочие, пражские и венские сту-денты.

190 В своих показаниях пред австрийской следственной комиссией

Э. Арнольд говорил, что во время этой беседы Бакунин старался склонить

его на сторону социализма и убедить его помочь делу социалистической про-паганды в Чехии. Бакунин на допросе в Австрии категорически отрицал по-казание Арнольда, уверяя, что о социализме у них вообще не шло речи, причем ссылаясь на отсутствие какой-либо бесспорной социалистической си-стемы, способной выдержать испытание практики (это же приблизительно он говорит и в "Исповеди", стр. 108). Арнольд мол его не понял: он, Бакунин, указывал на то, что при политической агитации нельзя избегать социалистических заявлений. Говорил же он с Арнольдом о необходимо-сти организовать демократическую пропаганду в кругах "Славянской Липы", имевшей тогда разветвления по всей Чехии и собравшей в своих ря-дах много энергичной молодежи, доступной демократическим идеям. Глав-ное же содержание переговоров между ним (а также Дестером и Гекзамером) и Арнольдом сводилось к необходимости подготовки одновременного революционного выступления в Германии и Богемии (Чейхан, стр. 41—42). Впрочем Г. Страка на допросе также утверждал, что в беседах с ним Бакунин развивал социалистические воззрения и в частности характеризовал желательный строй как "социально-демократическую

республику"; форму ее Бакунин не определял более точно, говоря, что она образуется сама собой.

191 Роган, Шарль-Ален-Габриель, князь Гемейский, герцог Монба-зонский (1764—1836)—французский военный и политический деятель; во время революции эмигрировал вместе с своим отцом из Франции, поступил на австрийскую службу, воевал против своего отечества и дослужился до чина фельдмаршала. В 1805 году был разбит французскими войсками в Ти-роле. В 1809 г. отказался вернуться на родину по требованию французского правительства и был заочно приговорен к смерти. Под Ваграмом был ранен в сражении с своими соотечественниками. При Реставрации был возведен в пэры, но не заседал в верхней палате и вообще жил во Франции лишь на-ездами. Окончательно покинул Францию в 1830 г. и умер в Чехии, где на-жил большие имения.

192 Этот организационный план был невидимому заимствован Бакуни-ным из деятельности карбонарских вент и тайных обществ, с которыми он мог познакомиться за границей через своих итальянских (Пескантини), фран-цузских (Г. Кавеньяк, Коссидьер и пр.), немецких (Вейтлиг и пр) и осо-бенно польских знакомых демократов и заговорщиков. Впрочем образцом для него в данном случае послужили скорее не тайные общества фран-цузских рабочих и немецких ремесленников, не знавшие подразделений по классовым категориям, а карбонарские тайные союзы, в частности маццинистские, о которых он мог узнать от Пескантини, бывшего маццинистом, от генерала Пепе, с которым был знаком, и от других итальянцев, которых на-верно встречал у Пепе и т. п. Последние тоже делились на союзы контра-бандистов, рыбаков, ремесленников, интеллигентов, офицеров, учащихся и т. д. У Бакунина мы встречаем только три основные деления, приспособ-ленные к чешским общественным отношениям: организации мещанская, кре-стьянская и студенческая. Что в этой организации не было ничего анар-хистского, не приходится доказывать.

Между прочим на допросе в Праге Иосиф Фрич, взявший на себя орга-низацию студенчества в Чехии и впоследствии давший откровенные пока-зания, сообщил, что вся организация эта должна была строиться по трой-кам, так что "например он, Фрич должен был подобрать себе трех товари-щей, из которых лишь один состоял бы в непосредственных с ним сно-шениях; из этих трех каждый должен был подобрать себе еще трех, с соблюдением тех же условий, следующие тройки набирают дальнейшие трой-ки и т. д.". Инструкцию по этой организации Фрич по его словам также получил от Бакунина ("Прол. Рев." 1. с., стр. 221 ; "Материалы для био-графии", т. II, стр. 179). На следующем допросе Фрич заявил, что не пом-нит, должна ли была организация строиться по тройкам или пятеркам (Чейхан, стр. 86). Это доказывает, что он в сущности и не приступал к организации по бакунинскому плану, иначе он не мог бы забыть самого принципа организации.

193 Арнольд должен был заняться чешскою организацией, организация же немецкая поручена была Бакуниным (тайком от Арнольда) Оттендорферу.

Оттендорфер, Освальд (род. 1825)—уроженец не Вены, как мож-но было бы подумать по словам Бакунина, а Цвиттау (в немецкой части Мо-равии); венский студент, участвовал в марте в революции, сражаясь на бар-рикадах; затем из немецкого патриотизма принял участие добровольцем в кампании за Шлезвиг-Голштинию. Бакунин познакомился с ним в

мае 1848 года в Бреславле, куда Оттендорфер заехал по дороге из Шлезвиг-Голштинии в Вену (сам Бакунин собирался тогда на пражский съезд). Оттендор-фер в Вене принял участие в октябрьских выступлениях, по разгроме резолюции бежал в Германию, здесь встретился с Бакуниным в Лейпциге и тес-но с ним сблизился. В его лице Бакунин нашел преданного последователя, который в Праге действовал по его указаниям (хотя нам неизвестно, каких результатов ему удалось добиться среди богемских немцев). После раскры-тия подготовки к майскому выступлению в Богемии Оттендорфер принял участие в баденском восстании, после чего бежал в Америку.

194 Здесь Бакунин открыто признает, что на роль диктатора в случае радикальной революции он предназначал себя—и правильно, ибо другого

человека, способного на это, в его окружении не было. Ср. выше коммента-рий 144.

195 О письме Елачича см. комментарий 173, где рассказывается о "Сла-вянской Липе".

196 Письма Бакунину писались на адреса разных лиц; от него же пись-ма шли купцу Фишеру в Праге с надписью "г. Николандеру". Письма неред-ко зашифровывались.

197 Геймбергер, прозывавшийся также Лассогурским, сын австрий-ского чиновника, с которым он жил не в ладах, был учеником Лейпцигской консерватории. Бакунин познакомился с ним на одной из многочисленных студенческих сходов, на которые он собирал как славянскую, так и немец-кую демократическую молодежь. Вскоре после посещения Лейпцига Арноль-дом Геймбергер уехал в Вену для примирения с отцом. Бакунин воспользо-вался этою поездкою Геймбергера. Посвятив его отчасти в свои планы, он предложил ему на обратном пути заехать в Прагу к Арнольду и написать о тамошних делах. В Праге Геймбергер осел и сделался бакунинским постоян-ным корреспондентом. Он сообщал ему как о том, что наблюдал собствен-ными глазами, так и о том, что передавал ему Арнольд. Самостоятельных поручений Бакунин ему не давал, считая его к выполнению их неспособным. Но австрийская следственная комиссия утверждала, что Бакунин поручил ему организовать студенчество по системе пятерок; Бакунин однако это от-рицал. Бакунин сначала ничего не хотел говорить о Геймбергере, но когда комиссия познакомила его с показаниями Страка относительно того, что Геймбергер был прислан в Прагу в качестве пропагандиста и агитатора, Бакунин признал только то, что приведено в начале настоящего абзаца. Именно письма Геймбгргера и побудили его поехать вторично в Прагу.

198 На допросах в Саксонии Бакунин отрицал свою вторую поездку в Прагу ("Пр. Рев.", 1. с., стр. 195). Судя по его показанию от 16 октября 1849 г.. и по письму к Илиодору Скуржевскому, напечатанному в томе 3 под N 523, он задумал поездку в Прагу еще в январе того года; но тогда поездка не состоялась. "Цель поездки, как показывал Бакунин, была по мере сил воспрепятствовать тому, чтобы славяне под предводительством Виндишгреца и Елачича и под покровительством России объединились про-тив мадьяр и немцев" (1, с., стр. 206—207; "Материалы для биографии", том II, стр. 142). На допросе в Австрии Бакунин признал, что побывал вторично в Праге весною 1849 года (Чейхан, стр. 83; "Материалы для биографии", том II, стр. 418).

199 Это второе воззвание Бакунина к славянам по поводу вступления русских войск в Трансильванию напечатано нами в томе 3 под N 525. Ли-стовка эта была выпущена в Лейпциге издательством Гохсфельд. Один эк-земпляр брошюры на немецком языке имеется в архиве министерства внутренних дел в Праге, откуда его заимствовал Чейхан, напечатавший его в приложении к своей книге (оттуда мы его и взяли). В ИМЭЛ имеется фотокопия номера "Дрезденской Газеты", в котором это воззвание было помещено. На допросе в Австрии Бакунин признал себя автором этого возвания.

200 На допросе в Австрии Бакунин показал, что в конце февраля или в начале марта 1849 г. он переехал из Лейпцига в Дрезден во-первых потому, что опасался оставаться в Лейпциге из-за своих брошюр, а во-вторых пото-му, что в Дрездене не только рассчитывал на большую безопасность благо-даря тамошним друзьям, но и мог оттуда лучше следить за положением ве-щей в Богемии, Венгрии, Польше и России. В частности "он решил посе-литься в Дрездене для того, чтобы быть поближе к Богемии, в которой успел уже завязать революционные связи. Пфицнер (цит. кн., стр. 115) го-ворит, что Бакунин переехал в Дрезден около середины марта 1849 г.

О. Л. Виттиге см. том III, стр. 548.

201 Об А. Реккеле см. том III, стр. 547. В жизни Реккеля Бакунин сыграл решающую роль. Вот как Реккель в своих воспоминаниях о ка-торжной тюрьме рассказывает о своем знакомстве с великим агитатором: "Я познакомился с Бакуниным несколькими месяцами раньше, когда он из Лейпцига тайком прибыл в Дрезден и несколько дней скрывался у меня. Как человеку редкой силы духа и твердости характера, соединенных с импо-нирующей внешностью и увлекательным красноречием, ему везде легко уда-валось поднимать настроение молодежи до энтузиазма и увлекать за собою даже более зрелых людей, тем более что его воззрения, свободные от наци-ональной ограниченности, проникнуты были благороднейшим и широчайшим гуманизмом. Но именно его пылкая фантазия в соединении с бессознатель-ным честолюбием богато одаренной натуры, чувствовавшей себя призван-ною к тому, чтобы руководить и повелевать, часто толкала его к самообма-ну насчет действительного положения вещей. Его ближайшим стремлением было объединение славянской и немецкой демократии против русского ца-ризма, тогдашней главной опоры абсолютизма; а его многочисленные лич-ные связи с единомышленниками во всех областях Австрии, равно как в Польше и России, заставляли его считать достижение этой цели гораздо более близким, чем оно является и по сей день" (August RЖckel—"Sach-sens Erhebung und das Zuchthaus zu Waldheim" Франкфурт 1865" стр. 143).

В саксонских показаниях Бакунин говорит о Реккеле следующее:

"Вскоре после моего прибытия в Дрезден, кажется в начале марта этого (1849) года, я познакомился с заведующим музыкальной частью Реккелем через Виттига в каком-то общественном месте, кафе или ресторане. Реккель понравился мне, и я стал поэтому искать его знакомства. Так как Реккель разделял мои политические взгляды, в частности мое мнение о славянском вопросе, то вскоре после моего знакомства с Реккелем у нас завязались дру-жеские отношения... Реккель симпатизировал славянам постольку, поскольку он разделял мое убеждение, что славяне настроены не исключительно в на-

циональном славянском духе, но чутки и к идее свободы" ("Пр. Рев.", 1. с., стр. 172—174: "Материалы для биографии", т. II, стр. 113). Кроме того Реккель издавал демократический листок и был интересен Бакунину и с этой стороны.

Еще до переезда в Дрезден Бакунин по-видимому посредством пере-писки из Кэтена и через общих знакомых сумел оказать известное воз-действие на "Дрезденскую Газету", которая в славянском вопросе на-чала все яснее становиться на его позицию признания солидарности сла-вянской и немецкой (также мадьярской) демократии. Перебравшись в

Дрезден, он скоро сумел в этом вопросе сильно подчинить редакцию га-зеты своему влиянию. Постепенно прежний корреспондент газеты из Праги, стоявший на античешской точке зрения, был вытеснен другим, который признавал наличие славянской демократии, готовой работать рука об руку с демократиею немецкою. В газете стали появляться редакционные статьи и заметки, окрашенные новым духом, причем возможно, что некоторые из этих статей если и не целиком написаны Бакуниным, то им продиктованы, внушены, набросаны вчерне и т. п. Такова например передовая статья N 64 от 16 марта 1849 года под заглавием "Чешская демократия". Ввиду того, что не исключена возможность принадлежности этой статьи Бакунину (пе-репечатавший ее в своей книге И. Пфицнер высказывает на стр. 116 пред-положение, что она составлена по наброску Бакунина), мы приводим ее целиком.

"Изречение старого Пиллерсдорфа, гласящее, что ни один министр не положил в большей мере секиру у подножия трона, чем Вессенберг, в еще более полной степени осуществлено его преемником Стадионом: безумные мероприятия камарильи нанесли сборной Австрийской монархии весьма глу-бокие раны, и нанести ей смертельный удар предназначено по-видимому именно тому народу, от которого она ожидала своего спасения, который не раз предлагал ей свои услуги в качестве спасителя, тешил себя этою мечтою, — чешскому. Несмотря на последние газетные сообщения из Пра-ги (см. корреспонденции оттуда), это удивит наших читателей, однако это именно так, как мы ниже попытаемся вкратце доказать для понимания на-шего времени.

"Когда во время прошлогоднего расцвета всеобщей свободы народов собрался в Праге славянский конгресс, подавший повод к стольким недо-разумениям, раздорам и враждебным выступлениям, среди чехов суще-ствовали две партии с прямо противоположными принципами: одна демо-кратическая, а другая — государственническая, кокетни-чавшая либерализмом. Последняя, во главе которой стояли чешские Валькеры, Бассерманы и KR, все эти Палацкие, Штробахи, Браунеры и т. д., счи-тала себя застрахованной на всякие случаи, так как ее действительная цель заключалась в основании национально-чешского королевства и, лишь в случае невозможности такового, в завоевании для славян руководящего значения в объединенном австрийском государстве. Ее противники, демо-краты, стремились лишь к освобождению славянских племен, они хотели дружественного братского союза с немцами, но не желали больше быть безвольными орудиями австрийского объединенного государства. Их лозун-гом была свобода для всех племен согласно своему истинному народному волеизъявлению присоединяться к более крупным соседним племенам, не-мецким, мадьярским, славянским; целью же их была федеративная рес-публика. К сожалению эта партия потерпела поражение вследствие жал-

кого отступничества лицемерно заигрывавших с чешством черно-желтых аристократов вроде Лео Туна, Ауэрсперга и т. п., вследствие измены го-сударственных мужей, которые, сообразив собственную выгоду, склонились на сторону Габсбургов, ничтоже сумняшеся объявили истинно народную партию государственными изменниками и побудили Виндишгреца за-сыпать ее бомбами и ракетами. Но они потерпели поражение также вследствие злосчастных национальных раздоров, при чем немцы видели для себя опасность в чехах, последние усматривали опасность для себя в не-мецких народных восстаниях вне Богемии, хотя истинные демократы всех наций солидарно выступали на баррикадах против "отеческого привета" им-ператора Фердинанда. К этому присоединилось опасение прихода немец-ких имперских войск для усмирения "чешских бунтовщиков", оправдывав-шееся благодарственным адресом Вуттке поджигателю Виндишгрецу. Но одновременно этой, становившейся все более односторонней национальной антипатии способствовало еще одно обстоятельство: события в Венгрии. Мы не можем входить здесь в запутанный спор между кроатами, серба-ми и мадьярами, мы хотим просто указать на то, что славянское нацио-нальное чувство столь же естественно толкало чехов на сторону южных славян, как немцев на сторону шлезвиг-голштинцев. Эти южные славяне избрали своим вождем Елачича, несмотря на то что в тот момент он был в опале у двора; но прошло немного времени, и чехи по инстинкту свободы поняли, что этот придворный дурачил их лощеными фразами, обманывал кроатов в интересах придворной партии и таким образом предал совокуп-ную демократию славянских народов.

"Елачич двинулся на Вену, и здесь начинается третья стадия, через которую в истекшем году прошли чехи. Из Вены, этого центра империи. из этого стока всех ее национальностей, вышел в марте мятеж, плоды ко-торого были одинаково радостно приветствуемы на турецкой границе, как и в Богемии. Было прекрасно известно, что славяне, немцы и венгерцы брат-ски выступали там за одинаковую цель, падение старой системы. Но старой габсбургской политике удалось разорвать еще столь слабые, хотя и чрева-тые такую опасностью для нее нити народного братания и представить последствия мартовских достижений как опасные для государства, а их сторонников как смутьянов и врагов царствующего дома. Трусливые чеш-ские беглецы из рейхстага, как Палацкий, Штробах, Браунер, Ригер, Троян, Гавличек и т. д., довели до конца то, что начато было правительством.

Чтобы прикрасить свое бегство, они рассказывали изумленной чешской молодежи о личной опасности, коей они подвергались в качестве чехов, и рисовали восстание 6 октября как немецко-славяноедское. Сомнение на-счет того, не является ли Елачич изменником делу свободы, потонуло в потоке высокопарных фраз, которыми эти герои старались прикрыть от-сутствие у них энергии, в потоке национальной болтовни, которою они пы-тались замаскировать свою политическую слепоту и свою измену. Выдвину-тое в рейхстаге в столь безусловной форме требование послать во Франк-фурт также представителей от чехов — такова была тема, которая, видоиз-меняясь на тысячу ладов, в конце концов сбила с толку чешскую моло-дежь, снова заставив ее поставить национальность выше демократии. Таким образом не только дали Вене пасть, но и допустили чешских депутатов в официальном заседании рейхстага надругаться над борцами за свободу. Но хуже всего было то, что Гавличек, ограниченный человек и верный пес черножелтого кабинетного героя Палацкого, был избран в Комитет Славян-ской Липы. Благодаря ему этот прежде демократический союз

стал колебаться в своих убеждениях и дал себя использовать в качестве орудия правительственной партии. Однако в сердцах тысяч людей продолжал шевелиться грызущий червь, и когда Елачич с кроатами двинулся на Венгрию, дабы и там уничтожить последние остатки свобод 1848 года, когда реакционная партия снова высоко подняла голову, тогда повязка упала с глаз еще большего числа людей, и оставшиеся верными, столь долго вынужденные молчать демократы получили возможность снова выступить открыто. Это прежде всего сказалось в прессе, и здесь как раз уместно поподробнее поговорить о последней.

"Мнимо конституционные, а на деле иезуитски черножелтые газеты "Конституционный Богемский Листок" ("Das Constitutionelle Blatt aus Böhmen"), и "Всеобщая Конституционная Богемская Газета" ("Die Allgemeine Constitutionelle Zeitung für Böhmen"), равно как орган Палацкого. редактируемые Гавличком "Славянские Известия" ("Slovanské Noviny")

(В действительности она называлась "Národní Noviny" ("Национальные Известия")).

и славянский "Центральный Листок" ("Slavische Blätter") Иордана с чешской стороны, "Газета Немецкого Союза" ("Die Deutsche Vereinszeitung"),

чисто буржуазный листок, с немецкой стороны, несмотря на случайные

национально-оппозиционные выступления против отдельных мероприятий правительства, действовали в смысле и в интересах кнутобойного объединенного австрийского государства в ущерб демократии. Последняя располагает лишь двумя газетами: "Славянской Липой" Сабины, органом Союза, и особенно чисто демократически-социальной газетой автора книжки против иезуитов Арнольда "Občanské Noviny" ("Гражданские Известия"), которая своими краткими, энергичными статьями особенно способствовала воспитанию и просвещению крестьян. Но значительный толчок перемене политического настроения среди чехов, более правильному пониманию венгерских военных дел и камарильи дало воззвание русского Бакунина к славянам, где в горячей образной речи изображена была общая опасность, которою угрожает свободе всех народов Австрии победа придворной партии. Так только можем мы объяснить себе советы Слав[янской] Л[ипы] подать массовый адрес рейхстагу против министерства Стадиона, удаление портрета Елачича из зала Славянской Липы, виваты в честь Кошута и немцев, предание огню октроированной при роспуске рейхстага конституции. Но такое понимание вещей проявилось не только на чешской почве; оно пустило также глубокие и широко разветвленные корни среди южных славян, особенно среди сербов; вражда к Венгрии стала утихать с тех пор, как в этом народе усмотрели последний оплот общей свободы. Из Праги может быть подан сигнал всем славянским племенам, и мы надеемся, что так и произойдет, как этого по-видимому уже начинает бояться правительство, ибо оно собирается распустить Славянскую Липу и при первом удобном случае провозгласить в богемской столице осадное положение.

"Если на основании этих признаков мы вправе рассчитывать на энергическое выступление чехов, то на нас, как на немецких демократов, ложится еще священная обязанность настоятельно призвать наших братьев в Богемии к совместным действиям в этой борьбе. Но

для этого необходимо, чтобы они отказались от национального соперничества и отделались от страха перед чехами. Солидарный союз в борьбе не позволит уже борцам разойтись после победы. К сожалению это недоверие, независимо от раз-ных условий, питалось и поддерживалось особенно также тем, что боль-шинство существующих немецких ферейнов являются порождением наших саксонских немецких ферейнов и в качестве таковых оказываются социально-реакционными. Но в них имеются еще демократические элементы, и их над-лежит связать как между собою, так и с чешскими для общей победонос-ной борьбы с общим врагом. Только таким путем может быть разрешен старый разлад, до сих пор разделявший демократов обеих национально-стей, ибо чехи пойдут вперед, не поддаваясь декламации Палацкого и его приверженцев, оглушенных языком "совершившихся фактов", которым ка-марилья устами Стадиона — Баха разговаривает с одураченными народами. В добрый час!".

Приходится признать, что как стиль этой статьи, так и общий ход мыслей и отдельные замечания, содержащиеся в ней, сильно напоминают другие произведения Бакунина на ту же тему и того же периода, как на-пример оба воззвания к славянам, его письма того времени, защитительную записку перед саксонским судом и т. п., так что авторство Бакунина пред-ставляется здесь весьма правдоподобным. Но в виду более тяжелого слога, чем обычный бакунинский, проходится допустить и соавторство другого журналиста—вероятнее всего немца (быть может Виттига).

В завязавшейся по вопросу о чешской демократии полемике принял участие новый корреспондент "Дрезденской Газеты" из Праги, подписы-вавшийся Г., под каковою подписью мог скрываться по предположению Пфицнера демократически настроенный управделами Славянской Липы Виль-гельм Гауч (впоследствии прикосновенный к заговору Бакунина). В N 84 "Дрезденской Газеты" от 8 апреля 1849 г. появилась его корреспонденция, в которой жестоко критиковалась позиция Палацкого, его оруженосца Кар-ла Гавличка и т. п., и им противопоставлялась позиция чешской демократи-ческой партии, руководимой Сабиною, Арнольдом и в последнее время Францем Гавличком (его не следует смешивать с его однофамильцем Кар-лом Гавличком, реакционером). В частности Сабину корреспондент хвалит за то, что он возвысился в качестве редактора органа Славянской Липы до точки зрения социальной демократии. К этой корреспонденции редакция газеты присоединила примечание, в котором говорилось: "С радостью опубликовали мы настоящее письмо и при сем заявляем, что хотя мы нередко отчетливо выставляем на вид антидемократическое поведение чехов, эта борьба не направляется против чехов как нации. Демократическому чешству мы протягиваем братскую руку" (корреспонденция эта перепечатана у Пфиц-нера, цит. книга, стр. 125 ел.).

Гауч, Вильгельм—чешский политический деятель, демократ; принял участие в революции 1848 года; сначала шел за Палацким, но затем (от-

части под влиянием Бакунина) стал леветь. Он был управляющим делами Славянской Липы и вместе с этим обществом проделал эволюцию от соглашательства Палацкого и реакционного немцеедства К. Гавличка и Елачича к революционному демократизму и к готовности работать рука-об-руку с прогрессивными немцами против австрийской камарильи и собственной чеш-ской реакции. Позже принял участие в организованном

Бакуниным революционным заговоре, был арестован и судим, но отделался сравнительно легко, получив всего шесть лет тюремного заключения.

202 В это время, т. е. накануне отъезда Бакунина в Прагу, прибыл в Дрезден Густав Страка. Бакунин поручил ему вместе с Виттигом, Реккелем и почтовым чиновником Мартином (активный дрезденский демократ, член "Комитета по восстановлению Польши"; впоследствии арестован в Хемнице вместе с Бакуниным) составить международный комитет для установления смычки между чехами и немцами. Бакунин отрицал это показание Страка, уверяя, что рекомендовал ему только поддерживать литературную связь с "Дрезденской Газетой" Виттига, дабы проводить а, ней бакунинскую точку зрения насчет чешско-немецкого соглашения.

202а Утверждение Бакунина о том, что до марта 1849 года у него не было никаких политических отношений с поляками, в такой безусловной форме конечно не точно. Попытки к установлению таких отношений он, как мы знаем, начал делать уже в 1846 году. В 1847 году у него были уже знакомые поляки, с которыми он обсуждал вопрос о грядущих взаимоотношениях Польши и России и т. п. Среди поляков он тогда был уже настолько известною фигурой, что они пригласили его на свой ежегодный митинг, на котором он и произнес свою знаменитую речь. После высылки его за эту речь из Франции он в Брюсселе еще ближе сошелся с поляками, в том числе с И. Лелевелем, и вторично выступил с речью на февральском собрании польских эмигрантов в 1848 г. В Берлине первые встречи его это — встречи с поляками, в том числе с Цыбульским (вероятно и с другими), то же — в Бреславле, где он завязывает среди поляков многочисленные знакомства, естественно окрашенные политическим духом. Вряд ли эти знакомства, о которых нам к сожалению известно очень мало, носили чисто личный или академический характер: это не было свойственно Бакунину да и тому времени вообще. Конечно с поляками Бакунин обсуждал шансы на восстание Польши, особенно так наз. "русского забора", т. е. Царства Польского, и в связи с этим разумеется на восстание в России. Для этого Бакунин входил в сношения со всеми польскими партиями (что между прочим польским демократам не нравилось) и с поляками из всех трех частей Польши, — познанцами, галичанами, особенно из Кракова, и эмигрантами из русской Польши. Среди них Бакунин нашел много друзей и единомышленников. Поэтому трудно принять без возражений заявление Бакунина, что до встречи с Гельтманом и Крыжановским он не имел с поляками никаких положительных, т. е. конкретных политических сношений. Такое заявление можно понять только как проявление его упорного стремления скрыть в "Исповеди" по возможности все свои отношения с поляками кроме тех, о которых русской полицией и без того было известно (а об участниках дрезденского восстания Гельтмане и Крыжановском знали все). Но замечательно, что и здесь Бакунин постарался умолчать об имени третьего польского офицера, участвовавшего в восстании, Голембиовского, о котором полицианты не знали,

Во время второго посещения Берлина в июле—сентябре 1848 г. Бакунин расширил и укрепил свои связи с поляками. Помимо того, что он встречался с некоторыми из них на общих демократических совещаниях, он был близок к кругам, группировавшимся вокруг Польской Национальной Лиги, основанной по инициативе А. Цешковского в июле 1848 года в Берлине и ставившей себе целью мирными и законными путями способствовать осуществлению польских национальных стремлений. В этой по существу культуртрегерской и

преимущественно познанской организации было свое левое крыло, представленное такими людьми, как Липский, К. Либельт, знакомый Бакунину еще по пражскому съезду, В. Косцельский и т. д. В славянском кружке, который Бакунин сформировал вокруг себя в Лейпциге и где чехи были представлены братьями Страка, польский элемент был представлен Романом Фогелем, сотрудником иордановских "JahrbЭcher" и служащим книжной торговли Буссениуса, Геймбергером, известным также под полони-зированной фамилией Лассогурский, венцем по происхождению и учеником лейпцигской консерватории (позже одним из его пражских агентов), и эмиг-рантом Завишей, впрочем вскоре отстраненным Бакуниным от дел за лег-комыслие и болтливость. Правда обращение Бакунина, затеявшего свой план восстания в Богемии, к своим знакомым познанским полякам осталось бес-плодным, но из Дрездена к нему приехал в Лейпциг Ю. Андржейкович, его преданный сторонник, переводивший на польский язык его воззвание к славянам.

В Дрездене, куда Бакунин перебрался в середине марта 1849 г., он продолжал поддерживать и расширять свои связи с поляками. Он даже сразу заехал на квартиру к польскому эмигранту Тадеушу Дембиньскому. агенту Централизации Польского Демократического Товарищества, с кото-рым он вероятно познакомился во время своего пребывания в Бреславле. Здесь Бакунин встречался все время с поляками, собиравшимися в опре-деленных кафе и ресторанах, в частности с Карлом Б[р]жозовским и Иоси-фом Аккортом, из которых последний сделался одним из его пражских аген-тов по делу военной подготовки восстания. 17 марта в Дрезден прибыл и старый знакомый Бакунина В. Липский. Избегая вообще частых и бесплод-ных встреч с поляками, Бакунин несомненно встречался с демократическими их представителями, с которыми обсуждал планы дальнейших революцион-ных выступлений, особенно в Польше и России. С наиболее близкими го-ворил о своем плане восстания в Богемии.

Кроме того Бакунин, верный своим прежним привычкам, старался иметь и светские знакомства: здесь можно было отдохнуть и приятно про-вести время, а при случае попользовать их в революционных целях для добывания средств, адресов и т. п. Такими знакомыми его в Дрездене бы-ли теперь графы Скуржевские, у которых здесь имелся дворец, и графиня Чесновская, у которой он часто обедал.

Б[р]жозовский, Карл (1821—1904)—польский писатель и обще-ственный деятель; родился в Варшаве; в 1842 г. выехал за границу; уча-ствовал в познанском движении 1848 года. После того был в Турции, объехал Курдистан и Анатолию; в 1855г. поселился в Азиатской Турции, женившись на дочери французского консула в Латаке (Сирия). Был на турецкой службе в качестве военного инженера, по оставлении которой был испанским консулом в Латаке. В 1883 г. переехал во Львов для вос-питания дочерей. Произведения его относятся преимущественно к лириче-скому жанру; много переводил.

203 Об Александре Крыжановском см. том III, стр. 548. В рас-считываемый момент Крыжановский ехал в Париж, куда уже раньше уехал В. Гельтман. Они бежали от преследований австрийской полиции из Галиции, где работали с осени 1848 года над подготовкою восстания, кото-рое в сотрудничестве с венграми должно было нанести тяжкий удар Ав-стрии и одновременно угрожать России; предполагалось, что это восстание встретит отклик в Познани и в Царстве Польском. Как видно из показа-ния Бакунина перед

саксонской следственной комиссией, Крыжановский носил тогда кличку Бутилье; вероятно имел французский паспорт на это имя, так как ехал в Париж (см. "Красный Архив", 1. с., стр. 171). Чейхан (примечание 178) сообщает, что в протоколах (видимо австрийской комиссии) везде пишется не Kr[z]yzanowski, а Kranowski, а Керстен (цит. кн., стр. 116) уверяет, что это имя пишется Krzyzagarawski, но это что-то мало-вероятно. В показаниях перед саксонской комиссией (стр. 198) Бакунин сообщает, что с Крыжановским он раньше познакомился в Брюсселе, а с Гельтманом в Париже. Встретились они в Дрездене по-видимому около середины марта (так как это происходило накануне поездки Бакунина в Прагу, а туда он поехал во второй половине марта 1849 года).

В Центральной военной библиотеке в Варшаве (б. Раперсвильский Музей) под N 1173 хранится доклад В. Гельтмана и А. Крыжановского заграничной Централизации, содержащий отчет о выполнении ими возложенной на них миссии по поездке в центральную Европу. Часть этого доклада, касающаяся их пребывания в Богемии и Саксонии в апреле и мае 1849 года, опубликована на польском языке в цитированной книге проф Пфицнера (стр. 159—168). Хотя в некоторых местах авторы доклада приписывают себе деяния, которые по рассказу Бакунина принадлежат ему, а в других местах как бы преуменьшают его роль в подготовлявшихся и разыгравшихся в Чехии и Саксонии событиях, тем не менее этот документ в существенном подтверждает рассказ Бакунина, а кое-где дает еще важные дополнения и разъяснения бакунинского рассказа. Из этого доклада мы между прочим узнаем, что кроме них двоих в генеральном штабе дрезденского восстания участвовал еще третий поляк, некий Голембиовский из Галиции. Там же сообщаются некоторые любопытные подробности о сношениях с немецкими демократами, о которых Бакунин, явно не желавший давать Николаю и его жандармам лишнего материала, совершенно умалчивает. Их повесть о самом дрезденском восстании в основных чертах не только не расходится с тем, что говорит об этом предмете Бакунин в "Исповеди", но напротив совпадает с последним в главном и в деталях.

Тот приезд их в Дрезден, о котором они говорят в своем докладе, был очевидно уже вторым, и относится к началу апреля, судя по тому, что они говорят о недавнем возвращении Бакунина из Праги (а он был там во второй половине марта) и обнаруживают к этому моменту уже детальное знакомство с подготовительными мерами по восстанию в Богемии и Германии вообще. Кстати их доклад показывает, что вопреки отмечаемому ниже месту в "Исповеди" они были Бакуниным или другими участниками дела посвящены в него гораздо интимнее и подробнее, чем можно было бы заключить из рассказа Бакунина. В некоторых случаях выходит даже, что они играли в заговоре более решающую и направляющую роль, чем Бакунин. Мы считаем впрочем подобные места в докладе Гельтмана и Крыжановского неубедительными. Само собою разумеется, что так как они представляли довольно влиятельную и широкую организацию ("Демократическое Товарищество") в отличие от Бакунина, который в конце концов был только одиночкой, и политически были опытнее его, особенно в военных и организационных вопросах, то неудивительно, что в ряде случаев их голос имел перевес; но что душою богемского заговора был Бакунин, что они были привлечены к этому делу Бакуниным, что молодежь, участвовавшая в нем, признавала своим вождем Бакунина, это не подлежит сомнению и вытекает из показаний всех привлеченных к делу о заговоре в Чехии лиц. Надо при этом указать, что Гельтман и Крыжановский подходили к вопросу с точки зрения интересов Польши, Бакунин же с точки

зрения меж-дународных интересов революции.

204 Здесь Бакунин снова приписывает инициативу клеветы на него не полякам вообще, а специально польским демократам (выше мы объясняли, почему это могло произойти). Свое сближение с Крыжановским и Гельтма-ном в рассматриваемое время он прямо объясняет их недоверчивым отно-шением к этой сплетне: "С обоими я сблизился потому, что они мне заявили, что не разделяют взгляда своих соотечественников на меня, будто я— русский шпион" (допрос в Саксонии, 1. с.. стр. 198; "Материалы для био-графии", т. II, стр. 134). И дальше Бакунин дает новую версию на-счет происхождения этой клеветы: "Такой взгляд на меня возник на почве моего Заявления, что я как русский намерен держаться нейтралитета в польских делах и не желаю высказываться ни в пользу польской аристо-кратии, ни в пользу польской демократии". Это объяснение представляется нам весьма сомнительным. Понимать его надо невидимому в том смысле, что Бакунин таким заявлением оставлял себе открытым путь к сношению с обоими лагерями польской эмиграции, и этим мог возбудить ее подо-зрения. Но прежде мы слышали от Бакунина объяснение в прямо противо-положном смысле, когда он связывал возникновение первого подозрения против него с своею поездкою 1846 года в Версаль для завязания связей с Централизацией Польского Демократического Товарищества. Значит подозрение возбудил не нейтралитет, а как раз желание его войти в непосредственную связь с демократическим крылом эмиграции.

205 Паспорт был на имя Андерсена. На допросе в австрийской комиссии Бакунин признал факт приезда с фальшивым паспортом, но не мог припом-нить, на чье имя он был выдан. Комиссия помогла его запоминанию и установила имя.

206 Вскоре после отъезда в Чехию Адольфа Страка, который увез с со-бою экземпляры первого и второго воззваний Бакунина к славянам на не-мецком и чешском языках, получено было от Геймбергера новое письмо, в котором он яркими красками описывал то влияние, какое доставило Баку-нину среди чешской молодежи ознакомление с его кэтенской брошюрой. Геймбергер писал, что среди студенчества и членов "Славянской Ляпы" господствует благоприятное отношение к позиции Бакунина, и кончал свое письмо приглашением к Бакунину лично приехать в Прагу и убедиться в настроении публики. Это именно письмо и побудило Бакунина не отклады-вать свой отъезд в Прагу. Он так спешил, что приехал в Прагу раньше Адольфа Страка. Происходило это во второй половине марта 1849 года. Только Геймбергер и Арнольд знали о его приезде. Они отвели его к химику-красильщику Франтишку Паулю. Бакунин не чувствовал себя здесь в безопасности, особенно же ему не нравилось отсутствие чистоты. Пауль проявил к Бакунину большой интерес, что показалось тому весьма подо-зрительным. В тот же день он был переведен в центр города и помещен у отставного судейского чиновника Карла Прейса, у которого переночевал. На другой день был снова отведен к Паулю, где провел ночь, а на следующий день был устроен у жестяника Менцеля в Карлине (Каролиненталь — фаб-ричная часть Праги), где оставался до отъезда из Праги. По словам Баку-нина на допросе в Австрии Менцель, вообще человек совершенно пассив-ный, не знал о цели его пребывания и не интересовался этим, а играл по отношению к нему просто роль хозяина квартиры (Чейхан, стр. 46 и 83;

"Материалы для биографии", т. II, стр. 437—441), В Праге Бакунин про-был четыре дня.

207 По возвращении в Дрезден Бакунин по-видимому не скрыл своего разочарования от своих приятелей. По крайней мере Р. Вагнер в своих "Мемуарах" рассказывает об этой поездке Бакунина следующее: "Когда ему показалось, что час восстания настал, он однажды вечером начал готовиться к небезопасному для него переезду в Прагу, раздобыв паспорт английского купца. Ему пришлось остричь и обрить свои великолепные кудри и бороду и придать себе филистерски-культурный вид. Так как пригласить парикмахера нельзя было, Реккель принял дело на себя. Операция эта была произведена в присутствии небольшого кружка знакомых тупой бритвой, причинявшей величайшие муки. Пациент сохранял невозмутимое спокойствие. Отпустили мы Бакунина в полной уверенности, что живым больше его не увидим. Но через неделю он вернулся обратно, убедившись на месте, как легкомысленны были доставленные ему сведения о положении дел в Праге: там к его услугам оказалась кучка полувзрослых студентов. Реккель добродушно подсмеивался над ним, и отныне он стяжал у нас славу революционера, погруженного в конспирации только с теоретической стороны" (т. II, стр. 175).

208 Зная, что австрийское правительство возбудило против него дело за первое воззвание к славянам, Бакунин хотел сохранить свое пребывание в Праге в полной тайне и встречаться с елико возможно меньшим числом людей. Но ему это не вполне удалось. Первое собрание с чешскими демократами, о котором рассказывает Бакунин, состоялось у Прейса. Кроме Сабины на него пришло много людей, которых Бакунин не ожидал, и которые явились прямо с собрания "Славянской Липы". Кроме названных Бакуниным на допросе и без него известных полиции Сабины, Арнольда, Прейса, Гаймбергера и какого-то неназванного квартиранта Прейса, на этом совещании, как установила комиссия, присутствовали Вильгельм Гауч, журналист Винцент Вавра (соредактор Сабины по "Известиям Славянской Липы"), журналист Ян Кнедльганс-Либлинский, редактор "Вечернего Листка", и депутат австрийского рейхстага Франтишек Гавличек (о последних четырех Бакунин отозвался заименованием).

Кнедльганс, Ян, (псевдоним Либлинский (1823—1889) — чешский писатель и политический деятель радикального направления. По окончании гимназии переехал в Прагу, где примкнул к движению молодых литераторов. В 1847 издал "Чешские пословицы и поговорки", в 1848 редактировал радикальный "Вечерний Пражский Листок", был членом Славянской Липы, где принадлежал к левому крылу и резко полемизировал с правыми и особенно с К. Гавличком. В мае 1849 "Вечерний Листок" был приостановлен, а сам Кнедльганс арестован. Привлеченный к делу Бакунина о заговоре, он был в 1851 военным судом приговорен к бессрочной каторге. По выходе из тюрьмы в 1860 году занялся журналистикой.

Вавра, Винцент, псевдоним Гастальский (1824—1877)—чешский писатель, журналист и общественный деятель; с 1843 г. участвовал в организации ремесленных кружков, ставивших себе целью развитие духовной и национальной самостоятельности масс; участвовал в тайном радикально-демократическом обществе "Рипиль". в 1848 г. был членом "Сворности" и членом демократического крыла "Славянской Липы" вплоть до роспуска ее в мае 1849 года. Арестованный после святодуховских волнений, был освобожден и возвратился в Прагу, где занялся журналистикой. Был первым сотрудником радикального "Пражского Вечернего Листка", основанного Кнедльгансом, с октября

1848г. вместе с д-ром Подлипским редактировал политический еженедельник "Славянской Липы", с января 1849 г. редактировал вместе с Сабиною, а с апреля единолично "Известия Славянской Липы". В ночь на 1 сентября 1850 г. был арестован и посажен в Градчин за участие вместе с Либлинским и Прейсом в тайной сходке, со-званной Бакуниным. Осужден за это на 5 лет каторжных работ. Амнисти-рованный в апреле 1854 г., вернулся в Прагу, где был отдан под тайный надзор полиции. Лишенный возможности писать, поступил в адвокатскую канцелярию. Материально нуждаясь, занялся переводами. С 1860 г. вер-нулся к публицистической деятельности, был редактором газеты "Глас", за-тем "Narodny Listy". Позже был депутатом чешского сейма.

209 То же Бакунин заявил на допросе в Австрии: "люди, с которыми я встречался, склонны к болтовне, к лишним разговорам, к обсуждению ми-ровых событий в "Славянской Липе" и просто неспособны к серьезным предприятиям; более того, я так и не заметил в них до конца и воли к этому. С таким впечатлением я и уехал из Праги" (Чейхан, прим. 195; "Материалы для биографии, том II, стр. 438). Если допустить, что на до-просах в Австрии Бакунин стремился выгородить своих собеседников, представив их в виде невинных болтунов на политические темы, то зачем бы он стал прибегать к такой тактике перед Николаем I? Отсюда мы вправе заключить, что встреченные им чешские демократы произвели на него именно такое отрицательное впечатление.

210 На собрании Бакунин произнес речь, в которой после общей ввод-ной части перешел к рассмотрению задач текущего момента в Чехии и в частности к возможности проведения восстания. Он старался убедить при-сутствующих в необходимости для чехов отказаться от своей ограниченной политики и приобщиться к общеевропейскому демократическому движению, в данный момент — к движению мадьяр, немцев и поляков. Дальше он до-казывал, что пора оставить отвлеченные разговоры и начать активные дей-ствия против австрийского правительства, т. е. поднять восстание. Затем он начал выспрашивать мнения отдельных присутствовавших. Речь его сво-им радикализмом одних удивила, других прямо испугала: ведь многие при-шли на это собрание, не зная еще, в чем дело. С своей стороны Бакунин был неприятно поражен характером открывшихся после его речи дебатов:

они показали ему, что в Праге никакой положительной работы в его духе не велось, и что в "Славянской Липе" вопрос о восстании даже не ставил-ся. Бакунину (как он впоследствии сам показывал в Австрии) много воз-

ражали, даже выражали недовольство его речью (которое он готов был от-части рассматривать как недоверие к его личности), указывали, что народ в Богемии еще не подготовлен к подобным выступлениям; но он твердо стоял на своем и пытался опровергнуть сделанные ему возражения; однако в конце собрания у него получилось впечатление, что ему не удалось привлечь присутствующих на свою сторону. Он пришел к выводу, что в данный момент ему в Праге нечего делать, и отказался от второй подобной, сходки, признавая ее при сложившихся обстоятельствах нецелесообразною.

Австрийская следственная комиссия пыталась установить, что Баку-нин говорил как социалист и стремился в своей речи провести социалисти-ческие тенденции. Против подобного утверждения Бакунин решительно про-тестовал. Никогда он не помышлял-де о

проведении какой-либо социалистической системы, так как он не знает ни одной, могущей быть осуществленной на практике. Он не отрицал того, что говорил о применении социалистических мероприятий в интересах восстания, которому они могут способствовать, как например отмена гипотек, выгодная для крестьянства, (То, что Бакунин считал отмену гипотек социалистическою мерою, характерно как для его эпохи, так и для его "крестьянского социализма"). Напомним кстати, что Э. Арнольд при свидании с Бакуниным в Лейпциге понял его предложения в социалистическом духе (см. ком. 190).

Сабина, присутствовавший на этом собрании, показал, что по существу речь Бакунина сводилась к тому, чтобы не медлить, а решительно приниматься за дело. На него Бакунин произвел впечатление "выкованного из стали демагога", который идет напрямик к своей цели, не зная препятствий и не считаясь ни с какими возражениями. Что же касается программы Бакунина на случай успеха революции, то в его речах по словам Сабины не было никакого намека на демократический строй, завоевание лучшей конституции или что-либо подобное. Бакунин определенно высказывался в том смысле, что не следует придавать значения разглагольствованию о рейхстаге или о другой лучшей конституции (незадолго до того монархия октроировала Австрии неудовлетворительную конституцию, и разговоры о замене ее лучшею Бакунин очевидно и имел в виду): все это—глупости. "Словом он желал только, чтобы дело поскорей началось, и не высказывался относительно своих целей. Но когда разговор перешел в область теорий, то он, Сабина, понял, что Бакунин желал провести в жизнь то, что говорилось с философской точки зрения о социальных отношениях". Хотя это и плохо выражено, но ясно, что Сабина приписывает Бакунину приверженность к какой-то социалистической системе. Сопоставляя эти слова с другими известными нам заявлениями Бакунина и с сообщениями разных лиц, надо полагать, что он развивал тогда прудонистские взгляды, но в более-радикальной, чем у основателя системы, формулировке. Ниже мы приведем выдержку из мемуаров Вагнера, который сообщает нечто близкое к показанию Сабины: по словам Вагнера Бакунин, не выдвигая определенных демократических требований, высказывался в общей форме за разрушение старого (в духе Жюль Элизара).

211 Многие посещали Бакунина просто из любопытства и из желания осведомиться об его отношении к текущим событиям. К таким посещениям он относил визит доктора Рупперта и Франтишка Гавличка. Беседа с Руппертом была совершенно бессодержательна, и Бакунин о ней не помнил. С, Гавличком он вел чисто теоретический разговор о социализме; с такой же чисто теоретической точки зрения беседовали они о Палацком: Гавличек был сторонником последнего и защищал его от резких нападок Бакунина.

Гавличек, Франтишек (1817—1871)—чешский политический деятель; учился в пражской гимназии, затем изучал булочное ремесло, далее служил писцом в адвокатских канцеляриях. В 1848 году принял активное участие в революционном движении. За свои публичные выступления в демократическом духе неоднократно избирался товарищем председателя и представителем "Славянской Липы". 28 ноября 1848 г. был избран депутатом имперского сейма в Кремзире, где занял место на правой. Человек настроения и путанных политических взглядов, он оказался прикосновенным к делу Бакунина, был арестован, предан суду и просидел 2,5 года в тюрьме. После выхода из тюрьмы отошел от политики.

В Карлине (Каролиненталь) Бакунина навещали Пауль, Геймбергер, Арнольд и Адольф Страка, прибывший в Прагу за день до отъезда оттуда Бакунина. И с ними по словам Бакунина разговоры велись на общие темы; но это, конечно, было не так, ибо комиссия установила, что разговоры велись при закрытых дверях и тихим голосом. С другой стороны Бакунин признал, что во время этих разговоров он пытался склонить Э. Арнольда к более активным революционным действиям.

212 По возвращении в Дрезден Бакунин не скрывал своего недовольства результатами своей поездки в Прагу, однако не переставал выражать твердую надежду на неминуемость чешского восстания. Так показывал Г. Страка, встретившийся с Бакуниным сейчас же по приезде его из Праги. Бакунин объяснил, что выражал тогда больше веры в неизбежность восстания, чем сам имел, для поддержания духа в людях, с которыми вел дела. При этом он исходил из мысли, что вера способна двигать горами и придавать людям огромную энергию (эту же мысль он высказывает и в "Исповеди"). Вдобавок Богемия казалась ему тогда единственную славянскою страню, способною к революции (см. Чейхан, стр. 49—51 и 84; "Материалы для биографии", т. II, стр. 443).

В частности Бакунин поддерживал настроение своих молодых славянских товарищей намеками на близость радикальной революции в России. и хотя ничего не говорил им о своих связях с отечеством, но из бесед с ним они выносили впечатление, что такие связи существуют. Так Густав Страка показал, что в Лейпциге Бакунин все более настойчиво выступал с революционными планами, которые в общем клонились к тому, чтобы вызвать революцию в Германии и Богемии одновременно, и чтобы она распространилась через Польшу в Россию. "Бакунин никогда и никому не сообщал о своих сношениях с Россией, согласно своему принципу никого не называть и не говорить ничего кроме самого необходимого. Однако он вероятно состоял в сношениях с Россией через Польшу, так как он с уверенностью рассчитывал на то, что при распространении революции в Богемии, Германии и Польше разразится революция также и в России. Бакунин сам говорил ему, что в России существуют великолепные предпосылки для революции и как раз в социальном смысле" (мы знаем это и по писаниям Бакунина, помещенным как в третьем, так и в настоящем томе нашего издания). Австрийские следователи, вероятно не без внушения русского посла, заинтересовались вопросом о связях Бакунина с Россиею, составлявшей тогда оплот европейской реакции и незадолго до того спасшей габсбургскую монархию. На предъявленный ему вопрос об ожидавшейся им поддержке революции из России Бакунин ответил, что это — вздор, но признал, что он вообще старался вкоренить особенно у чехов ту мысль, что в России имеется очень много революционных элементов. Он делал это как для поддержки духа среди своих приверженцев, так и для противодействия реакционной панславистской партии, возлагавшей надежды на царскую Россию (Бакунин здесь имеет в виду партию Палацкого). Для характеристики своих взглядов на судьбы России Бакунин сослался на свое "Воззвание к славянам". Он заявил, что считает революцию в России делом далекого будущего, причем остается при своем убеждении, что этой революции безусловно должно предшествовать восстановление Польши (возможно, что в данном пункте доклад австрийского аудитора не совсем точно передает мысли Бакунина).

Мейендорф в письме к Паскевичу от 8/20 декабря 1848 г. уверяет, что Бакунин вместе с поляками распространял слухи о революционных вспышках в России, чтобы придать себе

больше важности (P. Meyendorff— "Politischer und privater Briefwechsel", Берлин и Лейпциг, 1923, том II, стр. 131—132).

213 В связи с планом восстания в Богемии Бакунин проявил величайший интерес к настроению расположенных там венгерских войск. Об этом можно судить по вопросам, которые ставились Бакунину в саксонской следственной комиссии на основании откровенных показаний И. Фрича, граничивших с предательством: "По словам Иосифа Фрича во время его пребывания у вас в Дрездене вы его расспрашивали о расположенных в Праге мадыарских войсках, на что он вам сообщил, что часть таковых уже выступила оттуда. При этом он заключил из ваших слов, что вы должны были получить известные обещания относительно этих воинских частей, и что вы смотрите на все предприятие как на заранее подготовленное, ибо вы пришли в негодование от того, что эти войска были уведены из Праги" ("Прол. Рев.", 1. с., стр. 221; "Материалы для биографии", том II, стр. 179). В Саксонии Бакунин отрицал справедливость этого показания Фрича, в австрийской же комиссии объяснил, что слышал о взаимных симпатиях между пражским студенчеством и венгерскими военными и потому был огорчен сообщением об уходе мадыарских войск (Чейхан, прим. 228; Материалы", т. II, стр. 452—453).

214 Почему-то ни здесь, ни вообще в "Исповеди" Бакунин ни словом не упоминает еще об одном из своих агентов в Праге, а именно о Иосифе Аккорте, поляке из Кракова, знакомом с военным делом, а потому получившем от Бакунина поручение заняться устройством военной стороны предприятия. Этого Аккорта выдал И. Фрич. Бакунин в Саксонии отрицал всякое с ним знакомство, а Австрии был принужден признать его, но утверждал, что Аккорт приехал в Прагу против его воли. Бакунину также не-приятно было совместное посещение его Аккортом и Фричем в Дрездене (см. ниже), так как ему было известно, что Аккорт посещал польское общество в Дрездене и там хвалился своею деятельностью в Праге, не имевшей по словам Бакунина никакого значения. Напротив Фрича он, Бакунин ценил по той причине, что тот проявил большую энергию в Праге в 1848 году. Согласно показаниям Фрича он встретился с Аккортом еще в марте в редакционном помещении Э. Арнольда. При этом Аккорт общался ему, что приехал в Прагу для принятия деятельного участия в предполагающейся революции и что послан в Прагу по просьбе Арнольда Бакуниным для организации этой революции. От Аккорта же Фрич узнал о том, что Бакунин находится в Дрездене, где занят подготовкою революционного выступления в Богемии. Далее Фрич сообщил, что Аккорт свел его на квартире Э. Арнольда с Адольфом Страка, что затем состоялось на квартире Томашека собрание с участием А. Страка, Мауна, приведенного Фричем, самого Фрича и Аккорта, на котором Страка изложил революционный план Бакунина. По ознакомлении с последним Фрич решил переговорить о нем с самим Бакуниным, для чего 12 апреля поехал в Дрезден вместе с Аккортом. Узнав от Виттига новый адрес Бакунина, Фрич рассказал Бакунину, что в Праге Арнольдом и другими ничего не делается, и что потому на Богемию рассчитывать в смысле революции не приходится. Бакунин был крайне этим недоволен. Он выразил особенное негодование на вступление русских войск в австрийские пределы, усматривая в этом поступательное движение реакции, Бакунин настаивал на скорейшем прекращении национальных распри между немцами и чехами и на объединении усилий демократических элементов обеих наций... Он рекомендовал Фричу, заявлявшему о своих обширных связях среди студенчества, приступить к революционной организации молодежи. На возражение Фрича, что

Богемия сама по себе слишком слаба для совершения революции, Бакунин ответил ему, что таковая будет доведена до конца присоединением новых сил, например когда она вспыхнет в Германии и затем перекинется на Богемию, а оттуда вместе с саксонской революцией общим валом перекатится в Венгрию. Как на цель революции, которая должна была начаться в Богемии, но затем распространиться далее, Бакунин указал "на восстановление Польши, разгром России и независимость Богемии. Каким образом эта цель должна была быть в дальнейшем достигнута, в частности какие формы правления должны были быть введены, это должно было зависеть от состояния и хода революции и от характера отдельных наций, конечной же целью являлся союз всех свободных народов". Согласно дальнейшим показаниям Фрича Бакунин "смотрел на Богемию как на наиболее подходящее место для революции и как на важную для последней в стратегическом отношении страну, в которой следует поднять революционное движение, ибо оттуда оно должно было естественным путем перекинуться в Польшу и затем распространиться на Россию" (В своей книге "Рамити", т. IV, Прага 1887, глава V "Правда о майском заговоре", стр. 158 сл., И. Фрич приводит слова Бакунина о том, что если революционеры двинутся из Праги к польским границам, то там сразу поднимется 30.000 человек под начальством ген. Дембинского или Высоцкого).

Там же он передает свое заявление Бакунину, что на подготовку восстания в Чехии потребуются три месяца и денежные средства. Вечером Бакунин сводил Фрача в кружок немецких радикалов.)

Бакунин по существу эту часть показания Фрича подтвердил, указав, что все эти мысли открыто высказаны им, Бакуниным, в своих писаниях; что же касается "разгрома России", то он имел в виду разгром русского правительства, а не русского народа (Чейхам, прим. 224; "Материалы для биографии", т. II, стр. 173—176 и 452—455).

Согласившись взять на себя обязанности, предложенные ему Бакуниным, Фрич указал, что для выполнения их требуется привлечение новых сил сверх уже завербованных; сам же он слишком юн и слаб, и хотя он знает, что Арнольд и Сабина сочувствуют этому делу, тем не менее ему одному с ним не оправиться. Тут же он сам предложил привлечь следующих лиц: Руперта, Гауча, Сладковского, Франца Гавличка и доктора Подлипского (в публикациях В. Полонского эти и другие имена часто приводятся в искаженном виде и требуют проверки). Далее Фрич показал, что данное ему Бакуниным поручение относительно организации студентов и использования их сводилось (?) к тому, что "студенты должны были образовывать нечто вроде личной охраны того, кому предстояло руководить революцией" (ясно, что это — гнусное искажение сыщиками какого-то показания Фрича в целях дискредитирования Бакунина, хотя а заботах о целостности руководителя революции ничего дурного по существу нет). Наконец Фрич дал подробные сведения об Аккорте, сводящиеся к следующему. По его убеждению Бакунин послал Аккорта в Прагу потому, что был убежден в близости революционной вспышки, так как по его словам Аккорт был военный специалист, некогда служивший уланским капитаном в войсках Мерославского. При отъезде Фрича из Дрездена Аккорт по распоряжению Бакунина также выехал вместе с первым обратно в Прагу, дабы продолжать свою работу по подготовке революции. В разговоре с Фричем о необходимости посылки кого-либо в Венгрию и об условиях такой поездки в связи с трудностью перехода моравской границы Бакунин указал на Аккорта как на того человека, которого он думает в

свое время туда послать.

Так как к тому времени Бакунин уже потерял веру в Арнольда, то он просил Фрича передать Сабине приглашение приехать к нему, Бакунину, в Дрезден для переговоров. Передал ли Фрич, вернувшийся с Аккортом в Прагу 14 апреля, это приглашение, неизвестно. Во всяком случае ни Арнольд, ни Сабина в Дрезден не поехали ("Прол. Рев.", 1. с., стр. 214—224; "Материалы для биографии", т. II, стр. 172—182; Чейхан, стр. 55 сл.).

Таким образом устанавливаются следующие агенты Бакунина в Праге;

братья А. и Г. Страка, Оттендорфер, Геймбергер, Аккорт, И. Фрич, отчасти Сабина и Арнольд. По словам же Густава Страка на австрийском дознании, в Праге существовал революционный комитет, состоявший из него, брата его Адольфа, Иосифа Фрича, Венцля, Павла Клейнерта, Франца Гиргля и некоторых других лиц. О деятельности этого комитета Г. Страка по его словам делал Бакунину периодические сообщения.

Сам Фрич в своих воспоминаниях (цит. соч., стр. 168) сообщает, что кроме тайного комитета бакунистов существовали еще два:

1) гражданский, в который входили Гауч, Фр. Гавличек, В. Вавра, Штефан, Прейс, Кампелик и из горожан домовладелец Арбейтер, Меяцль и пр.; к ним примыкал и Янечек (временно подвергшийся аресту, но вскоре выпущенный);

2) группировка преимущественно интеллигентская (врачи, профессора, журналисты и пр.): Бруна, Циммер, Сладковский, Патрубан. В члены Временного правительства намечались Гауч, Ярош (зять Гавличка), д-р Подлипский и Сладковский.

215 На допросах в Австрии Бакунин признал, что "вообще говорил всем, с кем имел смещения, чтобы они никогда особенно не выдвигались и не делали этого также из тщеславия там, где выдвигаются другие, а наоборот еще более выдвигали таких людей, ибо это — лучшее средство оставаться самому незаметным".

Все эти приемы, как оказывается уже свойственные ему в 1848 году, Бакунин впоследствии применял в своем тайном анархистском Альянсе: в том отношении особенно характерны его письма к Альберу Ришару, которые будут нами опубликованы в одном из последующих томов. Там развивается целая система обеспечения диктаторской власти за законспирированной группой вожаков путем выдвигания на передний план второстепенных, но тщеславных людей, падких до внешних знаков почета и влияния. В 1848 году Бакунин применял также и некоторые внешние приемы конспирации, которые он впоследствии широко развил в Альянсе и которые, как видно по хронологии, он заимствовал из практики тайных обществ (французских, польских, немецких и итальянских), какие ему приходилось наблюдать в 30-е и 40-е годы XIX века. В частности он, как видим, уже тогда охотно прибегал к шифру, тайным словарям и т. п. Так по его собственному признанию перед австрийской следственной комиссией он дал Густаву Страка словарь для тайной переписки ("список букв и слогов, необходимых для обозначения в корреспонденции находившихся в Праге лиц и для других сообщений"); а по показанию Г. Страка Бакунин "условился с ним относительно корреспонденции особыми письменными знаками" (см. доклад аудитора

Франца австрийскому военному суду в "Ма-териалах", том I, стр. 69 и 77). Впрочем словарь был составлен так плохо или Страка так неумело им пользовался, что Бакунин не мог разобрать его пражских сообщений, — несчастье, иногда случавшееся с ним и впоследствии. Характерная мелочь, также напоминающая приемы Бакунина и других революционеров 70-х годов в России: согласно показанию Г. Страка Бакунин вызвал его весной 1849 года в Дрезден и там уговаривал его бросить университет и посвятить себя всецело пропаганде. И в том и в другом случае действовала глубокая вера в близость революции.

216 Ожидавшиеся из Парижа Бакуниным деньги получены не были. На допросе в Саксонии он уверял, будто это — деньги частные, но в австрийской комиссии (как и в "Исповеди") признал, что ждал их от поляков.

217 Недостаток денег мешал работе. Адольф Страка и Аккорт взялись горячо за порученное им Бакуниным дело, но нуждались в деньгах. С настоятельной просьбой в деньгах послан был из Праги к Бакунину Гейм-бергер. Как выяснилось позже на дознании, таким путем Аккорт или А. Страка хотели отделаться от Геймбергера, которому впрочем в это время Бакунин уже перестал доверять (Чейхан, прим. 219; "Материалы", том II, стр. 444).

218 Байер, Фридрих, барон, псевдоним Рупертус (1810—1850)—венгерский офицер и писатель, родился в Пруссии; служил в драгунском, а затем в кирасирском полку австрийской армии; женившись на венгерке, баронессе Байш, занялся сельским хозяйством. В 1848 году вступил в венгерскую армию капитаном; затем был комендантом крепости Леопольдштадт, был ранен и скоро вышел в отставку; при наступлении императорских войск бежал за границу. Бакунин познакомился с ним за 14 дней дрезденского восстания через Виттига, который представил ему больного Байера у него же на квартире. Из обмена мнениями Бакунин убедился, что Байер разделяет его взгляд на соединенную деятельность славян и мадьяр, но мало верит в возможность практического его осуществления. Из Дрездена Байер по словам Бакунина уехал в день избрания Временного правительства ("Красный Архив", I с., стр. 172; "Материалы", т. II, стр. 51—52).

219 Повидимому ответ на вопрос.

220 Переписка была отчасти шифрованная; упоминавшиеся лица и места обозначались условными буквами (например Фрич обозначался буквами С. Z.); кроме старого адреса на имя Арнольда заведен был новый на имя священника Бенеша с припискою "для г-на Адольфа" (Страка); письма, адресованные Бакунину, направлялись на имя Виттига и т. д. Густа-ву Страке в частности поручено было выяснить настроение и образ мыслей ряда активных чешских деятелей, как например Рупперта, Ф. Гавличка, Гауча, д-ра Подлипского, Сабины и Сладковского (как мы знаем из комментария 214, все эти лица кроме Сабины были предложены Фричем). Ему было также поручено справиться об отношении Палацкого, Браунера и Штробаха к роспуску австрийского сейма. Страка выполнил поручения Бакунина неудовлетворительно. Бакунин отверг это показание Страка: он де ничего не знал о задуманном привлечении названных лиц: Штробахом и Подлипским совершенно не интересовался, а Подлипского до конца не знал даже по имени. По словам Страки Бакунин велел ему также узнать, много ли в Праге поляков и чем они занимаются, в частности там ли находится генерал Дембинский. Бакунин признал, что интересовался проживавшими в

Праге поляками, но расспрашивал не о Дембинском, а о Дверницком, о приезде которого в Прагу слышал от многих людей, в том числе и от приехавшего оттуда Геймбергера; но Страка ничего толком ему не сообщил. Страка должен был кроме того войти в сношения с вождем словаков Янечком и убедить его примириться с мадьярами. Бакунина по словам Страки равным образом занимало настроение других словацких вождей: Штура, Урбана и Блудека. Бакунин не отрицал, что дал Страке такое поручение, однако прибавил, что никаких сведений от него на этот счет не получил. В саксонской комиссии на вопрос, знал ли он Бернарда Янечека, известного под кличкой "Жижка", Бакунин дал уклончивый ответ, что где-то слышал или прочитал это имя, но никогда с ним не встречался и не имел никаких сношений. Догадывался, что Янечек вместе со Штуром и Елачичем сражается против мадьяр (Чейхан, стр. 57 и прим. 242—245; "Материалы для биографии", т. II, стр. 447—448 и 203).

Сладковский, Карл (1823—1880)—чешский политический деятель; учился в Пражском и Венском университетах, в 1846 г. занялся судебной практикой в венском Нейштадте; в 1848 г. вернулся в Прагу, проникнутый демократическими идеями, и стал одним из вождей чешского радикализма. Играл активную роль в майских и июньских выступлениях против Виндишгреца во главе студентов; во время святодуховского восстания дрался на баррикадах. В газете "Вечерний Лист" выступал против умеренного течения Палацкого и Ригера. В начале 1849 г. был одним из руководителей "Славянской Липы", примкнул к заговору Бакунина, арестован 10 мая 1849 г., 20 августа 1850 г. приговорен к смерти, замененной 20-летним заключением; в 1857 г. помилован, после чего вернулся в Прагу, активно участвовал в журналистике; оставаясь мелкобуржуазным демократом, примкнул к младочехам в 1874 г.

Янечек, Бернард, прозванный Жижка — видный вождь словацких воинов; в 1848 г. вместе с Блудеком собирал добровольческие отряды в Словакии, а затем двинулся из Моравии в Нитравский комитат. Силы его беспрестанно росли, и весной 1849 г. он оказывал значительное содействие австрийским регулярным войскам, боровшимся с Венгрией. Заподозренный в связях с революционерами, был одно время арестован, но освобожден. После революции был скромным чиновником.

Блудек, Бедрих—мораванин; в 1848 г. организовал добровольческие отряды против венгров в Словакии, а при отступлении Виндишгреца перед мадьярскими войсками в 1849 г. спас главные запасы его армии; за эту заслугу произведен в капитаны. Умер в чине подполковника в начале 1875 года.

Дембинский, Генрих (1791—1864)—польский генерал и политический деятель; служил в польских войсках Наполеона I, затем жил в воеводстве Краковском; во время польской революции 1831 г. был назначен

полковником, получил бригаду на Литве, после падения Варшавы ушел в Пруссию, затем во Францию. В 1838 г. одно время служил в египетских войсках Мехмета-Али. После февральской революции 1848 г. участвовал в славянских съездах в Бреславле и Праге, стараясь примирить славян и венгров для общей борьбы против Австрии. Затем вступил в венгерскую революционную армию, главнокомандующим которой был назначен 5 февраля 1849 г. Но вследствие зависти Гергея действовал неудачно и вынужден был подать в

отставку. В июне снова получил главное начальство над северной венгерской армией, но когда был отвергнут его план вторжения в Галицию, остался только начальником главного штаба. После поражения венгерской революции бежал с Кошутом в Турцию, а затем уехал в Париж. Во французской армии участвовал в походах в Италию и Россию (во время Крымской войны).

Дверницкий, Иосиф (1779—1857)—польский генерал, участвовал в походах польских легионов Домбровского в Италии и Наполеона I в 1812—1814 гг. Играл выдающуюся роль во время польской революции 1831 г., в начале которой несколько раз разбил отряды русских генералов;

затем двинулся на Волынь и Подолию, чтобы поднять их против России, но, не встретив сочувствия местного населения и окруженный русскими войсками, принужден был отступить в Галицию, где был разоружен австрийцами. В 1832 г. переехал во Францию, а в 1840 г. уехал в Англию. В эмиграции примыкал к правому крылу Демократического Товарищества и между прочим был членом президиума на том парижском собрании в ноябре 1847 г., на котором выступил с своей знаменитой речью Бакунин.

О Дверницком Бакунин осведомлялся потому, что не считал ген. Шнайде, кандидатуру которого выдвигал А. Крыжановский, подходящим чело-веком для занятия поста главнокомандующего военными силами предстояв-шего в Богемии восстания, а предпочитал доверить этот пост ген. Дверницкому. В это время Дверницкий проживал в Праге с паспортом на имя домашнего учителя Крашевского и читал в Славянской Липе лекции о польской драме, чего по-видимому пражские агенты Бакунина не знали.

Штробах, Антонин (1814—1856)—чешский юрист и писатель уме-ренного направления; участвовал в чешском национальном движении пра-вого крыла; в 1848 примыкал к консервативному течению Палацкого, был сотником национальной гвардии, с 9 апреля до 10 мая был пражским бур-гомистром; был активным членом чешского национального комитета, этой организации чешского мещанства. Был избран депутатом в австрийский сейм, где одно время был председателем; вместе с другими чешскими депу-татами играл в сейме роль пособника реакции и агента абсолютизма; после октябрьского восстания бежал в Прагу, где с Гавличком, Палацким и други-ми предателями революции старался восстановить чешских демократов против венских революционеров, изображая их как врагов славянства, а самое восстание как направленное к порабощению славян немцами. Слу-жил по судебному ведомству, но в 1853 вышел в отставку и занялся адво-катурой.

221 Теперь, во второй половине апреля 1849 г., у Бакунина составила в Праге группа преданных ему людей, готовых работать в его духе и про-являвших немалую энергию. Они образовали в Праге тайный кружок, пове-ли пропаганду между немецкими и чешскими студентами и ремесленника-ми. На сходках этого кружка говорили о революции и ее подготовке, рас-пределяли даже между собою определенные задания, в частности направ-ленные к скорейшему захвату в нужный момент важнейших стратегических пунктов в городе. На основании некоторых указаний, например в воспоми-наниях Фрича, Чейхан полагает, что кружок действовал не столько по ука-заниям Бакунина, сколько по собственному вдохновению. "Исповедь" Ба-кунина и допросы не дают возможности

составить себе точное и полное представление о действиях кружка.

222 Повидимому ответ на вопрос.

Действительно посылка Реккеля была последним актом со стороны Ба-кунина, если не считать его короткого письма от 4 мая 1849 г. к своим

пражским агентам, напечатанного нами в томе III настоящего издания (под N 532) и рекомендовавшего им, если возможно, поддержать пражской восстание мятежом в Праге.

Как рассказывает Фрич в своих воспоминаниях, к нему и обратился "посол Бакунина" (так он называет Реккеля) с распоряжением "ускорить приготовления". А тут подоспело известие, что 3 мая в Дрездене провоз—глашена республика с диктатором Бакуниным во главе. Тогда и пражане решились действовать: постановлено было 11 мая собраться, распределены были роли, намечены аресты заложников (Палацкий и т. п.) и пр. Но полиция предупредила заговорщиков: утром 10 мая прямо с постелей взяты были Фрич, Сладковский, Гауч, Сабина и др., всего 8—10 руководящих лиц. Кроме них аресту подверглись и более умеренные элементы вроде Ф. Гавличка, Арбейтера и т. п. Эти аресты конечно нанесли движению сильный удар. Но и без них по мнению Фрича дело до восстания в Чехии не дошло бы (цит. соч., стр. 171—184).

В дальнейшем один из агентов Бакунина,, а именно Аккорт, оказался героем ряда событий, которые привносят несколько новых и неизвестных штрихов в это и без того далеко не во всех деталях выясненное дело. Как рассказывает Пфицнер (цит. кн., стр. 146 ел.), 9 мая Аккорт явился Арнольду и Сабине и сообщил им, что оружие уже находится в пути, и что он должен немедленно выехать в Бреславль. При этом Аккорт передал им письмо от Лешака Дунина-Борковского, польского демократического де-путата в венском и кремзирском рейхстаге, невидимому посвященного в план Бакунина (если все это сообщение не является выдумкою от начала до конца, а на нас оно производит именно такое впечатление). В первой части этого письма описывалась фантастическая организация европейской демократии, главные нити которой держали в своих руках якобы Бакунин, Мерославский, Ледрю Ролен, Маццини и Руге (достаточно этого смешения имен, чтобы признать весь этот рассказ апокрифом). Во второй части письма излагался план чешско-польской демократической Лиги и предлагался ряд улучшений в системе Бакунина: она говорила преимущественно о будущей богемской конституции и предназначалась для будущего временного правительства. Зашифрованная часть письма содержала имена польских офицеров, готовых вступить в чешскую армию и находиться в распоряжении ген. Дворницкого. (Таким образом выходит, что наряду с Бакуниным велась параллельная подготовка, и притом поляками). Аккорт и Сабина должны были признать, что Борковский хорошо знаком с богемскими делами. Дворницкий, как оказалось, уже знал о том, что в Бреславле имеется оружие. Из разговора с ним вытекало, что и он посвящен в план восстания в Богемии, которое по словам зашифрованной части письма Борковского должно было совпасть с восстанием во Львове, которое через Силезию, связалось бы с Прагой. Он советовал Сабине безотлагательно ехать в Дрезден, где его якобы ждет Телеки, так как соглашение с Венгрией важнее всего. Но произошедшие в ночь с 9 на 10 аресты и объявленное в Праге осадное положение сорвали все эти предприятия.

Аккорт успел бежать. Он уехал в Венгрию и добрался до Кошута, у которого собирался просить субсидии в 150.000 флоринов, обещая взамен устроить так, чтобы оружие из пражского арсенала попало в руки венгров, и чтобы Богемия и Моравия охвачены были восстанием. Каковы были результаты этих переговоров, ставших впрочем к этому моменту уже беспредметными вследствие разгрома пражских демократов, мы не знаем.

223 Тоже повидимому ответ на заданный вопрос.

Конечно Гельтман и Крыжановский приехали в Дрезден не только по делам, занимавшим Бакунина: у них, как у поляков, имевших повсюду связи и интересы в Европе, были более широкие задачи. Но Бакунин прав в том отношении, что ко всем вопросам они подходили под углом зрения борьбы за освобождение Польши. Однако чешским восстанием они интересовались очень сильно. По их мнению это восстание, вспыхнув в момент ожесточенной схватки между австрийским правительством и революционной Венгрией, могло нанести смертельный удар австрийской империи и этим косвенно дать толчок революционному движению в Германии. К моменту их приезда в Дрезден в начале апреля там находились Г. Стража и Фрич, которые независимо от Бакунина и дрезденских демократов уверяли их в готовности чехов к бунту. Во время собеседования с Бакуниным Крыжановский и Гельтман по их словам указали ему на сложность, а потому и непрактичность задуманного им организационного плана и предложила его изменить (к сожалению в их докладе не указывается, в каком именно направлении); вместе с тем было условлено, что впредь инструкции эмиссарам. будут ограничиваться задачами пропаганды, причем молодежь будет удерживаться от преждевременных выступлений. По словам доклада Гельтман и Крыжановский настаивали также на обязательном приезде в Дрезден Сабины и Арнольда, двух людей, которых они считали наиболее влиятельными среди чешских демократов.

224 О Дестере и Гекзамере см. выше, стр. 490; о Рейхенбахе см. том. III, стр. 499.

В докладе Гельтмана и Крыжановского рассказывается, что немецкие демократы готовы были на совместное выступление с ними, ожидая только вспышки в Богемии для того, чтобы подняться в Тюрингии, Саксонии и Силезии. А тем временем из Праги приходили самые утешительные вести о возросшем до крайности брожении, о близком прибытии Арнольда и Сабины и пр. В связи с этими известиями у Гельтмана и Крыжановского возникла по их словам мысль послать в Прагу Реккеля, для того чтобы тот лично проверил точность получаемых оттуда сообщений, познакомился на месте с революционными элементами и ускорил созыв совещания с на-званными деятелями. Если верить этому заявлению Гельтмана и Крыжановского, то последующая поездка Реккеля в Прагу вовсе не была случайной и состоялась не только по воле Бакунина или по инициативе самого Реккеля. Кроме вестей из Чехии получались также сведения о растущем брожении в Пруссии. 1 мая в Дрезден прибыли Дестер и депутат франкфуртского сейма Шлюттер, приехавший по его словам вербовать польских офицеров для предполагаемого восстания в южной Германии: он заявил об этом на собрании, на котором присутствовали Дестер, Гельтман, Крыжановский, Бакунин, Виттиг; при этом он уверял, что пославшая его демократическая фракция сейма стоит на почве права наций, в том числе поляков, венгров, славян, на самоопределение. На следующий день Дестер и Шлюттер уехали, не предвидя того, что через день в Дрездене начнется восстание.

225 Дювержье де Горан, Проспер (1798—1881)—французский журналист и политический деятель .консервативно-либерального направления; сотрудничал в умеренно-либеральных газетах "Глобус", "Конституционалист", "Век"; в 1831 г. был избран депутатом, примыкал к доктринерам, но после разрыва между Гизо и Тьером примкнул к последнему, войдя в "левый центр". Был одним из вдохновителей банкетной кампании, приведшей к революции 1848 г., но, испуганный ею, занял в Учредительном собрании место на правой стороне. Его выступления в Законодательном собрании против Луи Бонапарта привели к его кратковременному аресту после государственного переворота и к высылке из Франции, куда он вернулся в 1852 г. Признав Третью Республику, он был сторонником консервативной политики Тьера. Был избран в Академию, но уже не играл политической роли.

226 Возможно, что в этих неприязненных отзывах Бакунина о предполагавшемся центральном органе германских демократов сказывается влияние А. Руге (хотя мы не знаем, переписывались ли бывшие приятели в это время). Дело в том, что в марте 1849 г. в немецкой прессе началась неприятная полемика по поводу того, какой орган следует считать центральной газетой демократической партии — "Реформу", выходившую до того в Берлине и имевшую в числе своих редакторов А. Руге, или же ту газету, о предстоящем выходе которой объявил в печати новый Центральный Комитет демократической партии, избранный на берлинском съезде и состоявший из Дестера, Гекзамера и Рейхенбаха. Руге был этим объявлением страшно оскорблен. Бакунин в данном месте как будто выражает настроение Руге (см. заметку "Арнольд Руге" в "Сочинениях" Маркса и Энгельса, том 7, стр. 297—298).

227 Согласно показаниям Г. Страка и Э. Арнольда перед австрийской

следственной комиссией Арнольд во время своей февральской поездки в Лейпциг к Бакунину беседовал с бывшими у него Дестаром и Гекзамером и в конце переговоров получил от Бакунина и Дестера поручение позаботиться о том, чтобы при возникновении революции в Германии началась также революция и в Богемии, а если это невозможно, то по крайней мере начались бы демонстрации в Богемии, чтобы помешать использованию австрийских войск в Германии. Недовольство Бакунина не вполне понятно; он видимо был недоволен тем, что Дестер и Гекзамер не давали Арнольду конкретных указаний, но это они естественно предоставляли Бакунину, имевшему с чехами более давние и тесные связи.

228 И в этих словах можно усмотреть влияние А. Руге, бреславльского демократа, находившегося в явной ссоре с ЦК Дестера и Гекзамера.

229 Т. е. восстание демократов и солдат Бадена под руководством Аманда Гегга 13 мая 1849 года.

230 Интересно было бы произвести поиски в тогдашних немецких демократических газетах, получавших информацию от Дестера и Гекзамера: тогда можно было бы открыть несколько неизвестных до сих пор статей Бакунина, написанных вероятно преимущественно на темы о славянстве, о международной политике в смысле солидарности всех угнетенных народов против монархий, в частности о задачах австрийских, германских и славянских демократов и т. п.

231 На допросах австрийские следователи естественно интересовались вопросом о демократической пропаганде среди немецкого населения Австрии. Бакунин заявил, что слышал о такой пропаганде, но не пожелал указать источника своих сведений. Одновременно он признал, что сам вел такую пропаганду, где только мог и где встречал подходящих людей. Так, когда его знакомые направлялись из Саксонии в Богемию или в пограничные местности, или когда кто-нибудь возвращался из пограничных местностей в Дрезден, он старался убедить их вести пропаганду в Богемии, для того чтобы, когда разразится восстание в Праге, богемские немцы не противодействовали ему, как это было в 1848 году. Впрочем он получал неблагоприятные и притом крайне редкие известия об этой пропаганде в немецких кругах, и первым человеком, сообщившим ему положительные вести об этом деле, был упомянутый выше венгерский агент Байер: при случайном свидании во время дрезденского восстания Байер сообщил ему, что он только что приехал из Тешена, и что там царит сильное возбуждение.

Демократическая пропаганда среди богемских немцев велась главным образом из соседней Саксонии, особенно эмиссарами "Отечественных союзов". Так имеются сведения, что такую пропагандой занимались Киндерман, основатель социального клуба в Лейпциге и руководитель тамошнего гимнастического общества. Карл Бидерман, товарищ Виттига по редакции "Дрезденской Газеты" Линдеман и член ЦК саксонской демократической партии Иеккель, которые в 1849 г. разъезжали по Богемии и устраивали там собрания. Киндерман даже чуть не подвергся аресту в городке Комотау, являвшемся тогда местным демократическим центром. Политика австрийского правительства, направленная к подавлению свободы во всех частях империи, налагала слишком большие тяготы на все население. Раздражаемое налогами, рекрутскими наборами, непрекращающимися войнами то с итальянцами, то с мадьярами, то с внутренними врагами, немецкое население Богемии было так же недовольно, как и другие национальности. Особенно глубокое брожение возбудил среди него новый рекрутский набор весною 1849 г. В таком же направлении действовал роспуск кремзирского рейхстага. Некоторые из левых депутатов, как д-р Карл Циммер, Ганс Кудлих и т. д., принуждены были скрываться от ареста; таким образом всюду в Германии, в частности в Саксонии, появились австрийские эмигранты, которыми разумеется спешили воспользоваться для постановки агитации среди австрийской демократии и в частности среди богемских немцев (см. в комментарии 244 рассказ о встрече Бакунина с Циммером в Дрездене). Начало назревать новое стремление: забыть прежние национальные распри и объединить свои усилия для совместной борьбы с наступающим абсолютизмом. В Комотау, в Теплице и в других северобогемских городках, населенных преимущественно немцами, начало проявляться оппозиционное настроение, подготавливавшее почву для саксонских демократических эмиссаров (его использовал и Реккель при своей майской поездке в Прагу).

Естественно, что Бакунин не мог упустить столь удобного случая для установления связей с демократически настроенными богемскими немцами, совместное выступление коих с чехами представлялось одним из основных условий успеха задуманной им революции. В этом отношении помощником ему служил Оттендорфер, который, сам будучи немцем, мог легче проникать в немецкую демократическую среду.

(Одним из помощников Бакунина по демократической агитации среди немцев и сближению их с славянскими революционерами был невидимому журналист Гефнер, бежавший из Вены после ее разгрома и поселившийся в Дрездене. В своей цитированной статье Б. Николаевский (стр. 109), не указывая впрочем источника своего осведомления, называет его одним "из ближайших помощников Бакунина по его революционной работе для Чехии" и одним из членов созданного Бакуниным "немецкого центра" (о котором: у нас также нет точных сведений). С другой стороны лично знавшая его Эмма Гервег в письме, которое мы ниже будем цитировать, называет Гефнера "правою рукою Бакунина в дрезденской истории" (Переписка Г. Гервега, стр. 288).

Оттендорфер помог и Г. Страке завязать связи с пражскими демократическими студентами из немцев. На-ряду с чисто немецкими и чисто чешскими клубами, объединить которые не удалось даже в разгар реакции, начали возникать смешанные студенческие чешско-немецкие организации. Но и среди чисто национальных организа-ций стали выделяться такие, которые видели свою основную задачу не в культурной, а в политической работе: из немецких союзов таким была "Маркомания", а из чешских — "Чешско-моравское братство". Здесь-то и действовали бакунинские агенты и вербовщики. "Маркомания", основанная в мае 1848 г. и усиленная весной 1849 г. вступлением в ее состав закрыв-шейся "Монтании", приняла под влиянием новых пришельцев, а главным. образом под влиянием недовольства наступившей реакцией, радикальный, можно сказать республикански-революционный характер. Во главе ее стал Ганс Риттиг, и скоро Бакунин в лице этого землячества нашел ту немецкую радикальную группу, о которой он до тех пор только мечтал. Одновремен-но с этим И. Фрич побудил чешское умеренное землячество "Славия", кото-рое также было основано в 1848 г., и во главе которого он стоял, преоб-разоваться в "Чешско-моравское братство" и сделать своим лозунгом "де-мократию и братство". Через посредство Фрича новая организация оказа-лась связанною с пражскими агентами Бакунина Геймбергером и Аккортом. Аккорт посвятил Фрича в план Бакунина, поехал с ним в Дрезден, и здесь Фрич стал агентом Бакунина в Чехии и примкнул к его заговору (см. комментарий 214). Поездка Фрича к Бакунину привела к организации в апреле 1849 года революционного комитета в Праге, состоявшего боль-шею частью из студентов; в состав его привлечены были а качестве пред-ставителей немецкого элемента Риттиг, староста "Маркомании" и Оргельмейстер, староста "Вингольфии" (В своих цит. воспоминаниях Фрич (стр. 168), рассказывая о "Чешско-моравском братстве", говорит, что членами его были морав Бедрих, Бидерман, сам Фрич, медик Подлипский и пр. Все носили громкие клички, как например Мерославский, Робеспьер, Марат, Гарибальди, Кошут, Костюшко, Гусе, Жижка, Кромвель. Это был типичный студенческий кружок, в кото-ром выпивали, распевали песни, были одушевлены наилучшими намерения-ми, но абсолютно не знали правил конспирации. Неудивительно, что по-лиция, вдобавок наверно имевшая в братстве своих агентов, была прекрасно осведомлена обо всех делах и замыслах его участников.).

Впрочем немцы привлекались к участию в задуманном движении не только Фричем, но и непосредственно Г. Стракою и Оттендорфером, кото-рый, как мы знаем, специально был отправлен Бакуниным в Прагу для основания революционного комитета из богемских немцев. С помощью за вербованного Риттига ему удалось привлечь ряд участников землячества "Маркомания", состоявшего из представителей различных районов немецкой Богемии, и эти прозелиты объявили себя вполне солидарными с задуманной Бакуниным

революцией, хотя отдельных деталей его плана они не знали. "Маркоманы" взяли на себя важную задачу — штурм ратуши и овладение ею; они на собственные средства накупили порошу и готовили пат-роны. Кроме студенчества Бакунин старался привлечь на свою сторону и представителей более широких слоев немецкой либеральной буржуазии в Богемии: с этой целью Оттендорфер и устроил ему свидание с Циммером, о котором говорится в "Исповеди" (см. ком. 244). Это ему также удалось, хотя Циммер, убедившись в слабости заговорщиков, поспешил (11 мая) уехать из Праги. Молодежь проявила больше решимости. Она не бросила дела и назначила выступление на 12, а затем на 14 мая (хотя Реккель на-стаивал на 6 мая). До выступления устроена была вечеринка, на которой заговорщики должны были подсчитать свои силы и принести клятву перед решительным шагом (она состоялась 8 мая и прошла очень оживленно). Накануне получено было письмо Бакунина от 4 мая, в котором он призывал пражан не медлить с выступлением, а на следующий день 9 мая начались в Праге аресты, разгромившие участников заговора. К суду привлечено было 22 немецких студента, многие из которых наряду с Циммером и Бакуниным приговорены были к смерти, замененной каторжными работами, и даже дававшие откровенные показания получили по 10—12 лет тюремного заключения. Гансу Кудлиху и Оттендорферу удалось бежать в Америку.

Как рассказывает Фрич в своих воспоминаниях (цит, соч., стр. 215— 233), 31 декабря 1850 года на дворе Урсулинских казарм прочитан был приговор 24 членам немецких землячеств "Маркомания и "Прага" и их соучастникам, из коих 7 приговорены к смертной казни (замененной 15 — 20-летним заключением в каторжной тюрьме) — за участие в заговоре направленном к насильственному ниспровержению государственного строя в Австрии и к учреждению республики под руководством Михаила Бакунина и его эмиссара Августа Реккеля; другие были присуждены к 10—16 годам тяжких работ. Через неделю, а именно 7 января 1851 года, во дворе тех же казарм прочитан был приговор другой группе подсудимых по делу о заговор; причем 5 человек, в том числе Фрич, привлечший студентов к участию в деле, были присуждены к смертной казни через повешение, замененной им 15—20 годами каторги, а Фричу — 18 годами. Другие подсудимые по этому делу получили по 10—12 лет тюрьмы.

Риттиг успел бежать сначала в Швейцарию, а затем в Америку, где он позже вместе с Оттендорфером издавал газету "Staatszeitung".

232 Приблизительно то же Бакунин заявил и перед австрийской следственной комиссией. Его слова об объединении саксонской резолюции с чешской не должны де пониматься в том смысле, будто существовал какой-либо установленный план саксонской или вообще германской революции, будто назначен был срок выступления, намечены его места и т. п. Имелись лишь всюду революционные элементы, и вообще ожидалось, что рано или поздно революция вспыхнет. О революции говорилось везде, но ничего определенного, конкретного не было. Когда он побуждал своих сторонников готовить революцию, он имел в виду придать им больше энергии (Чейхан, прим. 225; "Материалы для биографии", т. II, стр. 451).

233 В то время как созданные под покровительством реакционного министра Бекка "патриотические союзы" не могли получить широкого развития, основанные демократами

во главе с Р. Блюмом "народные союзы" (точнее "отечественные") скоро достигли цифры 400 и покрыли всю страну сетью организации, сыгравшей большую роль в майской революции 1849 года. В рабочих и горных районах они носили отчасти социалистический характер. Даже часть армии попала под влияние демократической организации. Вообще же по всей Германии демократические союзы насчитывали не менее 72.000 записанных членов, а гимнастические общества — 62.000 членов. (См. также В. Hirschel — "Sachsens jüngste Vergangenheit", Freiberg, 1849).

234 Здесь снова крестьянский социализм Бакунина подсказывал ему верную революционную тактику, имеющую целью для торжества революции вырвать деревню или точнее ее революционные элементы из-под влияния реакции и подчинить их революционному руководству городов, движений которых, предоставленное самому себе и не связанное с крестьянством, обречено на поражение.

235 Иекель (Jaesckel)—немецкий писатель и политический деятель;

саксонский демократ, член саксонской палаты депутатов; был вместе с Элькером вождем республиканского течения в "отечественных союзах". Рядом с "Отечественным союзом" они основали в Лейпциге особый республиканский клуб, который скоро соединился с дрезденским республиканским клубом. Иекель стал во главе ЦК "отечественных союзов", где резко боролся с умеренным направлением, возглавлявшимся Вуттке. Бакунин познакомился с ним в гостинице "Золотой петух", где собирались обыкновенно члены лейпцигского "Патриотического общества" (демократического). Бакунин продолжал встречаться с ним в Дрездене. Через него он между прочим проводил свою политику сближения славянских демократов с немцами. Так через него, Реккеля и Шрека он предложил "Патриотическому обществу" в Дрездене выпустить воззвание с выражением симпатии славянам, что и было сделано. Впоследствии Иекель за активное участие в майской революции принужден был бежать за границу.

В. Полонский прочитал здесь вместо <Иекель> "Реккель". Как могла произойти такая ошибка, непонятно. Всякий исследователь, знающий, что Бакунин был другом Реккеля и прекрасно к нему относился, обратил бы внимание на странность этого резкого отзыва о человеке, о котором в той же "Исповеди" несколькими страницами выше говорится совершенно иначе. Наконец всякий историк должен был бы удивиться тому, что Бакунин называет бежавшим человека, который был арестован даже раньше его остался в тюрьме (сначала Кенигштейнской, а затем Вальдгеймской) после увоза Бакунина в Австрию. Если бы В. Полонский хоть на минуту задумался над этой несообразностью, то от снова заглянул бы в оригинал "Исповеди" и увидел бы, что там ясно написано "Иекель" (по немецки). К сожалению он ввел таким образом в заблуждение немецкого переводчика "Исповеди" К. Керстена, который доверял Полонскому, и таким образом. ошибка В. Полонского стала теперь интернациональной. Но так как немецкий переводчик все-таки оказался внимательнее своего русского коллеги, то он сразу обратил внимание на несообразность этого отрицательного отзыва Бакунина о Реккеле, столь расходящегося с обычным отношением его к своему приятелю. И вот бедняга Керстен силится в огромном примечании 115 к своему переводу "Исповеди" (стр. 112) как-нибудь объяснить эту странность. Он объясняет резкий отзыв Бакунина якобы о Реккеле тем, что последний дал откровенные

показания на допро-сах. Но если бы это было так, то почему в других местах той же "Исповеди" о Реккеле говорится в самом дружеском и теплом тоне? Но в конце Керстен, видимо не очень твердо стоящий на своей позиции, меланхолически замечает: "Как может Бакунин говорить о бегстве Реккеля в Лондон, это — загадка. Возможно, что здесь он спутан с Чирнером, или же мы имеем дело с простой опиской". Да, с опиской, только не Бакунина, а его биографа, беззаботного насчет фактов и не знающего сомнений.

236 Чирнер (Тширнер), Самуил Эрдман (1812—1870) — немецкий юрист (адвокат из Бауцена) и политический деятель; принимал участие в революции 1848 г. в качестве одного из наиболее популярных ораторов-

левой; был избран членом и вице-председателем 2-й саксонской палаты; во время майского восстания в Дрездене был избран во Временное правитель-ство. После поражения дрезденского восстания уехал в Баден, где участвовал в майском революционном восстании. Бежал за границу, но позже вернулся в Германию. Умер в Лейпциге.

237 В показании от 19 сентября 1849 г. Бакунин перечисляет следующих своих знакомых в Дрездене: поляки Т. Дембиньский, А. Крыжановский, В. Гельтман, Ю. Анджейкович (всех их он знал еще по Парижу), далее румын из Валахии Василий Гика, проживавший тогда в Дрездене с женой, познакомившийся с Бакуниным через Анджейковича и собиравшийся уехать в Мальту (В "Деле против Бакунина" ("Acta wider den Literat Bakunin"), оригинал которого находится в дрезденском архиве, а фотокопия (частичная) имеется в ИМЭЛ, в томе Ia сообщаются следующие полицейские сведения о Василии Гике: это был молодой боярин, в 1835 г. проживавший в Вене; в августе 1848 г. он снова находился в австрийской столице. Он вошел в соглашение с бывшим валашским господарем князем Александром Гикой. [Этот Александр Гика (1795—1862) был в 1834—1842 господа-рем Валахии, которую стремился освободить от русского и турецкого влияния, но вследствие своей двойственной политики лишился опоры в массах и был в 1842 г. смещен султаном, после чего жил в Италии]. Василий Гика рисуется в полицейских донесениях как оппозиционер, горячая голова, богатый человек; после октябрьской революции он уехал из Вены. В Дрез-дене он невидимому вращался среди демократов. Познакомился и с Ба-куниным, взглядам которого на будущность валашской нации не мог не со-чувствовать. После начавшихся в Дрездене волнений он уехал через Мюн-хен и Швейцарию в Марсель (справка венской городской комендатуры от 19 июля 1849 г.). Том Ia "Дела", стр. 70—73.

Л. Виттиг, и А. Реккель, капельмейстер и композитор Ри-хард Вагнер, депутаты саксонского ландтага Иекель из Лейпцига и Бетхер (Бетхер, Федер Карл (1815—1849)—саксонский политический де-ятель, демократ, по профессии адвокат в Лейпциге. Принимал активное участие в революционном движении 1848—1849 гг., в частности в сентябрь-ском возмущении в Хемнице и в майском восстании в Дрездене. Он был депутатом Франкфуртского парламента, в который избран был от Хемница. Во время баррикадных боев в мае 1849 г. в Дрездене был убит.)

из Хемница. Кроме того он поверхностно знаком был с Чирнером и в день революции встретил Тодта (в действительности он знал Тодта еще с 1842 года). Среди своих "салонных" знакомых он называет графиню Чесновскую (Если эта Чесновская тождественна

с тою Чесновскою, ко-торая была близка к Шопену, посвятившему ей даже несколько своих произведений, и была вхожа к Жорж Занд, переписывавшейся с нею, то Бакунин легко мог знать ее еще по Парижу, где мог встречать ее или в окружении Жорж Занд или в польской колонии. Но установить это с точ-ностью на основании источников, имевшихся в нашем распоряжении, нам не удалось. Поэтому мы высказываем это лишь в виде предположения, нуж-дающегося в дальнейшей проверке.)

Все названные им знакомые бывали у него на квартире кроме Иекеля, которого Бакунин посещал у него на дому. С Гикою по сло-вам Бакунина, политической связи у него не было. Бакунин конечно назы-вает здесь не всех, например венгерца Байера (см. выше). Относительно Р. Вагнера он дает следующий отзыв: "Что касается Вагнера, я сразу признал в нем фантазера, и хотя с ним беседовал много о политике, но ни-когда с ним не связывался для совместных действий" ("Красный Архив", 1. с., стр. 170—171; "Материалы", т. II, стр. 50).

Ввиду заявления Бакунина, что он много беседовал с Вагнером о поли-тике, приобретают немалый интерес воспоминания Вагнера о знаменитом агитаторе. Разумеется к этим воспоминаниям нужно отнестись критически, так как Вагнер в политических и общественных вопросах плохо разбирался, был человеком чувства, а не мысли, в революцию и вообще политику попал, как большинство тогдашних обывателей, случайно и ненадолго; многое, что видел и слышал, понимал превратно и наверное передает слова Баку-нина в многих случаях неточно. Тем не менее его сообщения при извест-ном критическом подходе к ним представляют все же значительный инте-рес для характеристики тогдашних взглядов и настроений Бакунина. Во вся-ком случае эти сообщения свидетельствуют о том, какое впечатление Ба-кунин производил в то время на окружающих и как они оценивали его заявления и действия, а значит отчасти характеризуют ту среду, в которой ему приходилось действовать.

Рихард Вагнер познакомился с Бакуниным весною 1849 года во время репетиция 9-й симфонии Бетховена дрезденскою придворною капеллою под управлением Вагнера. "На генеральной репетиции, — рассказывает Ваг-нер, — тайно от полиции присутствовал Михаил Бакунин. По окончании концерта он безбоязненно прошел ко мне в оркестр и громко заявил, что если бы при ожидаемом великом мировом пожаре предстояло погибнуть всей музыке, мы должны были бы с опасностью для жизни соединиться, чтобы отстоять эту симфонию". Дальше Вагнер рассказывает о впечатлении, про-изведенном на него "этим необыкновенным человеком", которым он заинте-ресовался со времени его парижской речи 1847 года и о котором ему рас-сказывал Г. Гервег. Но когда Вагнер переходит к изложению мыслей Ба-кунина, мы не можем отделаться от впечатления, что автор "Мемуаров", писавший их примерно лет через 20 после событий бурного года, невольно привносит в свое изложение воспоминания, навеянные ему последующею деятельностью анархиста Бакунина 60—70-их годов. Во всяком случае "Мемуары" Вагнера подтверждают, что среди тогдашних демократов Ба-кунин был одним из самых последовательных и крайних, хотя бы в ка-честве решительного крестьянского революционера.

Что Бакунин оказывал большое влияние на Вагнера (тогда и позже), это общеизвестно. Новейший русский биограф Р. Вагнера утверждает, что "влияние Бакунина на убеждения, мысли и жизненное поведение Вагнера несомненно" (А. Сидоров—"Р. Вагнер". Москва 1934,

Познакомил Вагнера с Бакуниным А. Рекель, к тому времени по словам Вагнера "совершенно одичавший", т. е. горячо увлекшийся революцией. "Когда я впервые увидел Бакунина у Рекеля,—рассказывает Вагнер,— в ненадежной для него обстановке, меня поразила необыкновенная импозантная внешность этого человека, находившегося тогда в расцвете тридцатилетнего возраста. Все в нем было колоссально, все веяло первобытной свежестью... В спорах Бакунин любил держаться метода Сократа. Видимо он чувствовал себя прекрасно, когда, растянувшись на жестком диване у гостеприимного хозяина, мог диспутировать с людьми различных оттенков о задачах революции. В этих спорах он всегда оставался победителем. С радикализмом его аргументов, не останавливавшихся ни перед какими затруднениями, выражаемых притом с необычайною уверенностью, справиться было невозможно". По словам Вагнера Бакунин отличался необыкновенною общительностью и в первый же вечер рассказал ему свою автобиографию. Из нее мы заимствуем только указание Бакунина на глубокое впечатление, произведенное на него сочинениями Ж.-Ж. Руссо. Ответственность за это несколько неожиданное сообщение приходится целиком возложить на Р. Вагнера.

Указав далее на то, что Бакунин считал славянский мир наименее испорченным цивилизацией и ждал от него возрождения человечества, Вагнер продолжает: "Свои надежды он основывал на русском национальном характере, в котором ярче всего сказался славянский тип. Основной чертой его он считал свойственное русскому народу наивное чувство братства. Рассчитывал он и на инстинкт животного, преследуемого человеком (ясно, что речь идет о классовом чувстве.—Ю. С.)—на ненависть русского мужика к его мучителям-дворянам. В русском народе по его словам живет не то детская, не то демонская любовь к огню, и уже Ростопчин построил на этом свой план защиты Москвы при нашествии Наполеона. В мужике цельнее всего сохранилась незлобивость натуры, удрученной обстоятельствами.

Его легко убедить, что предать огню замки господ со всеми их богатствами — дело справедливое и богоугодное. Охватив Россию, пожар перекинется на весь мир. Тут подлежит уничтожению все то, что, освещенное в глубину с высоты философской мысли, с высоты современной европейской цивилизации, является источником одних лишь страданий человечества. Привести в движение разрушительную силу — вот цель, единственно достойная разумного человека". И дальше: "Разрушение современной цивилизации—идеал, который наполнял его энтузиазмом. Он говорил лишь об одном: как для этой цели использовать все рычаги политического движения, и его планы нередко вызывали у окружающих веселые иронические замечания. К нему приходили революционеры всевозможных оттенков. Ближе всего ему конечно были славяне, так как их он считал наиболее пригодными для борьбы с русским деспотизмом. Французов, несмотря на их республику и прудоновский социализм, он не ставил ни во что. О немцах он со мной никогда не разговаривал. К демократии, к республике, ко всему подобному он относился безразлично как к вещам несерьезным. Когда говорили о перестройке существующих социальных основ, он обрушивался на возражающих с уничтожающей критикой... Устроители нового мирового порядка найдутся сами собой, говорил он нам в утешение. Теперь необходимо думать только о том, как отыскать силу, готовую все разрушить... Тем,

кто заявлял о своей готовности пожертвовать собой, он отвечал возражением, производившим сенсацию, что не в тиранах дело, что все зло — в благодушных фили-стерах". Дальше Р. Вагнер, который сам был в политике законченным типом такого филистера (что видно и из его рассказа о Бакунине), подчеркивает, что несмотря на свои страшные речи Бакунин отличался "тонкою и нежною чуткостью", и что в нем "антикультурная дикость" сочеталась с "чи-стейшим идеализмом человечности". Пропуская его рассуждения на эту тему, мы отметим только одно его указание на политическую непрактичность Бакунина и на его беспочвенность в этой области. "Можно было подумать, что Бакунин является центром универсальной конспирации. Но вот выяснилось, что его практическая задача сводится лишь к замыслу вызвать новое революционное брожение в Праге, при чем вся надежда в этом отношении возлагалась на организацию нескольких студентов" (т. II, стр. 170—175). На самом деле, как известно, задачи Бакунина были тогда гораздо шире, но Вагнер, вообще стоявший в стороне от политики, об этом не знал. Рассказ Вагнера о второй поездке Бакунина в Прагу мы привели в комментарии 207.

238 Шнайде (настоящая фамилия Шнейдер), Францишек (1790— 1850)—польский военный и политический деятель; в молодости вступил в армию Царства Польского, в 1830 г. был майором в полку конных егерей, во время революционной войны 1831 г. командовал конным полком и был произведен в генералы; по взятии Варшавы уехал в Париж, где принял активное участие в делах эмиграции. Имел отношение к подготовке восстания в Познани, и в 1847 г. был принят в члены Централизации Демократического Товарищества. В 1848 г. находился в Бреславле и Зальцбрунне; не принятый Дембинским в венгерскую армию, уехал в баварский Палатинат, где в мае 1849 г. был главным начальником над повстанческими отрядами и вследствие промедления был одним из виновников поражения, понесенного Мерославским 21 июня 1849 г., после чего уехал в Париж, где скоро умер.

239 В южно-германских повстанческих войсках участвовало много поляков и притом на командных постах. После Шнайде главнокомандующим революционных войск был Л. Мерославский; рейнско-гессенским корпусом волонтеров командовал поляк Руперт или Рауперт; начальником генерального штаба Раштаттской крепости был Корвин Вержбицкий, впоследствии осужденный на пожизненную каторгу (просидел до 1855 г.); на некарской линии отличились польские полковники Тобиан и Оборский; поляк Теофил Мневский, командовавший большим отрядом, был расстрелян пруссаками в Раштатте. Существовал особый немецко-польский легион во главе с Фрейндом.

240 Бакунин, как мы знаем, все время торопил своих пражских агентов ускорить приготовления к выступлению. С началом движения в пользу имперской конституции в Вюртемберге его настояния усилились. На допросе в Австрии он признал, что когда в Вюртемберге началось движение за признание имперской конституции, он послал Г. Страке письмо, в котором требовал от него ускорения подготовительных мероприятий, "ввиду того, что в Вюртемберге и Бадене все вплоть до войск готово к восстанию" (Чейхан, прим. 247; "Материалы для биографии", т. II, стр. 455).

241 О настроении в Праге Бакунин знал по письмам своих приверженцев. Он верил в близость революционного взрыва. На допросе в Саксонии Бакунин показал, что из газет и

частных писем ему стало известно о публичном проявлении симпатий к мадьярам (крики "да здравствует Кошут!" при проходе венгерского полка), что предстоит государственное банкротство, что крестьянство недовольно, а рекрутский набор вызывает всеобщее негодование, что мадьяры одерживают победы над австрийскими войсками, а вступление русских в австрийские пределы должно вызвать всеобщее неудовольствие. "Из этих данных,—резюмирует он,—я заключал о близком восстании в Чехии, тем более что предвиделось примирение между богемскими немцами и чехами" ("Прол. Рев.", I. с., стр. 178; "Материалы", том II, стр. 117).

242 Бакунин дал Рекелю письмо к Сабине и Арнольду, а также записку к Фричу и братьям Страка (то и другое напечатаны у нас в томе III, стр. 397 и 398). По словам Бакунина Рекель хотел на время выехать из Дрездена, так как предвиделось, что с роспуском сейма правительство начнет применять репрессии, а Рекель был под судом за революционное воззвание к солдатам. Но поехать именно в Прагу наверное убедил его Бакунин, как это впрочем и вытекает из слов "Исповеди". На допросе в Саксонии Бакунин показал: "Так как главное мое стремление направлено к тому, чтобы объединить славян и немцев с мадьярами и, когда они объединятся, победить с помощью их австрийскую и русскую армии, освободить Польшу и разрушить Австрию, разложив ее на отдельные самостоятельные национальности, которые сами изберут себе подходящее государственное устройство, то поездка Рекеля в Прагу явилась как нельзя более кстати, давая мне возможность при посредстве Рекеля столкнуться по поводу моих планов с Сабиной и неназванным (т. е. Арнольдом, которого Бакунин не хотел тогда еще называть. — Ю. С.), ибо я имел основания надеяться, что Сабина и неназванный будут преследовать одинаковые со мною тенденции". По дальнейшим словам Бакунина Рекель должен был рассеять недоразумения между немецкими и чешскими демократами и разъяснить, что немецкая демократия в отличие от 1848 года будет солидарна с революционным выступлением чехов против австрийского правительства. Давая Рекелю рекомендательные письма, Бакунин хотел помочь выполнению его давнишнего желания: лично удостовериться в основательности расчетов на близость движения в Богемии и попытаться в интересах этого движения привести к согласию и совместному действию немецкую и чешскую демократию ("Прол. Рев.", I. с., стр. 172—183; "Материалы", том II, стр. 114—123). Сам Рекель в своих воспоминаниях рассказывает об этой своей поездке следующее:

"Во время своего тайного проживания в Лейпциге он (Бакунин—Ю. С.) собрал вокруг себя кружок по большей части чешских студентов, которые: с полным самоотречением взирали на него как на своего учителя и беспрекословно следовали его словам. С их помощью он задумал вырвать Богемию из того состояния уныния и спячки, в которое она впала после злополучных и совершенно лишенных плана июньских боев истекшего года. Но его нетерпение заставляло его считать уже достигнутым то, на что он только надеялся и к чему только стремился, и он с твердой уверенностью ждал в кратчайшем времени всеобщего восстания в Богемии. А при тогдашнем положении вещей в Германии представлялось весьма важным предотвратить всякое изолированное выступление, и вот почему Бакунин без труда убедил меня съездить в Прагу и переговорить с местными деятелями, к которым он дал мне незапечатанные письма о том, чтобы оторочить по возможности тамошнее восстание до того времени, когда идущие быстро к развязке дела в Германии позволят надеяться на то, что движение сразу примет всеобщий характер.

"Но в Праге я нашел положение совершенно отличное от того, ко-торое было мне нарисовано. Чехи и немцы противостояли друг другу бо-лее враждебно, чем когда-либо. Падение Вены в октябре прошлого (1848) года не только не переживалось как общий удар, но даже рассматрива-лось чехами с известным удовлетворением как возмездие за их июньское восстание, оставленное немцами на произвол судьбы. Равным образом и великая борьба в Венгрии не встретила среди чехов того сочувствия, ко-торым горели мы, немцы, ибо там на него часто смотрели только как на попытку мадьяр сохранить свое владычество над славянскими народно-стями Венгрии...

"Вместо мощного, широко разветвленного союза, во главе которого воображал себя Бакунин и с помощью которого он мнил себя в состоянии привести в движение могучие силы, я едва нашел какую-нибудь дю-жину весьма юных людей, которые при всей своей экзальтированной фан-тазии не могли ни на минуту обманываться насчет своего бессилия. Я бе-седовал с отдельными лицами, на которых они мне указывали как на склонных при удобном случае к насильственному возмущению, встречал подчас и добровольную готовность на жертву, но одновременно все боль-ше убеждался в правильности моего первого впечатления от положения ве-щей. По утверждению проникательных патриотов требовались еще по мень-шей мере месяцы для того, чтобы доставить настолько широкое распро-странение тому взгляду, что только солидарное действие германской и ав-стрийской демократии способно поставить преграду растущей реакции, что-бы от него можно было ожидать перехода к делу. Австрийское пра-вительство вскоре после того своим жестоким преследованием всех тех, кто во время моего кратковременного пребывания в Богемии подде-ржи-вал со мною сношения, ясно показало, сколь необеспеченным оно себя чувствовало и какой страх внушала ему даже отдаленнейшая попытка вы-звать народное возмущение" (Рекель, цит. соч., стр. 144—146).

243 Рекелю не нравилась роль бакунинского агента. Отчасти поэтому, а отчасти потому, что он не считал этого нужным, он не отдал баку-нинских писем, а только показывал их при нужде и увез с собою обратно в Дрезден, что впоследствии повредило как ему лично, так и всем под-судимым по пражскому делу (показания Рекеля в Кенигштейне 18 июня 1850 г; см. Чейхан, прим. 251; "Материалы", т. II, стр. 188).

Как сообщает в своих воспоминаниях А. Рекель (стр. 200), он забыл уничтожить два письма, данные ему Бакуниным (в Праге он их не отдал адресатам, а лишь предъявлял). Когда он был 7 мая 1849 года захвачен под Дрезденом правительственными солдатами, эти письма были найде-ны у него при личном обыске. В бакунинских письмах никаких имен не фигурировало, но в карманной книжке Рекеля, также у него отобранной, оказались записанными имена многих известных пражан. Саксонское пра-вительство поспешило сообщить эти сведения австрийскому. Эти записи отчасти помогли австрийскому правительству распутать известное дело о заговоре с целью вызвать революцию в Богемии. Следователь фон Гок, которому было поручено это дело, страшно раздул его. Он приезжал и в Дрезден допрашивать по этому делу Бакунина и Рекеля. Последний поз-же сильно раскаивался в том, что вступал в разговоры с этим инквизи-тором, который разумеется использовал показания, данные Рекелем в це-лях оправдания арестованных, для ухудшения их участи.

Сначала Рекель на допросах отрицал свои встречи с пражскими революционерами, но затем признал встречи с д-ром Бруна (Эдуард Бруна, доктор философии, был преподавателем Нейштадтского лицея.) и И. Фричем. К последнему привел его Г. Страка в день его отъезда в Дрезден, т. е. 5 мая. Интересуясь движением в Богемии, он, Рекель, поехал в Прагу для того, чтобы подготовить ожидавшуюся там революцию и обсудить со своими единомышленниками те меры, какие надлежало предпринять для успеха этой революции. Он признал, что знал об отношениях Густава Страка к Бакунину и что по прибытии в Прагу вошел в сношения с ним и его братом Адольфом, а затем и с доктором Циммером, с которым познакомился у Бакунина в Дрездене; он обращался также к д-ру Бруна, Карлу Сладховскому, И. Фричу и Э. Арнольду, особенно же старался повлиять на Бруна и Сладховского, чтобы привлечь их к участию в революции, и стремился убедить д-ра Бруна отдать на революционные цели находившиеся в его руках деньги польских легионов. Далее он признал, что посетил Сабину, передал ему поручения Бакунина и убеждал его принять активное участие в предстоящей революции, необходимые мероприятия для успеха которой он с ним обсуждал; он настаивал также на том, чтобы начать революцию в Праге как можно скорее. Рекель заявил наконец, что при взрыве революции Бакунин лично приехал бы в Прагу, а он, Рекель, остался бы в Праге и присоединился бы к революции, если бы она не началась раньше в Дрездене и не принудила его вернуться туда. Выехал Рекель из Праги 5 мая, а 6 приехал в Дрезден, где свиделся с Бакуниным.

По-видимому при встрече в Дрездене обоим им в обстановке восстания было не до подробных разговоров, так что Бакунин о работе Рекеля в Праге ничего особенного не узнал, но услышал от него, что в Праге все идет хорошо. Рекель при встрече с Бакуниным будто бы сказал ему: "Сегодня в Праге вспыхнет восстание". Но Бакунин заявил, что он не припоминает таких слов Рекеля. Да и сомнительно, чтобы после вынесенных из Праги неблагоприятных впечатлений, Рекель мог даже в порыве энтузиазма сказать такие слова (Чейхан, прим. 275 и 277).

244 Циммер, Карл—австрийский политический деятель; родился в Чехии, был врачом по профессии; принял активное участие в революции 1848 г.; был избран от города Тешена депутатом в австрийский учредительный рейхстаг, где сидел на левой стороне. Выдвинулся в октябрьские дни, когда поддерживал крайнюю революционную фракцию. Был также членом франкфуртского парламента. Неоднократно подвергался преследованиям. 11 мая 1849 г. накануне задуманного выступления уехал из Праги. Через Дрезден поехал во Франкфурт, где участвовал в заседаниях парламента до конца. В Берлине был арестован в марте 1850 года, выдан Австрии и приговорен по процессу Бакунина к смертной казни, замененной ему 15-летним тюремным заключением.

На допросе в Австрии Бакунин признал, что имел свидание с Циммером при проезде последнего через Дрезден в апреле 1849 года. О присутствии его в Дрездене он узнал от Оттендорфера, который и привел его к нему. Так как Циммер был родом из Богемии и принадлежал к демократам, то для Бакунина он представлял естественно значительный интерес. После беседы об общем положении Богемии Бакунин задал Циммеру вопрос, как стали бы себя держать богемские немцы в случае восстания в Праге: остались ли бы они нейтральными или, как это было в 1848 году, стали бы ему противиться? Так как Циммер выразился о чехах с величайшей антипатией, указывая на то, что ждать от них

революционных выступлений не приходится, то Бакунин пустил в ход все свое красноречие, чтобы побороть эту антипатию и склонить Циммера к примирению с чехами и к согласованной деятельности с ними. В конце концов Циммер поддался убеждениям Бакунина и заявил, что в случае чешского восстания в Богемии немецкие демократические круги также присоединятся к движению, и что он сам постарается повлиять на них в этом смысле. Показание самого Циммера, совпадая во всем существенном с вышеизложенным, отличается от него умолчанием о том, что первоначально Циммер будто бы возражал против совместных действий с чехами и согласился на них лишь после горячих убеждений Бакунина ("Материалы для биографии Бакунина", т. I, стр. 74—75 и 83—84). Пфицнер (цит. кн., стр. 183 сл.) высказывает предположение, что Циммер по собственной инициативе пришел к Бакунину, о котором в Чехии тогда столько говорили, и с которым он хотел выяснить вопрос о возможности совместных действий.

245 Явный ответ на вопрос.

246 Саксонский ландтаг был распущен 30 апреля 1849 г. министерством Гельда-Бейста, сменившим 24 февраля 1849 г. мартовское либеральное министерство Брауна-Оберлендера. Когда король отказался признать имперскую конституцию, принятую 12 апреля Франкфуртским парламентом, то и второе министерство подало в отставку. Вместо него назначено было открыто-реакционное министерство Чшинского— Бейста. (Кстати В. Полонский в томе I своих "Материалов для биографии Бакунина", приводя на стр. 403 письмо этого премьер-министра к графу Нессельроде, во-первых называет его Чинским, а во-вторых объявляет его "неким доктором Чинским" (стр. 402). Это характерно для названного "исследователя" и его "научных" приемов.)

1 мая начались уличные демонстрации и волнения. Городская администрация, гражданское ополчение и рабочий союз высказались за принятие конституции, но король отверг все домогательства населения. 3 мая городские гласные избрали комитет защиты, позже превратившийся в комитет безопасности. В тот же день произошло кровавое столкновение между толпой, осаждавшей арсенал, и войсками, после чего началась постройка баррикад. Король обратился за помощью к Пруссии, но, не дожидаясь прибытия прусских солдат, бежал 4 мая из Дрездена в крепость Кенигштейн, после чего власть перешла к революционерам. Активное участие рабочих в выступлении придало ему республиканский характер.

247 На допросах в саксонской комиссии Бакунин показал, что вместе с В. Гикою и Ю. Андржейковичем собирался после роспуска саксонского сейма покинуть Дрезден, так как не чувствовал себя там в безопасности и ожидал от правительства репрессий по адресу иностранцев. Он намеревался якобы уехать в Швейцарию, а оттуда во Францию. Он не только сам не принимал участия в подготовке майского выступления, но даже его знакомые и друзья еще в четверг 3 мая не верили в какое-либо массовое движение. "Здесь я должен по правде сказать, что вообще саксонская демократия мне представлялась очень добродушной и все лейпцигские демократы мне представлялись более тщеславными, чем опасными, так как они много о себе воображали ввиду их речей в клубах и в силу презрительных воззрений на другие немецкие страны и тешились мыслью, что Саксония—весьма демократическая страна".

Р. Вагнер в своих воспоминаниях подтверждает, что вначале Баку-нин не придавал серьезного значения дрезденской сумятице. Вагнер, ша-таясь по городу 3 мая, неожиданно встретил Бакунина на улице. "В черном фраке с неизбежной сигарой во рту он бродил открыто по городу среди запруженных улиц. Я был уверен, что дрезденские события должны его наполнять восторгом. Оказалось, что я ошибся. В принимаемых населением мерах защиты он видел только признаки детской беспомощности. При этом для себя лично он усматривал только одно удобство, возможность не прятаться от полиции и спокойно выбраться из Дрездена. Дело не ка-залось ему настолько серьезным, чтобы побудить его принять в нем личное участие". Бакунину казалось, что дрезденцы действуют недостаточно энер-гично. "Он ясно видел, что пруссаки готовятся к хорошо обдуманному на-ступлению, и полагал, что необходимо выработать соответствующие стра-тегические меры, чтобы встретить их готовыми к бою. А так как восстав-шим саксонцам недоставало солидных воинских сведений, то он настойчиво предлагал призвать опытных польских офицеров, находившихся в Дрездене. Все с ужасом отшатнулись от этого плана. Чего-то ждали от находивше-гося при последнем издыхании союзного правительства во Франкфурте. Стремились идти по старому легальному пути, держаться принципов пар-ламентаризма" (т. II, стр. 180, 1 82).

В докладе Гельтмая и Крыжановского, который в этом отношении является абсолютно заслуживающим доверия документом, также говорится, что 3 мая, в начале революции, первую мысль Бакунина на совещании с ними было оставить Дрезден и на чешской границе дожидаться известий из Праги или возвращения оттуда Рекеля, так как в успешность дрезден-ского движения он не верил. Но поляки воспротивились отъезду на Дрез-дена, ожидая присоединения других немецких областей и опасаясь, что их отъезд в такой момент вызовет деморализацию в рядах демократов.

Тодт Карл Готлиб (1803—1852)—немецкий юрист и политический деятель либерального направления; был бургомистром и судьей в Адорфе (Саксония); с 1836 по 1848 год был умеренно-либеральным депутатом саксонского ландтага, лидером оппозиции до мартовской революции, сак-сонским королевским тайным советником, в 1848 году был доверенным лицом либерального правительства в Союзном сейме; во время револю-ции 1848 г. был членом Предварительного парламента. Чтобы скомпроме-тировать его, правительство Саксонии поручило именно ему, единственно-му прогрессивному сановнику, роспуск саксонского сейма 30 апреля 1849 года. Это не помешало ему через несколько дней войти в состав Времен-ного правительства в Дрездене во время майского восстания. После по-давления его бежал через Франкфурт за границу. Умер в Рисбахе, под Цюрихом. С Бакуниным был знаком еще с 1841 г., когда познакомился с ним через А. Руге.

О Чирнере см. комментарий 236.

248 Из Дрездена были разосланы во все стороны гонцы с просьбой о помощи, но последняя не была оказана восставшей столице в достаточ-ной степени. Поскольку восставшему Дрездену была оказана действи-тельная подмога, она исходила от рабочих, которые вообще играли глав-ную роль в выступлении. Так из Хемница пришли отряды механиков, а также отряд горнорабочих, привезших с собою даже 4 небольшие пушки. Рабочие же дрались на баррикадах до конца.

249 О мотивах своего участие в Дрезденской революции Бакунин на допросах в Саксонии показал: "Я принял участие в саксонском восстании главным образом потому, что усматривал в нем противодействие прусско-му влиянию, а вместе с тем, так как русская политика влияет на Прус-сию, то и русскому влиянию. А так как моя деятельность преимущественно была направлена против России (читай: царизма.—Ю. С.), то мне казалось, что и эта революция соответствует моему стремлению уничтожить или по крайней мере ослабить влияние России на Германию. Поэтому я сочувствовал этой революции. К этому присоединилось, как я позднее подробнее изложу, и то, что многие мои знакомые принимали участие в этом восстании, а отсутствие денег препятствовало моему отъезду; равно и желание быть поближе к Богемии привязывало меня к Саксонии".

Вот как он согласно его рассказу попал в дрезденскую ратушу. Чет-верг 3 мая он частью провел в обществе своих знакомых: Анджейкови-ча, Гики, Крыжановского и Гельтмана (с первыми двумя в тот вечер он пил чай у графини Чесновской, своей салонной знакомой), а частью у себя на квартире. Все вышеназванные лица были якобы того мнения, что следует уехать из Дрездена на следующий день, но кроме Гики им не хватало де-нег. На следующее утро 4 мая, направляясь к Крыжановскому, Бакунин встретил на улице Тодта; последний был изумлен серьезным характером, который неожиданно приняло движение, и сказал, что идет в ратушу узнать о ходе дел. Через некоторое время Бакунин снова столкнулся на улице с Тодтом и обменялся с ним несколькими незначительными слова-ми. Дальше по дороге он встретил Р. Вагнера, который направлялся в ра-тушу и позвал с собой Бакунина. Там он услышал, как Чирнер с балкона ратуши держал к народу, требовавшему взятия цейхгауза, речь, в которой сообщал, что сейчас ведутся переговоры с военными властями о передаче цейхгауза, что в Бреславле вспыхнуло восстание и т. п. Тогда Бакунин прошел в большой зал заседаний ратуши, где увидел Тодта, Чирнера, Кёхли (тоже старый знакомый по Дрездену в 1842 г.), Вагнера, д-ра Рихтера (тоже знакомый по Дрездену 1842 г.), д-ра Минквица и Гейнце. Тодт представил ему Гейнце как главнокомандующего революционными силами. После того Бакунин несколько раз на дню заходил в ратушу, но при избрании Временного правительства не присутствовал. С Гейбнером он познакомился только на следующий день. По приглашению Чирнера Ба-кунин решил остаться в Дрездене и принять участие в обороне города, после чего отправился обедать к Чесновской (у графини Чесновской Баку-нин бывал повидимому ежедневно). В пятницу вечером Чирнер сказал Ба-кунину, что необходимо занять цейхгауз, и спросил, нет ли у него зна-комого поляка, который мог бы руководить атакой на цейхгауз, так как подполковником Гейнце были недовольны. Бакунин нашел поляка, но из этого ничего не вышло. Утром 5 мая Чирнер снова обратился к Бакунину, прося его найти польских военных, способных руководить боевыми дей-ствиями повстанцев. Тогда Бакунин обратился к Гельтману и Крыжановскому, которые согласились на сделанное им предложение. Бакунин при-вел их с собою в ратушу к Временному правительству. "С этого момента начинается мое собственное деятельное участие в восстании и бое, которое однако меняло свой характер в каждый отдельный день" ("Красный Архив", I. с., стр. 172—176).

Судя по "Исповеди", Бакунин 4 мая играл более активную роль, чем

он показывал в комиссии.

Гельтман и Крыжановский в своем докладе Централизации также сообщают, что приглашение Временного правительства взять на себя руководство боевыми операциями было им передано через Бакунина. Через него же на следующий день они получили приглашение явиться для личных переговоров с Временным правительством в ратушу. В полдень 5 мая они приступили к работе, пригласив себе в помощь своего земляка Голембиовского, которого они считали знатоком уличного боя. Это и был тот третий польский офицер, имени которого Бакунин якобы не знал, а вернее не хотел назвать.

О Кёхли, Минквице см. том III, стр. 441 и 547, 555.

Рихтер, Герман Эбергард Фридрих (1808—1876) — немецкий ученый и политический деятель демократического направления. Закончив медицинское образование в Лейпциге, в 1833 г. переехал навсегда в Дрезден, где с 1837 г. был профессором терапии в медико-хирургической академии. В 1842 г. Бакунин встречал его у Руге. Рихтер участвовал в революции 1848 г., был членом городского совета в Дрездене; принимал участие в дрезденском восстании, был привлечен к суду и лишен профессии, после чего занимался частной врачебной практикой и работой в области медицинской литературы.

250 О хаосе, царившем в революционных рядах, говорят многие очевидцы и участники майских событий. Рекель в своих воспоминаниях пишет по этому поводу: "Чтобы в короткое время рассеять такой хаос, внести в него порядок и превратить его в точно действующий организм, для этого требовался революционный гений, какового среди членов Временного правительства не имелось. Гейбнер, "благородный демократ", как его называла даже реакция, ясный ум и вместе с тем милосердный и совестливый судья, по своему мягкосердечию радостно отдал бы собственную жизнь за всякую жертву, какой требовала эта борьба как от той, так и другой стороны, но именно вследствие этой мягкости не мог проявить той необходимой в подобных случаях железной твердости, которая считается с человеческими жизнями столько же, как с шахматными фигурами. Тодт с первого же дня находился в страшнейшем противоречии с самим собою и оставил Дрезден уже в день моего прибытия (т. е. 6 мая. — Ю. С.), для того чтобы во Франкфурте добиваться посредничества центральной власти. Наконец Чирнер, даровитый адвокат и оратор, не обладал той способностью точно схватывать вещи и тем самоотречением, без которых даже самая способная голова не в состоянии разобраться в подобном положении. Исполненный доброй воли, ни один из этих трех людей не обладал безоглядной решимостью довести до благополучного конца это дело любой ценою, а потому они и не оказались способными добиться этого" (цит. соч., стр. 150—152).

251 Насчет роли, сыгранной Бакуниным в дрезденском восстании, существуют самые противоположные отзывы. Преобладают впрочем положительные. Создалась даже легенда, сильно преувеличивающая тогдашнюю деятельность Бакунина и приписывающая ему исключительную и руководящую роль, какая в действительности ему не принадлежала да и не могла принадлежать в силу его иностранного происхождения, особенно русского, малой популярности среди не знавших его масс и т. д. Даже отзыв Маркса—Энгельса в "Революции и контр-революции в Германии" является несколько преувеличенным и придающим Бакунину больше значения в вооруженной борьбе, чем он имел на деле. В этой брошюре после указания на то, что силы инсургентов рекрутировались главным образом среди ра-

бочих окрестных промышленных районов, сказано: "Они нашли спокойно-го и хладнокровного вождя в русском эмигранте Бакунине" (Маркс — "Собрание исторических работ", Спб. 1906, стр. 388; Маркс и Энгельс — "Сочинения", том 6, стр. 103). Напротив Стефан Борн, бывший член "Союза коммунистов" и основатель общегерманского союза "Рабочее Братство", 8 мая сменявший Гейнце на посту главнокомандующего революционными силами, в своих воспоминаниях ("Erinnerungen eines Achtund-vierzigers", Лейпциг 1898, цитируем по третьему изданию, стр. 171—175 и 226—233) выражается о Бакунине и о его роли в Дрездене совершенно иначе. Впрочем отзывы Борна носят настолько пристрастный характер, что невольно наводят на подозрение: невидимому Борн просто сводит личные счеты с человеком, которого он не любил и не понимал никогда, и верность которого своим революционным стремлениям до конца являлась как бы живым упреком Борну, разбившему своих старых демократических идолов. Замечательно, что и Бакунин в "Исповеди" ни одним словом не упоминает о Борне и об его участии в дрезденском восстании. Думать, что Бакунин не называет Борна в силу усвоенного им принципа не выдавать ни-кого, не приходится, ибо во-первых Борн из Германии бежал, а во-вторых об его прикосновенности к восстанию все правительства были прекрасно осведомлены. Очевидно между этими двумя людьми существовала органическая, непримиримая вражда.

Впервые Борн, вращавшийся тогда в окружении Маркса, встретился с Бакуниным в Брюсселе (1847—1848г.). "Этот страшный революционер,— пишет Борн, — основоположник нигилизма и анархизма, в сущности был шестипудовым, наивным ребенком, enfant terrible'ем, если угодно, но все же enfant... И при этом он всегда оставался человеком из хорошего общества, джентльменом. Я в течение некоторого времени сноса свиделся с ним в Берне после его побега из сибирской ссылки. Со времени наших встреч в Лейпциге и Дрездене прошло добрых 15 лет. Бакунин выглядел совершенно не изменившимся. Он сделался только несколько подвижнее, живее в движениях, беспокойнее". Далее Борн сообщает, что в Берлине они в 1848 году встречались довольно часто (тут он между прочим рассказывает, как Бакунин в кафе варил для демократической компании пунш по русски —отрыжка московской жизни). Встретились они снова в Лейпциге, а затем в Дрездене.

Когда Борн был назначен главнокомандующим революционной армии вместо Гейнце, попавшего или сдавшегося в плен, он в ратуше встретил "Михаила Бакунина, который должен был быть повсюду, но здесь, как и во всех прочих местах, где требовались не слова, а дело, был совершенно лишним... Я только заметил, что он сильно стеснял заседавших в ратуше членов Временного правительства, так как во все вмешивался и ко всему подходил с неверной точки зрения". Далее Борн делает впрочем верное замечание, указывающее на глубокое отличие членов Временного правительства от Бакунина, этого бродячего революционера-космополита: "это были либеральные немецкие мещане, взявшие на себя свои опасные функции наверно не без внутренней борьбы и вполне сознававшие свою ответственность; но Бакунин! Он мечтал об основании великой панславистской республики, которая от саксонской границы... простиралась бы на всю Азию" повсюду установила бы русское общинное землевладение и этим освободила. бы весь мир". И дальше Борн пускается на прямую инсинуацию: "Этот русский, абсолютно не замечавший и не понимавший действительных. отношений, среди которых он жил в Германии, естественно не имел в Дрездене ни малейшего влияния на ход вещей. Он ел, пил и спал в ра-туше — и

это все... С наступлением ночи он выпил и закусил, затем улегся на заготовленный матрац и захрапел, в то время как я условливался с Гейбнером о том, что делать завтрашний день" (стр. 228). Это происходи-ло 8 мая. А сколько ночей до этого Бакунин не спал, об этом Борн умал-чивает. Даже самый арест Бакунина Борн объясняет тем, что тот всюду лез без нужды и увязался за Гейбнером (стр. 233). Единственным оправ-данием этих выходок Борна могло бы служить его полное незнакомство с действительным ходом восстания в первые дни. Но годится ли здесь та-кое объяснение?

Напротив отзыв Маркса о роли Бакунина в Дрездене очень похвален. Допустим, что Маркс преувеличил роль Бакунина в Дрездене. Но это во всяком случае показывает, что в 1852г., когда он писал эти строки, он вовсе не относился враждебно к Бакунину и не клеветал на него, сидя-щего в крепости, как впоследствии думали Герцен и Бакунин (кстати, не знавшие об этих статьях Маркса, напечатанных в американском журнале. "Трибуна") и как за ними повторяли противники Маркса.

Вокруг имени Бакунина в связи с дрезденскими событиями создалась, легенда: ему приписывали самые решительные меры вроде приказа под-жигать дома для защиты города и т. п. Между прочим рассказывали,. будто он советовал дрезденцам поставить на городские стены Мадонну Рафаэля и уведомить об этом прусских командиров с предупреждением,. что, стреляя по городу, они рискуют испортить бессмертное произведение искусства. Немцы дескать zu klassisch gebildet ("Получили слишком классическое воспитание") , чтобы позволить себе стрелять по Рафаэлю. Когда Бакунина русские товарищи однажды спроси-ли, поступил ли бы он также и тогда, когда пришлось бы защищаться от русской армии, он сто рассказу З. Ралли ответил: "Ну, брат, нет! Не-мец — человек цивилизованный, а русский человек — дикарь, он и не в Рафаэля станет стрелять, а в самую как есть в Божию мать, если на-чальство прикажет. Против русского войска с казаками грешно пользо-ваться такими средствами,—и народ не защитишь и Рафаэля погубишь!" Но эти шуточные слова отнюдь нельзя истолковывать а смысле подтверж-дения легенды.

При защите Дрездена Бакунин проявил поразительное хладнокровие и непоколебимую решимость, которые сделали его имя на долгие годы пугалом для саксонских филистеров, но в то же время способствовали преувеличению его действительной роли в дрезденском восстании.

Шинке в своей докторской диссертации "Der politische Charakter des Dresdener Maiaufstandes 1849", Halle 1917, стр. 37, называет легендой утверждение литературы о майском восстании (кроме мемуаров Борна) о том, будто члены Временного правительства были марионетками в руках Бакунина, диктаторски господствовавшего над Временным правительством, всех терроризовавшего и стремившегося к водворению всеобщей европей-ской республики. В этом он прав. Но он пересаливает, когда вслед за Борном силится представить роль Бакунина в восстании как совершенно ничтожную и второстепенную.

Эту слабую сторону Шинке отмечает и с нею не соглашается Курт Мейнель, автор недавно появившейся биографии Гейбнера ("Otto Leonhard Heubner", Leipzig 1928, стр. 207 сл.). На основании официальных про-токолов Мейнель устанавливает, что Бакунин явился в ратушу

не сам, а по приглашению Чирнера, 4 мая, приведя с собою Гельтмана и Крыжановского. 5 мая он отказался занять пост главнокомандующего взамен Гейнце, что ему предлагал Чирнер, и т. д. Но Бакунин согласился вместе с обоими названными поляками руководить общими военными операциями из ратуши. По показанию Гейбнера "с этого дня Бакунин фактически пользовался полною и неограниченною властью в деле руководства военными операциями; думаю, что наиболее подходящим было бы назвать его начальником генерального штаба. Из ратуши он руководил боем, сообщал свои решения Чирнеру, который передавал их главнокомандующему Гейнце (а поз-же Берну)". 5 мая он составил вместе с поляками "(Регламент) распорядка на баррикадах", подписанный Временным правительством и сообщенный начальникам баррикад. Далее он отдавал распоряжения о занятии или укреплении отдельных баррикад, распределял доставленные из Бургка пушки, распоряжался доставкой и раздачей боевых припасов и принял меры против предполагавшейся на 6 мая атаки войск на Замковой улице. После возвращения с баррикад 6 мая, когда обнаружилось, что поляки исчезли, Бакунин взял на себя одноглазное командование. С этого момента Бакунин оказался единственным верным человеком, не оставлявшим Гейбнера вплоть до их совместного ареста в Хемнице.

Мейнель отмечает, что и Бакунин не сумел придать боевым операциям плановый характер. Он прямо признавался Р. Вагнеру в том, что не знаком с стратегиею в собственном смысле. По словам Вагнера и Борна он не придавал восстанию серьезного значения и не верил в его успех.

На допросах в саксонской комиссии Бакунин довольно подробно рассказал о своей деятельности во время майских дней. Естественно, что его рассказ, сделанный перед сыщиками, жаждавшими его крови, стремится несколько преуменьшить сыгранную им в действительности роль. Но в основном и существенном он вполне совпадает с рассказом о тех же событиях в "Исповеди", что придает ему большую достоверность. Он только богаче конкретными подробностями, которые саксонских следователей интересовали конечно сильнее, чем русского царя.

Рассказав, что с 4 мая он часто посещал ратушу, а с субботы 5 мая засел в ней безвыходно, Бакунин на допросе 14 мая 1849 г. продолжает:

"Оставался по просьбам Тодта и Чирнера, так как они рассчитывали меня использовать как бывшего артиллерийского офицера. Я однако отрицаю мое личное участие в битве. На мне лежал только высший надзор за боевыми припасами, пороховым погребом и помещением Временного правительства. Я надзирал за выдачей пороха, находившегося в ратуше в количестве 15—16 центнеров. Я отрицаю мое участие в совещаниях Временного правительства, отрицаю и участие в боевых операциях, отрицаю так-же, что устно или письменно возбуждал других к бою или к поджогам, отрицаю в особенности всякую свою личную вину в приказах о поджогах и грабежах и в баррикадных боях. Я ограничивал свою деятельность в ратуше исключительно вышеуказанными пределами".

На допросе 20 сентября 1849 г. Бакунин показал, что 5 мая он представил Гельтмана и Крыжановского Чирнеру. Поляки согласились помочь Временному правительству своими советами и военными познаниями на следующих условиях: 1) чтобы их деятельность

сохранялась в тайне, и чтобы им отвели для работы отдельную комнату; 2) чтобы Бакунин служив посредником между ними и Чирнером, а Чирнер выполнял через Гейнце те их распоряжения, которые будут ему переданы через Бакунина;

3) чтобы в случае поражения Чирнер доставил им паспорта и деньги на отъезд. Эти условия были в общем приняты, но так как отдельной комнаты не оказалось, то Крыжановский, Гельтман и Бакунин заняли место в ком-нате Временного правительства за жестяным экраном. До того, как Бакунин привел к нему Гельтмана и Крыжановского, Чирнер предложил ему принять на себя единоличное верховное командование, но Бакунин от этого отказался, так как не знал Дрездена и не доверял своим военным талантам.

Таким образом Бакунин, Гельтман и Крыжановский вместе с привлеченными последними двумя Голембиовским, которого они считали зна-током уличного боя, составили нечто вроде Реввоенсовета при Временном правительстве. Как показывал 13 августа 1849 года на допросе Гейнце, "эти господа были членами составленного Чирнером генерального штаба, к которому принадлежал также Бакунин". Прежде всего они по-требовали план Дрездена, чтобы изучить расположение города и враже-ских войск. Но они не могли как следует разобраться в полученном от Чирнера плане. План атаки не был до конца составлен Гельтманом и Крыжановским вследствие отсутствия подкреплений. Прежде всего они составили проект распорядка на баррикадах, но он кажется не был доведен до сведения защитников баррикад. Этот проект переведен был на немецкий язык Крыжановским и Бакуниным. Далее деятельность Бакунина 5 мая состояла в том, что присылавшиеся Временным правительством на заключение реввоенсовета донесения, содержавшие главным образом просьбы о присылке подкреплений, обсуждались тремя советниками, а затем решение по ним сообщалось Бакуниным правительству, от которого уже и исходил приказ об их исполнении. Вечером 5 мая Бакунин с Гельтманом осмотрели приведенные горнорабочими 4 пушки, из которых три оказались трехфунтовыми, а одна четырехфунтовой, после чего Бакунин распорядился доставить необходимые для этих пушек боевые припасы. Утром 6 мая Гельтман отметил на плане место установки пушек, а Бакунин передал это распоряжение Чирнеру для исполнения.

Иногда дрезденский реввоенсовет давал повидимому непосредственные приказания главнокомандующему, но тот обыкновенно с ним не считался, ибо между ними шло глухое соперничество. Так по рассказу Бакунина утром 6 мая до реввоенсовета дошел слух о намерении королевских войск штурмовать Замковую улицу; вследствие этого Гельтман распорядился стянуть революционные силы на площадь и в ратушу и занять ими баррикады и улицу для отражения штурма; но слух этот оказался неверным.

Как увидим ниже при рассказе об обходе Гейбнером баррикад, сопровождавший его Бакунин отдавал непосредственные распоряжения командам последних. По уходе Гельтмана с Крыжановским 7 мая Бакунин оставался единственным военным консультантом Временного правительства. До вечера понедельника 7 мая его работа ограничивалась отдачею распоряжений о доставке боевых припасов и об отправке подкреплений в нужные места в тех случаях, когда Гейнце отсутствовал. В тот же вечер упадок духа дошел уже до того, что между Бакуниным, Гейбнером и Чирнером возникли разговоры о том, следует ли сдаваться или же продолжать оборону или наконец

прорываться. Бакунин предлагал прорваться, и его мнение встретило сочувствие. А между тем в тот момент положение вовсе не было еще таким плохим, и главные улицы были свободны от вражеских войск.

В этот вечер согласно показанию Бакунина смятение дошло до крайних пределов, и ему захотелось внести в дело хоть некоторый порядок. По-этому он созвал в комнату Временного правительства командиров баррикад, записал их имена и дал им инструкции насчет распорядка на баррикадах, но не давал никаких распоряжений насчет боя. Ночью его разбудил Гейнце и сообщил, что на утро предположен общий штурм со стороны неприятеля, угрожающий революционерам полной гибелью. На вопрос Гейбнера, что делать, Бакунин снова посоветовал прорваться. Гейнце также согласился с этим советом и пошел на разведку пункта, через который прорыв возможен. С этой разведки он уже не вернулся, так как попал в плен (в те времена поговаривали, что он сдался неприятелю преднамеренно). Тогда Гейбнер, Чирнер и Бакунин решили созвать командиров баррикад для обсуждения вопроса о дальнейших действиях. На этом собрании командир одной баррикады С. Борн предложил произвести общую атаку на врага и тут же единогласно был избран главнокомандующим, каковой выбор был утвержден Гейбнером и Чирнером. Все командиры баррикад утверждали, что бойцы требуют битвы и наступления. Борн выработал план генерального наступления, сводившийся к охвату противника с двух сторон, но план этот не был приведен в исполнение (в обсуждении его участвовал и Бакунин). Далее Бакунин участвовал в составлении и проведении плана отступления, о чем см. ниже.

Был ли Бакунин рядовым членом генерального штаба при Временном

правительстве или же занимал в нем руководящую роль? Последнее возможно уже хотя бы по той причине, что с большинством членов правительства он был знаком ближе, чем польские офицеры, что последние были приглашены к работе через него, что решения штаба передавались правительству тоже через него, что и политически он был более видной фигурой и т. п. Среди актов в "Деле" Бакунина, хранящемся в саксонском государственном архиве, находится следующий документ: "Гражданин Бакунин уполномочивается Временным правительством отдавать все признаваемые им нужными распоряжения по связанным с командой вопросам". Слева стоит печать Временного правительства, а справа подпись: "Временный уполномоченный Чирнер". Возможно конечно, что это удостоверение выдано Бакунину после отъезда польских офицеров, т. е. после 6 мая, а подписать его мог Чирнер, когда вернулся (в отличие от поляков, уже не вернувшихся). Но вряд ли Бакунин взял бы от Чирнера такое удостоверение после того, что он считал трусливым и необоснованным бегством его с поля сражения. Если же допустить, что документ имеет более раннее происхождение (а это весьма вероятно), то он подтверждал бы выдающееся место, которое Бакунин занимал в революционном штабе. И в этом отношении весьма характерно заявление, которое сделал на допросе Гейбнер и которое гласило, что Бакунин был "главою генерального штаба" (Chef des Generalstabs). См. Пфицнер, loc. cit., стр. 152—153, и Керстен, стр. 103.

Но это конечно не значит, чтобы легенда, приписывающая Бакунину главенствующую роль в дрезденском восстании, имела под собою солидную базу. Не следует думать, что происхождением своим эта легенда обязана только врагам Бакунина. Нет, и друзья его и

поклонники повинны в ней не меньше, чем противники. Мы уже видели примеры этого. (Между прочим в дневнике Варнгагена фон Энзе, том VI, стр. 164 и 167, передаются слухи, что бои в Дрездене шли под главным руководством Бакунина). Вот еще один: тот же Кюрнбергер, протест которого против этой легенды мы сейчас приведем, страницу выше заявляет, что с момента своего присоединения к движению Бакунин "стал главой и душой этого правительства". Этого с русским и не могло быть. И гораздо более прав Кюрнбергер, когда объясняет легенду о засильи Бакунина в саксонской революции злобою испуганного мещанства и иностранным происхождением Бакунина. "Саксонская реакция,—пишет он (I. с. стр. 119),—развлекалась тем, что весь свой яд выливала на Бакунина. Было уже достаточно грустно, что такого рода люди, как статский советник Тодт или окружной начальник Гейбнер, всеми в стране почитаемые личности, стояли во главе революции. Их доброе имя, их большая популярность надевали на мордник на пасть даже наиболее злостных клеветников. В этих условиях иностранец, чужак, русский был самой желанной мишенью для их сдерживаемой ярости. На него-то и обрушилась вся злоба бешенства реакционных доносителей. Это он совратил с пути истинного славных саксонцев, это он терроризовал благочестивых и лояльных чиновников, это он толкнул всех на нечестивое, пагубное, самое плохое. Один из моих товарищей по камере, которого однажды водили в город, рассказывал по возвращении, что город полон разговорами о новом отвратительном ужасе:

в одном небольшом домике на заднем дворе нашли гильотину, изготовленную по приказу Бакунина, и если бы спасители-пруссаки хоть на один день запоздали, то этот злодей поставил, бы ее на Старом Базаре и начал бы рубить головы всех благомыслящих граждан".

Легенда, раздувавшая роль Бакунина в майские дни, начала слагаться тогда же под влиянием паники, овладевшей терроризованным мещанством, которое боялось революции больше, чем озверелой прусской и саксонской солдатчины. Во время следствия целый ряд таких озлобленных обывателей доносил на Бакунина как на виновника поджогов, насильственных мер по отношению к лицам и т. п. В показаниях его перед следственной комиссией ему приходилось опровергать эти злостные измышления. Так 10 октября 1849 г. он по поводу показаний полицейского служителя К. Ф. Перля и портного Эренрейха отрицал, чтобы он был верховным руководителем всего дела и всем распоряжался в ратуше. Можно сомневаться в искренности Бакунина, когда он пытался опровергнуть извет некоего Наумана относительно отданных им распоряжений реквизировать свинцовые часовые гири для литья пуль; возможно также, что он действительно произнес приписываемые ему неким Ф. А. Фелькером слова, что нужные баррикадным бойцам предметы они должны добывать "только силой". Признавая, что он требовал доставки пистонов и распоряжался их распределением, Бакунин вместе с тем отвергал донос городского гласного К. Л. Майзеля, будто он на указание, что хранение пороха в ратуше угрожает ей и соседним домам (а сохранение домов, принадлежавших им и им подобным, интересовало "либеральных" гласных больше, чем судьбы конституции и революции), ответил: "Что? Дома? Пусть взлетают на воздух!"

(Надо впрочем сказать, что произнесение этих слов приписывается Бакунину и с демократической стороны, друзьями. Так Эмма Гервег в письме к мужу из Парижа от 11 августа 1849 года сообщает, что венский журналист Гефнер, который был правой рукой Бакунина во время дрезденского восстания, весело рассказывал ей про посещение

Бакунина бурго-мистром, просившим его пощадить дома, на что тот, спокойно попыхивая сигарою, отвечал: "Что, дома? Теперь они существуют только для того, чтобы быть подожженными" ("1848. Briefe an und von Georg Herwegh", стр. 288—289).

Бакунин объяснял, что ключ к складу пороха, находившегося в подвале ратуши, находился у него, и он распоряжался его раздачею. Узнав, что собираются переправить этот порох в другое место, он заподозрил в этом что-то не-ладное, тем более, что смотритель ратуши подозревался во вредительстве, и убедил Чирнера и Гейбнера оставить порох в ратуше — вот и все. Рав-ным образом Бакунин отвергал показание какого-то Воогка, будто он отдал приказание поджечь замок смоляными факелами..

11 октября он показывал: "Я отрицаю, что давал распоряжения под-жигать дома, а также и то, что знал о каких-либо прямых приказах в этом духе, а равно о лицах поджигателей и их средствах для выполнения за-думанного. Мне вообще известно, что в городе сгорели лишь оперный театр и еще один дом". Тогда ему предъявили приказ Временного пра-вительства начальникам баррикад, который разрешал им в случае нужды в применении огня в интересах обороны действовать по собственному усмотрению. Бакунин признал, что он участвовал в обсуждении этого при-каза, что этот приказ был вызван ходатайством двух гласных Рихтера и Минквица спасти город от поджогов, коему Временное правительство со-чувствовало, и что означенным приказом начальники баррикад побужда-лись к пощаде зданий, но в то же время не лишались прямым запретом крайнего средства обороны. От Временного правительства прямых приказов о поджогах не исходило; равным образом они никогда не исходили от него, Бакунина. Он слышал, что кое-где преступлено было к таким поджогам, но не знает, кто их приказывал, какими средствами располагали их виновни-ки и т. п.

19 октября Бакунину была дана очная ставка с гласным Майзелем. Последний, желая доказать, что Бакунин был главным действующим ли-цом в ратуше, заявил, что Бакунин неоднократно самовластно давал отве-ты на обращения городской думы, не спрашивая предварительного мне-ния присутствовавших тут же членов Временного правительства. (Это впро-чем весьма похоже на Бакунина!) Далее он объявил, что Бакунин возлагал на думу ответственность за доставку пистэнов. Бакунин отрицал справед-ливость этого показания, которое Майзель подтвердил клятвой.

Что Бакунин допускал в случае необходимости и поджоги, это несом-ненно: для этого не требуется даже быть революционером, для этого до-статочно быть просто военным, просто борцом, просто толковым челове-ком. Оборона с помощью огня применяется всеми военачальниками. Мысль о преграждении наступления монархических полчищ, действительно убивавших и сжигавших все на своем пути, принадлежала не одному Ба-кунину. О ней думал и Ракель, прибывший 6 мая в Дрезден из Драги и ви-девший слабость инсургентов.

На стр. 158 своих цитированных мемуаров Рекель рассказывает, что для преграждения наступления правительственных войск он придумал об-ложить слишком низкие баррикады повстанцев смоляными венками, кото-рые, будучи вовремя подожжены, могли бы задержать продвижение усми-рителей (эту мысль приписывали Бакунину, хотя не исключена

возможность" что она возникла у них обоих одновременно, тем более что они могли на эту тему говорить между собою и до восстания). Временное правительство согласилось было на эту меру, к осуществлению которой Рекель уже при-ступил, но под влиянием нескольких городских гласных, опасавшихся по-жара и гибели каменных домов от смоляных венков, отменило свое рас-поряжение. А между тем королевское правительство, менее щепетильное в этом отношении, уже собиралось разрушить весь город бомбами (цит. соч., стр. 158—159).

Мещане стремились выставить Бакунина кровожадным человеком. В одной консервативной саксонской газете для деревни говорилось: "В пос-ледние дни ужасный Бакунин проявил признаки помешательства на наси-лии. Как запертый в клетке хищный зверь шагала эта долговязая фигура, облеченная в синий фрак, взад и вперед по думскому залу, и всякое про-тиворечие своим приказаниям он отклонял с пеной на губах". (W. Schinke— "Der politische Charakter des Dresdener Maiaufstandes 1849", стр. 37). На самом деле при всей своей революционной страсти он был человеком весьма гуманным, и, где интерес революции допускал это, старался вызво-лить попавшего в беду обывателя, невинного в приписываемом ему прес-туплении. По этому поводу Рекель сообщает мелкий, но характерный для Бакунина факт.

Рассказав о том, что подозрительно настроенная толпа схватила ка-кого-то коммунального гвардейца, выстрелившего со двора из ружья и уве-рявшего, что он стрелял по голубям, и требовала немедленной расправит с ним как с злодеем, стрелявшим в народ, Рекель прибавляет: "Здесь Ба-кунин показал всю свою столь охотно приписываемую ему правдолюбивы-ми врагами жестокость и кровожадность. Резким тоном приказал он все более запутывавшемуся обвиняемому замолчать, затем стал сзади него и начал подсказывать ему, что ему следует говорить, дабы утихомирить раз-горевшиеся страсти, в то время как другие старались успокоить обвините-лей. И таким образом этот полевой суд закончился немедленным освобож-дением испуганного человека" (цит. соч., стр. 154—155).

В общем Бакунин держался на допросах чрезвычайно мужественно и, отказываясь давать показания о третьих лицах, себя не старался выгора-живать. Поэтому то, что он показывает о своей роли в дрезденском вос-стании, за исключением некоторых деталей может быть признано достовер-ным. В этом отношении представляет немалый интерес своего рода сводка его показаний по атому пункту, содержащаяся в заключительном допросе, учиненном ему в Кенигштейнской крепости незадолго до суда, а именно 20 октября 1849 года.

Выдержку из этого допроса, хранящегося в "Деле" против Бакунина в саксонском государственном архиве, том Ia, стр. 147 сл., приводит К. Керстен на стр. 103—104 своего немецкого перевода "Исповеди". Мы заимствуем ее оттуда.

ВОПРОС

№ 3.

Политическая деятельность Бакунина была направлена главным образом против русского правительства.

ОТВЕТ:

Совершенно верно.

ВОПРОС

N 4.

Поэтому Бакунин, так как он усмотрел в майской революции в Дрездене выступление против русского влияния, а вместе с тем, ввиду влияния русской политики на Пруссию, и выступление против русского влияния, и так как эта революция показалась ему отвечающею его стремлению сломить или по крайней мере ослабить русское влияние на Германию, а сверх того многие его знакомые приняли участие в восстании, примкнул и действовал в инсurreкции, имевшей место в Дрездене в мае сего года.

ОТВЕТ:

Также верно

ВОПРОС:

N 5

Однако Бакунин отрицает, чтобы он подготовлял дрезденское восстание или знал о его подготовке.

ОТВЕТ:

Это я определенно отрицаю

ВОПРОС:

N 10.

Бакунин ведал пороховым погребом и занимался раздачею пороха и доставкой боеприпасов.

ОТВЕТ:

Верно.

ВОПРОС:

N 11.

Бакунин распоряжался посыл-кою подкреплений.

ОТВЕТ

Не всегда, а именно толь-ко в отсутствие Гейнце.

ВОПРОС

N 12.

Бакунин посещал баррикады и инструктировал их командиров относительно способов получения припа-сов из ратуши.

ОТВЕТ

Один только раз.

ВОПРОС

N 16.

Бакунин вместе с Борном соста-вил не выполненный однако позже план собрать все силы и атаковать войска с двух сторон.

ОТВЕТ

Я только разговаривал с Борном об атом плане, но сам его не составлял.

ВОПРОС

N 17.

Бакунин обсуждал с Борном план отступления инсургентов.

ОТВЕТ

Это правда.

ВОПРОС

N 20.

Бакунин причастен к решению Гейбнера перенести восстание в Хем-ниц и с этою целью поехал также вместе с Гейбнером в Хемниц, но там был задержан.

ОТВЕТ

Совершенно верно.

В связи с легендами, создавшимися тогда о Бакунине в обывательских и вдохновляемых ими полицейских кругах, небезынтересно привести несколько выдержек из относящейся к тому периоду полицейской книги, трактующей между прочим и о М. А. Бакунине.

"Бакунин Михаил вместе с Маццини и Руге составляет революционный триумvirат нашего времени. Родился в Торжке в России, был императорским русским артиллерийским офицером, позднее литератором; социалист, товарищ Руге, Тодта, Кёхли; как личность, в высокой степени опасная политически, был изгнан из Франции, но тем не менее участвовал в парижской февральской революции, вступил в союз с Ледрю-Роленом, писал возмутительные воззвания к русским и австрийцам, сдружился в Берлине с Гекзамером, Рейхенбахом, Вальдеком, Дестером и Якоби, в Саксонии с Шреком, Реккелем и литератором Виттигом (теперь политический эмигрант во Франции), демократизировал и возбуждал к восстанию в союзе с польскими эмигрантами Гельтманом и Крыжановским всю Саксонию, руководил дрезденским восстанием и дрезденскими поджогами, был арестован вместе с Гейбнером, приговорен к смертной казни и помилован к пожизненному заключению и вслед затем выдан Австрии, а ею России". Так сказано на стр. 69 книги "Anzeiger für die politische Polizei Deutschlands auf die Zeit vom Januar 1848 bis zur Gegenwart. Ein Handbuch für jeden deutschen Polizeibeamten. Herausgegeben von—г.". ("Указатель для германской политической полиции за время с 1 января 1848 до настоящего времени. Руководство для всякого немецкого полицейского чиновника. Издал—г.). Эта книга вышла в 1854 году в Дрездене, и весьма вероятно, что автором ее был пресловутый полициант Штибер, известный по процессу Союза коммунистов 1852 года. На стр. 130 этой книги о Бакунине сказано, что "необычайно одаренный духовно и физически, он был тем более опасным противником монархии, что не отступал ни перед какими средствами для достижения своей цели — введения республики. Он руководил в особенности пражским и дрезденским восстаниями и по подавлении последнего, бежав в Хемниц, был на дороге взят в плен и заключен в Кенигштейн, откуда выдан Австрии". На стр. 149 говорится, что "Бакунин и Либельт вождями революции были избраны на случай успеха панславистского заговора 1848 года (?) в эmissары последнего для Богемии, Польши и Венгрии". Насколько нельзя доверять "фактам", сообщаемым в этой полицейской книге, видно например из того, что там сказано на стр. 130 о Головине и Тургеневе (по-видимому А. И.) : "Головин и Тургенев, русские эмигранты, за политические и государственные преступления приговорены к тяжким наказаниям, в апреле 1848 жили вместе с Бакуниным в Берлине (!?) и состоят в сильнейшем подозрении участия в прусско-польском восстании и венской революции". Как мы знаем, такой слух по-явился в тогдашних немецких и чешских газетах.

Все эти цитаты заимствованы из заметки М. Гершензона, напечатанной в "Голосе Минувшего" 1913, N 1, стр. 184—185.

После подавления дрезденского восстания вышел ряд памфлетов, в которых Бакунин изображался в виде злого гения этой революции. Перечень этой памфлетной литературы о дрезденском восстании приводится в цитированной книге В. Шинке, стр. 80.

Вот заглавия некоторых из них, приводимые в цитированной статье Б. Николаевского: 1) Майзель (городской гласный)—"Die Ereignisse in Dresden von 2 bis 9 Mai 1849"; 2) dr. Edwin Bauer—"Die Demagogie in Sachsen"; 3) Karl Krause—"Die Aufruhr in Dresden"; 4) "Der Aufstand in

Dresden von einem sächsischen Offiziere und Augenzeugen". При этом Бакунин выставлялся не только в виде зачинщика и руководителя восстания, но и в виде агента-provokatora, русского шпиона, игравшего роль вредителя по отношению к германскому отечеству. На этот раз клевета шла не из демократического лагеря, а из среды благомыслящей и консервативной буржуазии. Варнгаген в своем дневнике (т. VI, стр. 174) с горечью констатирует, что старые берлинские друзья Бакунина вроде проф. Вердера и Людвига Тика отрекаются от него, а новые растеряны и сбиты с толку.

В ответ на мещанскую клевету против Бакунина старый друг Бакунина Л. Виттиг, успевший бежать в Швейцарию, напечатал в N 267 "Дрезденской Газеты" от 14 ноября 1849 г. статью, которую Б. Николаевский, перепечатавший ее в своей статье "Бакунин эпохи его первой эмиграции"

-("Каторга и Ссылка" 1930, N 8—9, стр. 106—111), одно время неправильно приписывал Дестеру и автора которой так и не мог открыть. В этой статье Виттиг между прочим писал:

"Клеветническая пресса от Шпрее до ее точных отражений в Карлсруэ, как и все эти грязные брошюры о майских событиях, которые до сих пор преимущественно были делом рук продажных борзописцев,...—все объединились в общей свистопляске против Бакунина. Это он был тайным вдохновителем революции, о которой кроме него знали лишь немногие посвященные, он захватил всю власть в свои руки, он терроризировал город и временное правительство, он был тем подстрекателем и поджигателем, который охотно не оставил бы от Дрездена камня на камне, в его лице олицетворялась красная республика и ужаснейший коммунизм, и вдобавок ко всему он — собственно русский шпион. Правда даже те, кто совершенно не был знаком с Бакуниным, не знают, как быть: должны ли они смеяться над глупостью этих листовок или негодовать на их злобную подлость. Но что бы ни было состряпано против Бакунина из этих гнусных доносов, мы считаем своим долгом вступить за него, подвергающегося столь тяжким обвинениям.

"Итак говорят, что Бакунин был застрельщиком майского восстания?.. Ведь никто не предполагал, что подготавливается революция, а Бакунин, который вообще мало интересовался немецкими делами и еще того меньше саксонскими, забавлялся, издеваясь над спокойствием распивающих пиво саксонцев, и в то же время находил, что занятая Саксонией мирная позиция оправдывается ее географическим положением. Этот славянин, так сильно опередивший свой народ, тешил себя мыслью,... что он очень близок своему народу,... и день и ночь работал над делом освобождения своего поработанного народа от оков рабства... Он в то время был занят тем, что писал пламенное воззвание против русской интервенции в Венгрии, и поистине не помышлял о революции в стране, которая ему совершенно чужда. Он конечно приветствовал революцию... И все же он еще 4 мая хотел покинуть Дрезден, так как совершенно не верил в успех восстания, и друзья с трудом уговорили его остаться. Кто же может удивляться тому, что на этого пламенного демократа произвели впечатление шум борьбы, всеобщее возбуждение, призывы восставших к оружию?.. Бакунин был в Дрездене, все-таки была надежда на то, что восстание может иметь успех, и ввиду этого он конечно считал себя обязанным как демократ принять участие в восстании.

"Нелепым однако является утверждение, что была установлена дик-татура. Его терроризм только в том и заключался, что он настаивал на до-ведении до конца раз начатого дела, что в интересах победы революции он не обращал никакого внимания на жалобы и претензии отдельных лиц. Господин Майзель, член городской управы, особенно возмущен тем, что Бакунин сказал: "Что дома! Пусть взлетают на воздух!", но Майзель не подумал, что перед штурмом нет времени на дискуссии, на обсуждение аргументов за и против... Что Бакунин не мечтал о лаврах Ростопчина и не хотел превратить Дрезден в кучу пепла, явствует из того, что это он в последний момент (5 и 6 мая) запретил взрыв дворца, и по этому поводу у него произошел даже серьезный конфликт с лицами, посланными для про-ведения этого плана. Если Бакунин действительно захватил всю власть, если он, этот "страшный красный", без стеснения отдавал распоряжения этому "полному нулю Чирнеру", где же тогда эти пирамиды голов казнен-ных реакционеров, где же разграбленные по приказу Бакунина народом лав-ки, где расхищенные драгоценности?

"Но почему же Бакунин, если он не был душою революции, если он был только случайным участником ее, почему он не спасся заблаговремен-но, когда неизбежность поражения стала для него очевидною, а пути к бегству были открыты? О, именно эта выдержка больше всего говорит о его бескорыстии и мужестве. Он совершенно не обращал внимания на опасность, которой подвергался, он был захвачен величием поведения Гейбнера, с которым хотел разделить и горе и радость... Те, кто был ближе знаком с Бакуниным, способны ценить его чистую, преданную, готовую на всякое самопожертвование дружбу. И поистине человеку, обреченному долгие годы томиться вдали от друзей отрезанным от всего мира,.. может слу-жить утешением сознание, что его честь и доброе имя остаются незапятнан-ными.

"Но его хотят лишить и этого (последнего утешения, его не только приговорят к смертной казни или пожизненному заключению, но еще хотят нелепо заклеить позором, назвав русским шпионом. Я думаю, ни одно поражение, ни одна обманутая надежда, ничто не задело Бакунина так бо-лезненно, таю тяжело, как это сомнение в чистоте его побуждений... Только постоянное и тесное общение его с Лелевелем и другими стоящими вне вся-ких подозрений польскими революционерами сняло с него это позорное клеймо, так что когда во время его пребывания в Бреславле (а не в Брюс-селе, как сказано благодаря опечатке у Б. Николаевского. — Ю. С.) "Но-вая Рейнская Газета" вновь было подняла этот вопрос, Бакунин имел уже горячих защитников (Эта статья важна в том отношении, что Виттиг пишет на основании своих разговоров с самим Бакуниным. Поэтому такие его сообщения, как указание на роль близкого знакомства с Лелевелем в деле реабилитации Бакунина, заслуживают особого внимания.)...

"Время воздаст этому оклеветанному должное. Пожелаем, чтобы оно не заставило себя долго ждать".

252 О работе в штабе Гельтман и Крыжановский в своем докладе рас-сказывают приблизительно то же, что Бакунин в "Исповеди" и в своих показаниях перед саксонскими следователями. Первым делом они попы-тались раздобыть точные сведения о наличных боевых силах, их распо-ложении и средствах борьбы, но Временное правительство такими сведе-ниями совершенно не располагало. Пришлось разослать патрули и одиноч-ных

разведчиков для того, чтобы собрать сведения о числе баррикад, их устройстве, количестве обороняющих их бойцов, местонахождении неприятеля и его позициях. Тут же они объяснили правительству, что борьба на баррикадах не может быть длительной, и что нужно заблаговременно готовиться к отступлению в горы. Когда атака королевских войск усилилась и возникло опасение, что баррикадные бойцы не смогут долго против нее держаться, они предложили правительству обратиться к населению с прокламацией, вызывавшей охотников для встречной атаки неприятельских позиций; но на назначенное место никто не явился. Что касается проекта организации и обороны баррикад, выработанного штабом, то по словам доклада Бакунин и Голембиовский высказывались против него, но Гельтман и Крыжановский настояли на своем и побудили правительство отдать распоряжение о его напечатании и выполнении.

Как видно из доклада, Гельтман и Голембиовский не питали надежд на успех и считали восстание заранее обреченным на поражение, а баррикадных бойцов неспособными выдержать длительный бой с обученными правительственными войсками. Возможно, что в этом отношении на них разлагающе подействовал разговор с польским военным специалистом Станиславом Пониньским, к которому они как к наиболее компетентному из эмигрантов обратились сейчас же после получения ими приглашения Временного правительства. Пониньский, которого они просили взять на себя высшее начальство над революционными силами, категорически от этого отказался, объяснив, что считает дрезденское восстание случайною вспышкой, обреченною на неудачу и не могущею вызвать нигде поддержки; такой же отказ он передал Мартину, который обратился к нему непосредственно от имени Временного правительства. Такое неверие в восстание вероятно и было основною причиною их внезапного отъезда из Дрездена в разгар боя, что так глубоко возмутило Бакунина (см. ниже).

253 О Гейнце см. выше, стр. 399—400.

Рекель в своих воспоминаниях несогласен с такою оценкою Гейнце, хотя этот военный специалист вряд ли вообще подходил к командованию демократическими повстанцами. Вот что пишет Рекель: "При полном отсутствии организации на стороне застигнутого совершенно врасплох народа твердое, единое руководство было просто невозможно. У главнокомандующего не было никаких средств к тому, чтобы оказывать решающее влияние на ход борьбы. Каждый действовал по собственному усмотрению, приходил и уходил, занимал или оставлял пост, когда ему было угодно. Ни в один момент подполковник Гейнце даже приблизительно не знал, каким количеством бойцов он якобы командовал, сколько их стояло в том или ином месте, подчинялись ли отдельные отряды каким-нибудь начальникам и каким именно... Собрать более значительную, необходимую для наступления силу было невозможно, и таким образом всякое продвижение вперед заранее исключалось. Приходилось ограничиваться обороною от случая к случаю, радуясь, если удавалось доставить подкрепление к тому или иному угрожаемому пункту. Не подлежит сомнению, что и при данных обстоятельствах человек большой энергии мог бы дать несравненно больше, но ничего не было более лишнего основания, чем брошенные с разных сторон против Гейнце обвинения в измене, в то время как он с величайшим самоотвержением взял на себя эту бесконечно трудную задачу, для выполнения которой никого другого не сумели найти, и сделал в этой области все, что только было в его силах" (цит.соч., стр. 149—150).

254 Об отношении Бакунина к Гейбнеру очевидец Вагнер говорит: "Ба-кунин заявил мне, что как бы ни были ограничены политические воззрения Гейбнера (он принадлежал к умеренно-левым в саксонском парламенте), это — благородный человек, которому он немедленно отдает себя в полное распоряжение. Он, Бакунин, пережил то, к чему стремился. Теперь он знает, что ему остается делать. Надо рискнуть головой и больше ни о чем не спрашивать. Гейбнер тоже повидимому понял необходимость энергиче-ских мер, и предложения Бакунина нисколько не пугали его. При комен-данте, неспособность которого быстро выяснилась, был образован военный совет из опытных польских офицеров. Бакунин, сам ничего не понимавший в вопросах стратегии, не покидал ратуши и Гейбнера, помогая советами и проявляя удивительное хладнокровие" ("Моя жизнь", т. II, стр. 183—184).

Ясно, что здесь речь идет не о "коменданте", как оказано в плохом русском переводе, а о главнокомандующем. Но военный совет, как мы знаем, был организован не при Гейнце, а при Временном правительстве.

255 Ясно, что это написано в угоду Николаю I.

256 Обход баррикад происходил в воскресенье 6 мая. В показании от 21 сентября 1849 г. Бакунин по этому доводу говорит: "Гейбнер сказал защитникам баррикад речь, в которой старался вдохнуть в них мужество для продолжения борьбы. Я же давал командирам баррикад наставления посылать не сразу, как имело место до тех пор, множество баррикадных бойцов в ратушу за боевыми припасами, а отдельных лиц с письменными полномочиями от баррикадных командиров, дабы таким образом не растр-чивались припасы и не обнажались баррикады".

257 При этом обходе баррикад Гейбнер и Бакунин встретили депутата саксонского сейма Грунера. Он сообщил им, что Чирнер и оба поляка, по-лучив плохие известия из Крестовой башни, быстро удалились и куда-то бесследно исчезли. В ратуше это известие подтвердилось. Все присутству-ющие, в том числе Иекель и Грунер, были того мнения, что Чирнер уда-лился из малодушия. Тодт ушел еще до них, причем причины его исчез-новения были неизвестны. Бакунин с Гейбнером были очень озадачены этим исчезновением. "Однако Гейбнер вскоре заявил, что после речи, ко-торую он держал защитникам баррикад, ему совершенно невозможно бежать, и что он должен выдержать до конца. Я поддержал Гейбнера в этом на-мерении и заявил ему, несмотря на его предложение дать мне денег для бегства, что я останусь и выдержу с ним до конечного исхода дела, хотя пожалуй мне приходилось более других опасаться в качестве иностранца и русского". Иекель не выказал охоты занять место Чирнера; Гейнце зая-вил, что если Временное правительство уйдет, то он сложит с себя полу-ченные от него обязанности, но если оно останется, то он сохранит свой пост. Однако на Бакунина все это произвело такое впечатление, что Гейнце предпочел бы убраться подобра-поздорову. Тодт вскоре появился, но через короткое время снова исчез. Чирнер явился только в десятом часу вечера.

В докладе Гельтмана и Крыжановского этот инцидент излагается до-статочно невразумительно. Прежде всего по их словам инициатива обхода баррикад членом Временного правительства принадлежала им. Если это так, то тем более странным представляется их дальнейшее поведение. С баррикад приходили неутешительные вести.

Присоединение прусских полков к войскам короля саксонского ставило революционеров в невозможность защищаться. Из членов правительства присутствовал в ратуше один Чирнер; о Гейбнере и Бакунине не было "и слуху ни духу (но ведь они пошли обходить баррикады по предложению самих авторов доклада!)- Третий же член правительства Тодт, пораженный пожаром Оперы, вообще куда-то исчез. Постепенно в окружение Чирнера прокрадывалась деморализация. Сам Чирнер настолько растерялся, что начал собирать и жечь официальные документы. Деморализация дошла до того, что Голембиовский без объяснения причин собрался уходить, но был остановлен своими двумя товарищами, желавшими узнать, в чем дело. Через некоторое время Чирнер, кое-как уложив правительственные бумаги, заявил им, что дело безнадежно, сил нет, подкреплений тоже, спешившие на помощь бойцам отряды ушли, не войдя в город, и держаться больше немыслимо; боевые припасы также все исчерпаны. Тут же он поблагодарил поляков за оказанную восстанию помощь. На их вопрос, нельзя ли продолжать борьбу в другом месте, Чирнер указал на Альтенбург и там назначил им свидание. Все это происходило около часу пополудни.

"Оставив город, — эпически продолжают авторы доклада, — мы отправились в Кэтен". Другими словами боевые руководители движения просто сбежали без всякого на то основания в разгар боя. Если бы речь шла не об известных закаленных бойцах, старых революционерах, преданных своему делу, то их поведение можно было бы объяснить только трусостью. В данном же случае не знаешь, чему его приписать, если не предположить действия непреодолимой паники, вызванной отсутствием известий, а главное веры в данное выступление. Оказалось, что беглецы решительно ошиблись: на помощь повстанцам пришли новые силы, и они удачно отбили все атаки врага, о чем Гельтман и Крыжоновский узнали на следующее утро. После того они однако двинулись не обратно в Дрезден, а в Лейпциг, но не нашли там подходящих революционных элементов. Далее они поехали в Цвикау, откуда собирались перебраться в Фрейберг, считавшийся центром революционных горняков. Но в Цвикау 10 мая они чуть не подверглись аресту и только случайно избежали его. К этому времени они узнали о поражении дрезденского выступления. Ясно было также, что и чешского восстания не будет. Тогда наши друзья из Цвикау уехали в Бадей и приняли участие в южногерманском восстании. Но в Дрезден они уже не вернулись.

258 Вагнер рассказывает, что встретив Бакунина 8 мая в ратуше, он узнал от него, что Временное правительство приняло его план, сводившийся к тому, чтобы оставить дрезденские позиции, мало пригодные для продолжительного сопротивления, и отступить в Рудные горы, куда со всех сторон стекались вооруженные отряды (т. II, стр. 187). Надо заметить, что рабочее население Рудных гор вообще играло серьезную роль в восстании и могло составить для его продолжения солидную базу. В этом предложении лишний раз сказалась политическая проницательность Бакунина и присущий ему правильный инстинкт революционера.

Вагнер рассказывает, что посреди всеобщей растерянности, царившей

в дрезденской ратуше 9 мая, "один только Бакунин сохранил ясную уверенность и полное спокойствие. Даже внешность его не изменилась ни на йоту, хотя он за все это время ни разу не сомкнул глаз. Он принял меня на одном из матрацов, разложенных в зале ратуши, с

сигарой во рту". От Бакунина Вагнер узнал, что Временное правительство оставило мысль об отступлении, опасаясь его деморализующего действия на повстанцев, тем более что последние горели желанием сражаться с наступавшими правительственными войсками. Так как пруссаки медленно, но верно приближались к ратуше, "Бакунин предложил снести в погреба ратуши наличные пороховые запасы и взорвать ее, когда приблизятся войска. Городская управа, продолжавшая заседать где-то в задней комнатке, самым решительным образом протестовала против этого. Бакунин настаивал на необходимости этой меры. Но его перехитрили, удалив из ратуши весь порох и кроме того заручившись сочувствием Гейбнера, которому Бакунин ни в чем не противился. Таким образом решено было, ввиду того, что дух восставших бодр, завтра с рассветом начать отступление в Рудные горы" (т. II. стр. 189—190).

Вагнер не совсем точен в датах. По его словам выходит, что уже 8-го решено было отступление, причем оно было принято якобы по предложению и плану Бакунина. В действительности, как увидим из следующего комментария, основанного на собственном рассказе Бакунина, дело обстояло несколько иначе.

259 Согласно показаниям Бакунина в саксонской комиссии новый главнокомандующий С. Бори сообщил Временному правительству в ночь со вторника на среду, т. е. с 8 на 9 мая, что дольше держаться революционными бойцам нельзя, так как прусские войска заняли прилегающие улицы и грозят отрезать пути. Бори с Бакуниным составили план отступления, одобренный Гейбнером и Чирнером, согласно которому надлежало пробиваться к Фрейбергу через Дипольдисвальдовскую площадь. Чирнер ушел первый и отдельно. План Временного правительства состоял в том, чтобы засесть в Фрейберге, и Бакунин твердо обещал Гейбнеру не покидать его и помогать ему своим присутствием и советом. Он и последовал за Гейбнером в Фрейберг, а затем в Хемниц, будучи по его словам готов исполнить все, что бы Гейбнер ему ни поручил.

Руководство отступлением возложено было на Борна. Бакунин все время находился при Гейбнере, даже когда тот говорил речи бойцам, сам же Бакунин не говорил да и не мог говорить, так как совершенно охрип от своих распоряжений за последние дни. В Таранде путники натолкнулись на Чирнера, а по дороге из Таранды в Фрейберг к ним присоединился Р. Вагнер, который пустился в путь на собственный страх и риск. Вагнер уверил отступавших, что весь Фойхтланд и Хемниц стоят за революцию, хотя впечатление Бакунина было совершенно иным. Вагнер сопровождал путников до Фрейберга и только случайно не был арестован вместе с ними. Чирнер отделился от них и затем благополучно перебрался в Баден, где принял участие в тамошнем восстании.

По рассказу Р. Вагнера он встретил Бакунина на дороге во время отступления в коляске сидели Гейбнер, Бакунин и почтовый чиновник Мартин, оба последние с ружьями в руках. По словам Бакунина отступление совершилось в полном порядке. Бакунин рассказал Вагнеру, что рано утром он приказал свалить молодые деревья Максимилиановской аллеи, чтобы оградить отступавшие отряды от конной атаки с этой стороны, и с насмешкою передавал жалобы обитателей этого бульвара, оплакивавших "красивые деревья". В Фрейберге за завтраком между Бакуниным и Гейбнером, отрицательно относившимся к радикальным взглядам и стремлениям первого, произошло объяснение, несколько

сумбурно изложенное у присутствовавшего при этом Вагнера. Под конец Гейбнер спросил Бакунина, стоит ли продолжать сопротивление и не лучше ли будет распустить отряды повстанцев ввиду безнадежности дальнейшей борьбы. "На это Бакунин с обычной твердостью и спокойствием ответил, что от борьбы может отказаться всякий, кто хочет, только не он, Гейбнер: как первый член Временного правительства, он призвал народ к оружию. За ним пошли, и сотни жизней принесены в жертву. Теперь распустить людей значит показать, что жизни принесены в жертву пустой иллюзии, и если бы остались только он и Гейбнер, они должны были бы стоять на своем посту. В случае поражения они обязаны отдать свою жизнь: честь их должна остаться незапятнанной, чтобы в будущем, при новом революционном призыве, народ не потерял надежду на возможность освобождения. Эти слова заставили Гейбнера решиться" ("Моя жизнь", т. II, стр. 191—193).

260 По рассказу Бакунина в комиссии он вместе с Вагнером в Фрейберге последовали за Гейбнером на его квартиру. Здесь они обсуждали вопрос, куда должно направиться Временное правительство (из состава которого налицо был только один Гейбнер) — в Фойхтланд или в Хемниц. Сообщения Вагнера, как потом оказалось, вполне фантастические, заставили их склониться в пользу Хемница. Говорилось о попытке укрепиться в Фрейберге, но на этом не остановились. Гейбнер сочинил какую-то прокламацию, содержания которой Бакунин не запомнил. Затем Бакунин заснул и от усталости проспал долго. Проснувшись, он вместе с Гейбнером стал принимать меры к дальнейшей перевозке людей и припасов. Ночью Бакунин вместе с Гейбнером и присоединившимся к ним раненым Мерком двинулись в Хемниц, причем всю дорогу в Хемниц он проспал.

261 На допросе в комиссии Бакунин показывал: "По недружелюбной встрече у ворот Хемница и по вооруженной охране, которая сопровождала наш экипаж до гостиницы, я уже догадывался, что против нас настроены враждебно, однако не высказывался Гейбнеру по этому поводу. Я в Хемнице ничего не делал и не говорил, и только после обращения бургомистра, требовавшего нашего удаления, и отказа в этом со стороны Гейбнера я сказал: "идем спать". Воспротивиться вскоре затем последовавшему нашему аресту и его избежать было совершенно невозможно при тогдашних обстоятельствах" ("Красный Архив", 1. с., стр. 179—180; "Материалы для биографии", т. II, стр. 60). Борну и Вагнеру, не пошедшим спать в гостиницу, удалось бежать. Бакунину кроме того повредила в данном случае только его бросающаяся в глаза внешность, до и то, что он держался вместе с Гейбнером, за которым жандармы и предатели-мещане особенно гнались как за членом Временного правительства.

Об обстоятельствах ареста Вагнер рассказывает так: "Гейбнер, Бакунин и вышеупомянутый Мартин прибыли к воротам Хемница в частном экипаже. Их спросили, кто они. Гейбнер с полным авторитетом назвал себя и затем велел пригласить городские власти в указанную им гостиницу. Прибыв туда, все трое свалились от усталости и заснули. Внезапно в их комнату ворвались жандармы и именем королевского правительства арестовали их. Они попросили, чтобы им дали возможность несколько часов спокойно поспать, указав на то, что в том состоянии, в каком они находятся, о бегстве не может быть и речи. Утром под сильным военным эскортом они были отведены в Альтенбург" ("Моя жизнь", т. II, стр. 195).

262 Блюм, Роберт (1807—1848)—немецкий журналист и политический деятель демократического направления; будучи сам плебейского происхождения и принадлежа к городской бедноте, после неудачных поэтических опытов сделался в 30-х годах одним из вождей германского и в частности саксонского демократического движения. В 40-х годах издал ряд сборников и брошюр радикального направления, в которых помещались произведения виднейших представителей левого лагеря. В 1848 г. становится вождем саксонской демократии, избирается в Предварительный парламент, затем во Франкфуртский парламент, где выступает как один из самых влиятельных лидеров левой. В качестве такового поехал в Вену во главе радикальной депутации, принимал в октябрьские дни участие в обороне Вены от полчищ Виндишгреца и Елачича, по взятии города был арестован и, несмотря на свое парламентское звание, расстрелян по приговору военного суда, что вызвало сильнейшее негодование в рядах германских демократов.

263 Явный ответ на вопросы, вернее на приказ не пропускать ничего

существенного.

264 Бакунин рассчитывал своею "откровенною" исповедью умиловить, а главное одурачить Николая I и добиться ссылки в Сибирь, откуда думал бежать за границу для продолжения революционной деятельности (см. его письма под NN 564—566). Но это ему не удалось. Николай I без всякого к тому законного основания засадил его сначала в Петропавловскую, а затем в Шлиссельбургскую крепость, где видимо намеревался держать его до конца. И только при следующем царе, при Александре II, Бакунин купил себе свободу новым унизительным притворством.

265 Бакунин имеет в виду коменданта Петропавловской крепости Набокова, Ивана Александровича, (1787—1852). Начал он свою службу в Семеновском полку поручиком, участвовал в сражениях при Фридланде, Бородине и пр., дошел с русскими войсками до Парижа. В войне против поляков 1831 г. командовал 3-ей гренадерской дивизией и участвовал в штурме Варшавы. В 1832 г. получил в командование гренадерский корпус, в 1835 произведен в генералы от инфантерии, в 1844 в генерал-адъютанты. В 1849 г. назначен комендантом Петропавловской крепости. Он приходился Бакунину дальним родственником. Преемником его был назначен генерал Мандерштерн, который по-видимому тоже относился к Бакунину недурно.

266 "Исповедь" при всех своих недостатках с точки зрения интересов сыска все-таки показалась жандармам началом раскаяния, и если не доставила автору желанной свободы, то во всяком случае привела к улучшению его положения. В частности Николай разрешил Бакунину просимое свидание с родными в присутствии коменданта крепости.

267 В начале "Исповеди" (не оригинала, которого Николай I не читал, а писарской копии) царь сделал следующую пометку; "Стоит тебе прочесть, весьма любопытно и поучительно". Эта надпись предназначалась для наследника, позже императора Александра II. В справке, составленной впоследствии Третьим Отделением в связи с подачею матерью Бакунина министру Горчакову прошения о прощении ее сына, сообщается о впечатлении, произведенном на Николая "Исповедью": "Его величество, найдя письмо Бакунина

заслуживающим внимания и поучительным, изволил переда-вать оное для прочтения царствующему ныне государю императору и всемилостивейше разрешил Бакунину видаться с его родными" (полицейское "Дело" о Бакунине, часть II). "Исповедь" была также послана для озна-комления наместнику Царства Польского Паскевичу (явно с сыскными це-лями) и повидимому давалась для прочтения особо доверенным лицам из состава камарильи. Мы уже упоминали, что по приказу царя "Исповедь" была гр. Орловым дана на прочтение председателю Государственного Сове-та Чернышеву. В "Деле" о Бакунине (ч. II, стр. 110) имеется письмо Чер-нышева от 26 декабря 1851 и выражающее его впечатление от "Испове-ди". Оно написано по французски и гласит:

"Дорогой граф, я крайне смущен тем, что так долго задерживал объ-емистую Исповедь, которую Вы мне передали по повелению его величе-ства. Чтение ее произвело на меня чрезвычайно тягостное впечатление. Раз заговорило самолюбие, то уж ни ум, ни способности не в состоянии удер-жать от самых беспорядочных, а значит и преступных увлечений вообра-жения. Я нашел полное сходство между Исповедью и показаниями Песте-ля печальной памяти, данными в 1825 году; то же самодовольное перечис-ление всех воззрений, враждебных всякому общественному порядку, то же тщеславное описание самых преступных и вместе с тем самых нелепых пла-нов и проектов; но ни тени серьезного возврата к принципам верноподдан-ного — скажу более, христианина и истинно русского человека. Мне кажет-ся, что при таком положении вещей было бы весьма опасно предоставлять неограниченную свободу человеку, который к несчастью не лишен ни смело-сти, ни ловкости. Какая жалость, что он дает им подобное применение!".

Несмотря на глубокую тайну, которою в те времена окутаны были всякие дела о политические преступлениях, слухи об аресте Бакунина и да-же об его "Исповеди" как-то просочились в публику и в частности дошли до его родных. Официально последние узнали об этом в октябре 1851г., когда гр. Орлов уведомил старика Бакунина, что сын его находится в Пет-ропавловской крепости, и что ему разрешено свидание с отцом и сестрою Татьяною. По-видимому в придворных сферах много говорили о "раская-нии" грозного революционера, а из этих кругов слухи проникали в дворян-скую публику, интересовавшуюся Бакуниным. Так друг Алексея Бакунина Н. А. Елагин осенью 1851 года сообщал ему следующую выписку из письма к какой-то "Катерине Ивановне" от ее придворной кухни: "Твой прежний знакомый, брат Дьяковой, живет здесь на самом берегу Невы и пишет теперь свои записки, разумеется не для печати, но для государя. Он весьма умно поправляет свои дела, увертлив как змейка; из самых трудных обстоятельств выпутывается где насмешками над немцами, где чистосердечным раскаянием, где восторженными похвалами. Нечего ска-зать, умен". С своей стороны Алексей Бакунин 23 ноября 1851 г. сооб-щал брату Павлу, что Михаил "писал подробно к государю о своей жизни, не компрометируя однако же никого из своих заграничных участников". Та-ким образом ясно, что не только факт написания "Исповеди", но и до-вольно точное ее содержание стали тогда же известны в некоторых близ-ких к правительству кругах.